С 89
II 347236

А. СУББОТИН

РАССКАЗЫ

А. Субботин

РАССКАЗЫ

ВОЛОГОДСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1958

СОДЕРЖАНИЕ

Булыня 3
Преступник 14
«Некрута» 21
На лесной тропе 26
Встреча 39
На Никольском крестце 53
Кружева 68
Грустная история 95
Волчьи петли 143
Филат 160
Сын 175
Счастье Ивана Ивановича 182
Дождь 203
Радость 208
Лыжная погода 224
Море 234
Люба 239

Субботин
Анатолий Александрович
РАССКАЗЫ

*

Редактор *В. К. Пудожгорский*
Обложка и титул *С. В. Кулакова*
Технический редактор *С. И. Соколова*
Корректор *Г. Г. Котов*

ГЕ03183. Подписано к печати 8.9.58. Бумага 84 × 108 1/32
4 бум. л., 13,12 п. л., 13,5 уч.-изд. л.
Заказ 4273. Цена 5 руб. Тираж 15000

Областная типография, г. Вологда, ул. К. Маркса, 70.

БУЛЫНЯ

ИЗБА у Булыни срублена из семивершковых сосновых кряжей; на холмах, за Пикиным ручьем, валили сосны, — комель у каждой в обхват, мелкослойные. Искры высекает топор из вековой сосны, как из кремня.

Половину передней стены, вдоль темной «горницы», занимает тесовое «глухое» крыльцо. В верхней галдарейке крыльца, у входа в сени, прорезаны три просвета, похожие, если смотреть снаружи, на три больших темных сердца, с ровными, высеченными топором зубочками по закраинам. На другой половине избы — створчатые оконницы. Стекла в них выцвели и приобрели сухой радужный блеск. Широкие наличники у оконниц напоминают раскрытые дверцы; на них кое-где видны следы потрескавшейся зеленой краски.

Булыня чуть помнит, когда рубили избу, а ему на Спиридона Поворота годы перевалили за семь десятков. Но посмотришь на мужика — словно бы и не встречался он со старостью: как и изба его, Булыня крепко, всеми корнями врос в землю. Только и греха — вытерся волос на темени, да борода... Не по силе коротка и редка у него борода, не оттого ли и поседела?

В летние вечера, когда закаты встречают утреннюю зарю, любит Булыня выйти на вольный воздух, отдохнуть на камешке около крыльца. Из старины остался камешок; где был он положен кем-то из пращуров в роду Булыни, там и лежит. В палисаднике перед избой шумят резным листом рябины, ветер заносит с поля медовые запахи хлебов и луговых трав. Все вокруг

знакомо старику, близко все и памятно. Еще бы, всю жизнь прожил тут, и вперед взглянуть — вроде бы и впереди не видно конца веку.

— Села избища-то, дедушка Спиридон, новую пора ставить, — бывало скажет Булыне сосед его Триша Левша, длинношеий, рыжий как огонь мужик. — Капиталу тебе не занимать, можно и пятистенок под тесовой крышей отхлопать.

— Зачем?

— Поживешь в новом дому, свет увидишь.

— Мели Емеля, — осадит Тришу Булыня. — Моя изба не одну еще вашу, новую-то, перестоит.

Поднявшись, Булыня протопает к зауголке, тронет ее обушком.

— Слыхал? Как колоколо. Крепче кости бревешко.

Забыл уж Булыня, когда он овдовел, но распорядок в дому не опустил. В своих руках держит вожжи. Семену, старшему сыну, годы за сороковину давно, мужик он саженного росту, борода, как сноп, а супротив отца слова не молвит. Сядет семья за стол — молча черпают ложками щи, истово откусывают и жуют хлеб. Полдюжины добавков вычерпают, прежде чем Булыня постучит ложкой о край глиняной со стертыми разводами чашки. «Таскай!» — скажет. И дочерпывая щи, «таскают» куски вареной солонины. После обеда снохи кланяются свекру:

— Благодарствую, батюшка, за хлеб, за соль!

Полные сусеки хлеба в амбаре у Булыни. Никогда, за всю жизнь свою, лишнего гроша не истратил мужик: копил, откладывал на черный день, а сколько скопил казны, о том ни в дому, ни на воле никто не ведал.

Снохи болтливее сыновей. У каждой забота: похилится батюшка, кому достанется богатство?

— Семен, у батюшки-то деньги ведь есть, — ночью, когда заснет дом, шепчет старшая мужу. — Ну-ко, прежде коли нашего Лизаветка с Макаркой сведают... Проскочат ведь мимо деньжищи.

Характер у Семена отцов — упрямый. И дома и на улице слова из мужика зря не выжмешь. Лежа рядом, жена бубнит ему на ухо, а он словно не слышит.

— Проворонишь. Помяни мое слово — проворонишь. Как липку обчистят нас Лизаветка с Макаркой.

— Жив батюшка, — не вытерпев, огрызнется Семен. — Как сорока вертишь хвостом-то, Аниска! Деньги тебе подай... Погоди, коли бог даст...

— Даст тебе бог-от, жди, подставляй ладошки! Макарко, поди, ждать не станет. Знаю его.

— Дался тебе Макар! Людей что ли загодя будем смешить? Одним домом живем, вместе и добро делить будем.

Лизавета, младшая сноха, подозревая козни Анисьи, жаловалась на нее Макару. Макар не отбрыкивался от разговоров о богатстве отца. Не в пример Семену, мужик он фартовый. Семен, кроме крестьянского обихода, ни к чему иному не способен; как старший сын при несовершеннолетии брата в год призыва, солдатчины он не изведал, получил льготу, а Макар четыре года тянул солдатскую лямку. Служил он в Питере, в Павловском лейб-гвардии полку. На всем слуху лишь Макар вернулся после службы в деревню не как-нибудь, а в белом суконном мундире. Дома он спал и видел себя самостоятельным хозяином. Не будь над ним отцовской опеки — Макар и не подумал бы ломать кости на тяжелой работе. Умрет батюшка — конец тогда Макаровой жизни в отцовской избе. Разделятся они с братом. Пусть Семен хозяйствует, как хочет, Макару не с руки следовать его примеру. Он мечтал выйти в люди: открыть трактир или — на худой конец — чайную и при ней лавочку мелочную. На обзаведение и для начала торговли нужны деньги... А они есть... У батюшки в тайнике денежки.

— Ищи, Лизавета, не прозевай! — твердил он жене. — С Анисьи глаз не спускай. Семен — все равно что ничего, а она — лярва. Деньги спрятаны в дому где-то, а то, может, зашиты в одёже у батюшки? Сотельные-то «катеньки» на себе, наверно, носит... Не пошарила?

— Нету в одёже. Намедни в печи он мылся... Одна я была, так уж каждый шовик прощупала.

— Не на груди ли у него?

— Не видела. Нет, Макар, в тайнике деньги.

Снохи следили друг за другом. Где деньги? Каждый год сколько течет их в хозяйство, а попались в лапы Булыне — следку не найдешь, — словно провалятся в гиблый камский мох.

По два века стоят сосны за Пикиным ручьем, ни днем, ни ночью не умолкает гул их темных вершин. Все же бывает иногда, налетит в буйную непогодь на бор дикий злой вихрь, и в свисте его стонут и гнутся, как камышинки, вековые сосны.

Пошатнулся и Булыня.

Недомогать начал он с осени. Маялся животом всю зиму. Лицо у него осунулось, пожелтело; поблекшие глаза глубже спрятались под моховищами нависших бровей. Точно испугался чего-то старик и не в силах перемочь страх — замкнулся в себе. К весне Булыня слег. До того ослаб он, что руки и те сами себя на весу не держат.

— Не встанет Спиридон, — говорили соседи о Булыне. — Уж коли слег, смоет его полая вода.

В избе тихо. Снохи и сыновья говорят шепотом. Сказать бы о том, что у каждого просится на язык, а как скажешь? Вдруг осердится батюшка.

Как-то Анисья осталась одна с Булыней. Он лежал на лавке, дремал вроде. Анисья осторожно, чтобы не разбудить свекра, возилась около печи. Она ни за что не осмелилась бы подойти к нему, если б сам Булыня не ворохнулся и не застонал.

— Тяжко тебе, батюшка? — подняв к лицу кончик завязанного под подбородком платка, спросила Анисья. — Не подать ли чего, родненький?

— Кончина моя пришла, Анисьюшка, — сухими, запекшимися губами, еле слышно промолвил Булыня. — Как собаки грызут у меня в животе. Ох, мученька! Дай-ко кваску испить!

Анисья сходила за квасом. Стараясь быть как можно ласковее, поднесла ковш свекру.

— Испей, батюшка! Может, полегчает после холодненького.

Булыня прильнул губами к ковшу. Анисья, приподняв рукой его голову, другой поддерживала ковш. И не знала она — от страха ли то, или от неотступного желания во что бы то ни стало выведать тайну старика, у нее захватывало дыхание. Когда Булыня отпал от ковша, Анисья опустила на изголовье голову свекра, поправила окутку.

— Спасибо, Анисьюшка! Вроде как хорошо мне, легче.

— Вот и слава богу!

То, что она угодила свекру, подбодрило Анисью. Она решилась:

— Батюшка, — начала она прерывающимся шепотом, — что я хочу молвить... Не сердись, ежели не так скажется по моей бабьей-то глупости. Деньги ведь у тебя... Ну-ко станется что, не приведи господи!..

Булыня открыл глаза, неподвижным взглядом уставился в потолок. И глаза у него были страшные, словно бы покрытые холодным свинцовым туманом. Анисья испугалась.

Уж лучше бы свекор заговорил, бранил бы ее; легче ругань перенести, чем видеть перед собой тупой взгляд умирающего.

И Булыня заговорил. При первых же словах его у Анисьи отлегло от сердца.

— В деньгах-то вся сила, Анисьюшка. Ты, доченька, умная, поймешь. У кого деньги, тот и хозяин в дому. Берег я, всю жизнь берег, по копеечкам складывал, да вот видишь... Чую, жить мне осталось недолго.

— Что ты, батюшка, еще поживешь.

— Нет, Анисьюшка, скоро. Знаю я, руки у тебя золотые; сошей-ко мне смертную подушечку, беленькую, листочками с сухого веничка набей ее. Живой-то покуда еще — полежу на ней, а как дождусь кончика — на нее и в гробу лягу.

— Сошью. Все, что тебе надо, батюшка, все изделаю.

— Вот-вот, спасибо.

Булыня тяжело вздохнул, закрыл глаза. Анисья замерла, боясь шевельнуться. Когда он снова заговорил, Анисья еле услышала.

— Открою тебе... Не проговорись, смотри, никому!..

— Да уж я... Господи, уж я-то... Словечка не оброню, на чем хошь побожусь.

— Умница ты.

Анисья достала холст, наскоре, чтобы как можно лучше угодить свекру, скроила подушку, сметала ее на живую нитку, по-покойницки; с двух пар веников листья оборвала, набила туго, будто и не в гроб. Булыня принял подушку, ощупал ее, но ничего не сказал, только велел положить ее под голову. Когда Анисья исполнила просьбу, он вытянулся и засопел так

спокойно, что нельзя было и понять — отдыхая, лежит он так или заснул.

На следующий день, с самого утра, Анисья неотступно вертелась около свекра. Булыня молчал. Как и вчера, лежал он с закрытыми глазами и, казалось, спокойно сопел, даже похрапывая временами. Глядя на него, Анисье не раз приходила в голову безумная мысль: уж не отнялся ли у батюшки язык? С покойной Анисьиной матерью случилось так-то: перед смертью больше суток лежала она, не шевельнув ни рукой, ни ногой, — ни с кем слова не молвила. Что делать, если батюшка не придет в разум? — с тоской думала Анисья. — Промолчит, не скажет о тайнике.

Вечером, когда Анисья, отчаявшись, не ждала уж, что умирающий свекор сдержит вчерашнее свое обещание, Булыня вдруг пошевелился и простонал. Анисья подбежала к нему.

— Батюшка, родненький!

— Ты это, Анисьюшка?

— Я. Может, подать чего?

— Нет, не надо!.. Наклонись ко мне!

— Слушаю тебя, батюшка.

Пониже... Ближе стань! Есть кто дома?

— Никого. Скоро ужинать придут.

— И хорошо, коли никого... В подполье, в середней стене, где сусек с картофелем. У самой земли, в бревне, заделка есть. Ошарь под ней, тамо...

У Анисьи подогнулись колени. От радости, охватившей ее, она не знала, что молвить. Отступив от умирающего, низко-низко поклонилась.

— Благодарствую, батюшка!

В ночь Булыня умер. Мертвый лежал он так же неподвижно, как и днем. С той минуты, когда Анисья узнала правду о свекровом тайнике, точно жаркий огонь палил ей грудь. Не терпелось скорее спуститься в подполье. Улучив время, когда Лизавета ушла за бабкой Антонихой, лучше которой в деревне никто не умел ни обмыть, ни нарядить покойника, Анисья решилась. Захватив чугунок, будто за тем, чтобы принести к завтраму на варку картофеля, она ушла в подполье. Поставив на выступ стены около сусека коптил-

ку, Анисья обеими руками принялась разгребать картофель. Есть! Вот она. Анисья потрогала заделку, постучала по ней — слышно — дупло. Над головой кто-то прошел по полу. Испугавшись, как бы Лизавета или Макар не застали ее здесь, Анисья быстро сравняла картофель, наложила его в чугунок и поднялась на верх.

«Не обманул. Радость-то, господи!» — думала. Если бы не страх, что может выдать свое счастье деверю и невестке, Анисья с душевным трепетом, во всеуслышание объявила бы сейчас, что ей, а не кому-либо, батюшка-свекор доверил свое богатство. Из осторожности, чтобы нечаянно не обнаружить свою радость, Анисья, все время пока обмывали и наряжали покойника, укладывали его в гроб, не вышла из кути; она растворила опару, долго перебирала посуду, словно ища чего-то. Посуда у нее валилась из рук, но Анисья не замечала этого.

Сосновая колода, в которую уложили Булыню, была так обширна и вместительна, что высохшее и изможденное от долгой болезни тело старика незаметно скрылось на ее дне. У изголовья зажгли восковые огарки. В избе наступила, наконец, тишина. Соседи, заходившие в избу поглядеть на покойника и проститься с ним, разошлись; осталась только бабка Антониха. Она постелила себе на лавке, близ гроба, улеглась тут и мгновенно заснула. Макар с Лизаветой шептались у себя за перегородкой. Семен заглянул в куть к жене.

— Ты что не ложишься, Анисья? — приглушенно, как всегда говорят при покойниках, спросил он. — Поспала бы. Прибраться и завтра успеешь.

— Когда завтра-то? С утра, поди, народ набьется в избу, — ответила она. Взглянув на ничего не подозревавшего мужа, поманила его к себе.

— Семен... Деньги батюшкины... Нашла я, — шепнула.

— Ври!.. Бредишь ты, — не поверил Семен.

— Нашла, слушай лучше! В последний час перед кончиком своим батюшка мне сказал... Сам открыл...

Анисья коротко передала мужу свой последний разговор со свекром. Семен, слушая ее, часто мигал глазами, рот его был полуоткрыт; по мере того как слова Анисьи доходили к сердцу, недоверчивое вы-

ражение, застывшее было на лице его, разгладилось.

— Осмотрела я место, — шептала Анисья. — Внизу, у самой земли, под картофелем, заделка в бревне... Не проворонить бы нам, Сеня? Скорей надо к рукам прибрать... Слышишь, что сказала?

— Не глухой. Золото, а не баба ты у меня, Анисья. — Семен усмехнулся и подтолкнул жену. — Схожу ночью, не тревожься приберу.

Поговорив с мужем, Анисья, не раздеваясь, прилегла на полу. Она долго боролась со сном, прислушивалась к ночным шорохам. То казалось, что кто-то осторожно, еле поскрипывая половицами, ходит в избе, то в залавке или где-то под печью поднимали возню мыши. О покойнике Анисья не думала. Ей хотелось не пропустить часа, когда Семен, выждав безопасное время, сойдет в подполье. Если бы Макар или другой кто вздумал пойти следом за Семеном, Анисья готова была вцепиться в глаза злодею. «Ничего у меня не получит Лизаветка, — беззвучно шептала Анисья. — Гроша ломаного не дам. Мое богатство... Всё мне благословил батюшка».

Намаявшись в ожидании, Анисья не заметила, как заснула. Словно какой-то мокрый и теплый туман окутал ее всю. И сидит будто бы она посередь захламленного старым валежником лесного урочища. Неподалеку, сквозь редкую заплетень полузасохших ив и ольшаника видно спелый малинник. Ягоды крупные и вроде бы налитые кровью. Анисье хочется дотянуться к ним, но сухой валежник цепко оплел ее, не пускает. Анисья рада бы сбросить путы, но у нее онемели руки, не повинуются; пыталась кричать — нет голоса, пропал. Близко промелькнуло лицо Макара. Анисья услышала надрывающий душу крик деверя. Макар смеется над нею. Что случилось бы дальше — этого Анисья не могла предсказать. Кто-то больно толкнул ее. Анисья зарыдала и... проснулась.

Рядом с нею припал на колени Семен. Дергает ее за плечо и шипит.

— Очнись, идолова ты образина! Нашла время дрыхнуть... Куда ты меня послала? Дура! Вперед нас все обчищено.

— Чего ты, Семен? Сон я страшный видела... Уж такого-то страху натерпелась...

— Страху... За косы бы тебя хорошенько прополоскать. Обманывают ее, а она и уши развесила.

— Кого обманывают? — поднявшись, тревожно спросила Анисья, начиная соображать, что случилось что-то непоправимое.

— Тебя, кого же еще? — сказал и зло усмехнулся Семен. — Нашла клад! Пустое место.

— Как?! Да что ты?

— Так вот. Обчищено. Лизаветка, поди, не зевала.

— Ой! Да что же это будет? Она, она, подлая, ее руки... Вот я ей...

— Молчи! — Семен толкнул Анисью. Уж коли ловила ртом ворон, так и молчи! Похороним батюшку, а как будем делиться, тогда обо всем... И о деньгах как следует скажем.

Утром Анисья не хотела смотреть на гроб. Почему-то ей все время вспоминался свинцовый, безжизненный взгляд свекра. Казалось, старик, когда говорил с нею, словно утаил что-то. «Уж не сам ли он, загодя еще отдал все денежки Макару, — мелькнула догадка. — Макарко — вон какой, обтесаный он, не Семену чета. Он улестит. А что мне говорил батюшка, так, может, в беспамятстве». Подумала, и неотвязной молью привязалась к Анисье эта мысль, будто в самые уши нашептывает кто-то. И тяжко, и обидно: шутка ли молвить, как дура опростоволосилась.

В избу начали собираться соседи. Анисья ни с кем не здоровалась и не прислушивалась к тому, о чем говорили. А в избе сначала, как бы отдавая дань покойнику, вспоминали о том, каким крепким совсем еще недавно был дедушка Спиридон. «Подумать ведь нельзя было, что в гробу его увидим». Потом разговоры перешли на житейские дела. Все шло так, как и должно быть. Тихо и мирно. Анисья ничем бы не нарушила тягостного и в то же время какого-то торжественного ожидания похорон, если бы не Лизавета. Дернуло же окаянную бабу при людях подсесть к гробу и завыть причет:

Наш родный ты, милой батюшка.
На кого ты спокинул сиротиночек?

Голос Лизаветы ножом острым провел по сердцу Анисьи. «С радости Лизаветка... Завладела богатством, ишь разлилась!»

И тут Анисье точно бы наяву представилось, как свекор просил ее сшить ему смертную подушечку, как старалась она; беленого холста извела кусок, от сердца, с охотой шила; в мыслях не держала того, что доброта ее да к самой же и обернется крапивой. И до того-то обидно стало Анисье, что, кажется, померкни свет белый в очах, и тогда не страдала бы она более тяжко, чем страдала сейчас. У Анисьи задрожали руки. Не помня что делает, она подошла к гробу, остекленевшим, неподвижным взглядом уставилась на покойника.

Голова Булыни откинулась назад, борода поднялась вверх и напоминала она рассыпавшийся клочок жесткого, сухого белоуса; неприкрытый левый глаз старика насмешливо щурился, как будто покойник утаил что-то и радуется теперь, что никто уже не в силах выведать у него тайну.

Анисья нагнулась над гробом. Первой ее мыслью было — выдернуть холщевую подушку из-под головы свекра; пускай Лизаветка новую, свою, шьет. И чуть было разъяренная баба не исполнила свое желание, на счастье — вовремя опомнилась, не опозорила себя перед людьми. Суетливо, трясущимися руками, она стала поправлять подушку, как бы желая лучше уложить голову Булыни.

Один из наскоро сметанных швов подушечки распоролся с угла. Анисья подумала, что не иначе как сама она, поправляя изголовье, разорвала шов. Чтобы скрыть распоротое, хотела подвернуть внутрь угол подушки, но он не сгибался; мешало что-то твердое, находящееся внутри, не похожее на рыхлые, сухие листья, какие положила она. Не отпуская из рук подушки, Анисья вздрогнула и оцепенела, изменившись в лице.

— Отойди-ко от покойника, Анисьюшка, — заметив испуг бабы, подбежала бабка Антониха. — Я сама поправлю. Гляди-ко, лица на тебе нет, боишься ведь...

— Нет, не боюсь, — все еще не отпуская подушку, глухо, будто слова давили ей горло, вымолвила Анисья. — Деньги нашла я...

— Иди к себе в куть, полоумная! — рассердясь на жену, крикнул Семен. — В глазах у тебя мерещит.

— Нашла. Тут они, — не слушая мужа, вопила Анисья. — Тут, в подушке...

— Не бреши!

— Тут, под головой у батюшки...

Рядом с гробом очутился Макар. За ним подбежала Лизавета. Семен, с перекосившимся от гнева лицом, шагнул к жене. Не понимая в чем дело, находившиеся в избе люди окружили родных покойного. Бабка Антониха схватила Семена за руку.

— Не шуми, Сеня! — решительно приказала она. — Ежели со страху рехнулась баба, так надо потихоньку ее... А то, сам ты, как полоумный.

Анисья, упав на гроб, обняла его и рыдала:

— Не отдам! Разорвите меня — не отдам!

— Поглядите сами-то, мужики! Чего она со страху изводится?

Анисью оттащили. Растрепанная, со сбившимся на плечи платком, она всхлипывала, жадно глотая воздух. Макар достал из-под головы Булыни подушку, разорвал швы, и из нее, вместе с сухими листьями, вывалился на пол завернутый в синюю сахарную бумагу тугой сверток.

— Деньги! — охом разнеслось по избе.

— Ох, кремень! В гроб с собой забрал.

Семен стоял опустив руки. Макар держал перевязанный крест-накрест сверток, не решаясь развернуть его. Анисья и Лизавета рылись в рассыпанных на полу листьях. О Булыне все забыли. А он лежал, завалив набок голову, насмешливо щуря под седой бровью неприкрытый левый глаз.

ПРЕСТУПНИК

ВОЛОСТНОЕ правление помещалось в одноэтажном, крытом железом, вместительном доме, стоявшем на отлете от села, на высоком берегу реки Почки. Под обрывом, внизу, через реку переброшен мост. Он, как и все мосты на земских трактах, отличался от обычных проселочных широким опериленным настилом и ограждением из выбеленных известью столбиков на въезде.

Со стороны обрыва, окружая дом, темнел покосившийся тесовый забор, внутри которого вытянулись тощей аллейкой десятка два тополей, а со стороны поля к дому примыкала — тоже обнесенная забором — березовая рощица. Обшитые тесом стены, мезонин и ворота, рядом с парадным крыльцом, окрашены охрой. От волостного дома, как и от всякого запущенного казенного строения, даже в летнюю жару веяло холодком.

Парадная дверь постоянно держалась назаперти Она распахивалась в исключительных случаях: в приезд земского начальника или других уездных властей. Прочие посетители проникали в присутствие по черному ходу, со двора. В углу, позади этого хода, находилась камера, именовавшаяся в быту «холодной» или «клоповником»; рядом с нею, через темный коридорчик — помещение для сторожа.

Кроме сторожа, в волостном доме жил писарь Никон Тимофеевич Вертушкин. Окна квартиры Никона Тимофеевича выходили на солнечную сторону, туда, где вдоль обрыва Почки шумели тополи. Должность волостного писаря Вертушкин занимал давно и, по обще-

му признанию, был подлинным хозяином волости. Когда в теплые летние вечера волостной писарь, облачившись в чесучевый пиджак и выйдя из квартиры, садился на скамеечку под тополями, — то мужики, завидев его грузную фигуру, издали снимали шапки и кланялись. Даже позаглазно никто в волости не называл Никона Тимофеевича по фамилии, а всегда по имени и отчеству.

Жизнь в волости протекала тихо, без каких-либо выдающихся происшествий. Менялись — по трехлетиям — волостные старшины и заседатели, члены волостного суда, но Никон Тимофеевич был несменяем. К нему так привыкли, что никто и представить не мог волостного присутствия без внушительной фигуры писаря. В других волостях то и дело нарушалось спокойствие и благочиние текущей сельской жизни, в волости же, где правил Вертушкин, не помнит никто, чтобы в чем-либо было усмотрено нарушение установленного законом порядка. И вдруг, кто бы мог предположить?!. Но о происшествии, встревожившем волостную жизнь, лучше рассказать подробнее; кстати, тут нам представится возможность ближе познакомиться с Никоном Тимофеевичем.

Терентий Миловидов, мужик из Яфановских выселок, получил повестку из волости. Ему предлагалось явиться в камеру земского начальника в качестве ответчика по иску лавочника и владельца чайной Николая Набатова, у которого еще по прошлому лету Миловидов скосил полдесятины пустоши. Волостной суд, разбиравший иск, отказал истцу. Набатов остался недоволен и обжаловал решение волостных судей земскому начальнику.

Миловидов не сомневался в своей правоте. И как же иначе, посудите сами!

По весенней бездорожице он доставил из города в лавку Набатова воз клади. За эту услугу лавочник пообещал ему дать на один покос заросший кустарником участок пустоши на Черной речке, расположенный между старым огнищем и болотом. Договаривались при свидетелях. Перед покосом Миловидов зашел к Набатову и сказал, что будет косить пустошь. Лавоч-

ник не спорил. Но после, когда закончили уже сенокос, Набатов, встретив Миловидова, сказал:

— Ты что ж это, милая голова, пустошку у меня прибрал? Нехорошо ведь, не по-соседски. Я к тебе завсегда, как к родному, ни в чем ты отказу не слыхал, а тут ну-ка... Польстился.

— Сам велел ты косить пустошь, Николай Лукич,— опешив от неожиданности, пробормотал Миловидов. — Договаривались мы...

— Я?! Сам велел?! Путаешь что-то, милая голова!

— Да как же, Николай Лукич!.. И весной и перед покосом я спрашивал. Обо всем обговорено было, честь по-чести.

— Не помню, не знаю таких разговоров, — сказал и, как бы удивясь, развел руки Набатов. — По-дружески говорю, Терентий, шуму я не хочу: привези ко мне сено с пустошки и — все, бог с тобой!

Миловидов не поверил тому, что лавочник всерьез напомнил о сене. «Чудак, шутит, небось», — подумал. Но при следующей встрече Набатов снова завел разговор о сене с пустошки и даже пригрозил:

— Не привезешь сено — судиться будем, милая голова. А покуда в лавку ко мне не ходи: не то чтобы в долг — на деньги не будет тебе отпуску.

Миловидов недоумевал. Никак в толк не мог взять, за что рассердился на него Николай Лукич? Неужто из-за сена? Так ведь сеном у Набатова полные сараи набиты, стогов сколько сметано, а тут, молвить смешно, спор из-за восьми копенок. Пока Миловидов гадал да раздумывал, Набатов подал на него исковое прошение в волостной суд.

Дело разбиралось недели за две до Покрова. Кроме истца и ответчика суд вызвал свидетелей, которые подтвердили, что Миловидов весной возил товар лавочнику, но как Николай Лукич рассчитался с ответчиком, о том никто не мог ничего сказать. Только Саша Криванцев, сосед Миловидова, проговорился насчет того, что, дескать, Николай Лукич прижимистый мужик, себя ни в чем не обидит, ни за боже мой! Председатель суда остановил Криванцева, заявив, что мнение его о Набатове не имеет отношения к разбираемому делу. Суд приговорил: сено, накошенное на пустошке, оставить за Миловидовым, но так как истец

понес ущерб от самовольного укоса, то Миловидов обязан возместить убыток потерпевшему деньгами, по стоимости за копну.

Миловидов не возражал, согласился с решением, но Набатов слушать не хотел, он требовал возвратить сено. И, как о том говорилось выше, решение суда обжаловал земскому.

В волостном правлении, когда Миловидов явился в присутствие, находился только сторож, Семен Бусыгин, который подметал пол. Было рано. Земский начальник еще не прибыл, — он задержался в соседней волости. Никон Тимофеевич Вертушкин пребывал в своей квартире. Он хотя и проснулся, но чувствовал себя так, словно, сбив с ног, прогрохотал по нему троечный тарантас. Накануне Никон Тимофеевич крестил новорожденного у своего друга полицейского урядника. Спрыснули с кумом крестины, да так крепко, что проснувшись сегодня, Никон Тимофеевич никак не мог вспомнить, какого пола было новорожденное, мальчик или девочка.

Миловидов поздоровался со сторожем, вздохнул и с таким видом уселся на стоявшую около входа скамью, словно никогда больше не собирался вставать с нее.

Разгороженное барьером на две половины зальце присутствия выглядело серо и неприглядно. Пробивающиеся внутрь сквозь запыленные стекла окошек солнечные лучи не радовали, а, казалось, полнее обнажали царящую здесь казенную пустоту. Порванные и пожелтевшие от времени обои не в силах были скрыть свои лохмотья под расклеенными на стенах многоречивыми инструкциями и официальными постановлениями. По ту сторону барьера, ближе к окошкам, видно сдвинутые по два канцелярские столы, обитые черной клеенкой и залитые чернилами; простенок, как раз против входной двери, занимала большая олеография в тяжелой, засиженной мухами, золоченой раме. На олеографии изображен рыжеватый офицер в черном мундире с аксельбантами; взбитый хохолок волос надо лбом, клинышек бороды и равнодушный взгляд, словно бы не видящий ничего вокруг, делали этого офицера удивительно похожим на дотягивающего свою службу захудалого воинского начальника.

Бусыгин, не обращая внимания на раннего посетителя, продолжал стучать мочальной шваброй. Едкая сухая пыль, которую поднимал он, щекотала горло. Миловидов закашлялся. Потом, когда приступ кашля прошел, мужик не выдержал, нарушил тишину.

— Когда это начальство явится у тебя в присутствие, Семен Никифорович? — спросил он сторожа. — Не один ли ты за всех тут барабанишь?

Бусыгин остановился перед мужиком. Подняв швабру, словно делая ею «на караул», сказал:

— Начальство придет. О нем беспокоиться нечего, а коли запаздывает — эфто такое уж, знаешь, дело.

Он помолчал, опустил швабру, потом, словно бы вспомнив, зачем Миловидов явился в волость, спросил:

— А ты, вижу, по повесткам к нам ходишь, судишься все?

— Сужусь, — как будто обрадовавшись тому, что Бусыгин не забыл о тяжбе его с Набатовым, оживился Миловидов.—Сужусь, Семен Никифорович, за то самое, за Никалашкино сено. Никалашка-то, понимаешь, так вот с ногами и сел мне на шею. Скоро год как мучусь, не приведи господи! Договорились все как быть следует. Весной, когда по бездорожице за кладью я для него ездил, с руками он готов был отдать мне пустошь. Я скосил по закону, а Никалашка отперся. У него свой закон — куда дышло, туда и вышло. По своему-то закону сдерет он с нашего брата последнюю рубашку, да еще скажет: кланяйся, дурак, в ножки Никалаю Лукичу, своему благодетелю!

Бусыгин приоткрыл дверь в сени, вынес туда швабру; возвратясь, он свысока взглянул на Миловидова и начальственно произнес:

— Дураками да разными прочими словами зря не кидайся, Терешка! Не на улице ты, в казенном присутствии. Видишь — царской патрет висит. Законы — они для всех...

— Не про то я, — Миловидов возбужденно перебил Бусыгина. Он поднялся со скамьи, на которой сидел, от волнения лицо его покраснело. — Про свои, про Никалашкины законы сказываю. Гроб ведь, вот какие законы!

Занятые разговором, ни Миловидов, ни Бусыгин не заметили, как открылась боковая дверь и в присутст-

вие вошел Вертушкин. Был он в туфлях, надетых на босу ногу, взлохмаченный, с припухшей щекой и лилово-черным подтеком под левым глазом. Прежде чем войти сюда, он избил жену. Спасаясь от разъяренного мужа, перепуганная женщина спряталась в парадных сенцах. Бегство жены еще больше обозлило и расстроило писаря. У него кружилась голова. Как всегда бывало у него с похмелья, Вертушкин чувствовал непреодолимое влечение к подвигу. Увидев мужиков, он хотел было немедленно прогнать их, дать им почувствовать его власть. Вероятно, так и сталось бы, если б воинственно настроенный писарь не услышал последних слов, сказанных Миловидовым. Мужик смотрел на царский портрет и бранил «Никалашку»; здесь, в волостном правлении, в присутствии его, Никона Тимофеевича Вертушкина, недостойными словами поносил законы. Подняв кулаки, блюститель порядка и права шагнул вперед.

— В острог! — выкрикнул он так громко, что голос оборвался и засипел.—Ссук-кин ссын! В острог! Я т-тебе п-поккажу Н-никалашку...

Он схватил мужика за волосы, пригнул к полу и, топая ногами, заорал на Бусыгина:

— Ты что стоишь как пень? Неси веревок, вяжи! Обоих сгною в остроге...

Свалив Миловидова на пол, Вертушкин бил его кулаками; в борьбе он потерял туфли и поэтому, задирая голые пятки, стремился ударить ими преступника. От побоев лицо мужика распухло. Связав Миловидова, Вертушкин, брызгая чернилами и тяжело дыша от усталости, нацарапал записку, вложил ее в конверт, запечатал сургучной печатью и, обернувшись к Бусыгину, приказал:

— Отнесешь пакет лично уряднику, да смотри, чтобы мигом, одна нога здесь, другая там. А его, — Вертушкин дрыгнул ногой в сторону избитого, связанного мужика, — тащи в холодную... Постой, — остановил он сторожа, когда тот бросился выполнять приказание, — видишь? — показал он на подтек под своим глазом. — Его это дело. Вооруженное сопротивление при задержании, понял?

Через два месяца Миловидова судил окружной суд «за оскорбление портрета государя императора и за

поношение грубыми словами законов Российской империи».

И случилось так, что председатель суда, статский советник Тихменев, в тот памятный день был не в духе. Утром он получил известие, что в соседней губернии мужики разгромили и сожгли имение его зятя, а в судебной практике Тихменева суд над Миловидовым оказался первым политическим процессом.

Обвиняемый, в оправдание свое, сочинил перед судом нелепую версию о каком-то сене, якобы украденном им; свидетели — полицейский урядник Савватеев, волостной писарь Вертушкин и сторож волостного правления Бусыгин — подтвердили обвинение, хотя последний и упоминал в своих показаниях версию об украденном сене. Решение присяжных прозвучало кратко и убедительно — «Да, виновен». После трехчасового совещания суд огласил приговор, которым: «По указу его императорского величества, крестьянина Терентия Петрова Миловидова, православного, ранее не судившегося, за оскорбление непристойными словами портрета государя императора и за поношение законов Российской империи, оказавшего при задержании вооруженное сопротивление, что выразилось в нанесении им, Миловидовым, побоев волостному писарю Вертушкину, на основании ст. ст... уголовного уложения о наказаниях, по совокупности преступлений, подвергнуть оного, Миловидова, лишению всех прав состояния и ссылке на каторжные работы сроком на четыре года».

Волостной писарь Вертушкин за ревностную службу получил благодарность от губернатора и сто рублей наградных.

«НЕКРУТА»

СРЕДИ ночи взорвалась песня. Визжала гармошка. Пели нестройно и беззаботно, стараясь о том лишь, чтобы выходило громче и удалее.

Некрута-некрутики,
отчаянны головушки,
четыре года не видать
родимые сторонушки.

Отчаянные ребята месили ногами жидкую осеннюю грязь.

Нас в приемную загнали,
а мы думали в кабак;
нам головушки обрили,
а мы думали, что так.

Песня началась у околицы. Ночь темная. Холодные серые тучи с вечера затянули все небо и плачут колкой изморосью. Около пруда, где лохматятся оголенными ветвями две старые березы, чей-то голос, оторвавшись от остальных, резким тенорком, как острый нож, вонзился в тьму:

Из приемной вышел я —
вся обрита голова.
Здравствуй, дроля писованная,
узнала ли меня?

Настя не спала. Завтра «некрута» уезжают в город. Настя ждала, что Сергей выберет время — зайдет проститься. Но Сергей «гулял». Днем Настя видела его пьяным. Он прошел мимо ее окон, волоча за собой по грязи пиджак; на шее парня, вместо шарфа, белело вы-

шитое на концах красными нитками полотенце — убор рекрута.

Еще до рекрутчины Настя вынесла немало укоров из-за Сергея. У парня два брата. Старшего не взяли в солдаты по какой-то болезни. У Сергея нет льготы — ему не миновать службы царской. Изо дня в день, как пилой, мать пилила Настю, повторяя на разные лады одно и то же:

— Угонят его в солдаты, ну и кисни, матушка, после этого в девках. Нечего сказать, убила бобра себе на горе. Сохнешь, ревешь, а он и плевать на тебя не хочет. Вторую неделю некрутится — ползает без задних ног.

Осенью, перед рекрутчиной, Сергей звал Настю замуж. А разве можно в его семье жить солдаткой? Там без нее останется девять ртов. И все-таки Настя любила Сергея. И боялась его и любила.

Прислушиваясь сейчас к песням «некрутов», Настя готова была ногтями драть непроглядную тьму осенней ночи, только бы взглянуть на то, что происходит на улице. По голосам слышно — ребята поравнялись с ее окном. Сережка пропел про нее. Настя узнала его голос. В чем была — выскочила в сени, открыла калитку.

Но ребята прошли мимо. Голоса их звучали уже за прудом. Громко и как-то особенно буйно пролилась в темноте похабная брань, потом зазвенели стекла. Это Егорша Чириков бьет оконницы у солдатки Гани Чистовой. Кому судить «некрута»! Знали в селе — гулял Егорша с Ганей. Парень — богач. У отца его — борода, как у старшины; в хозяйстве сорок десятин «купчей» земли. Нравилось Гане баловаться с кулацким сыном, теперь он — на память ей — выхлестал оконницы.

На улице холодно. Изморосный дождь сек Насте лицо. Намокли непокрытые волосы. Ледяные капли стекали под становину, на спину, грудь. Тело все заершилось жесткими пупырышками. Настя вернулась в избу. Скрип двери разбудил мать.

— Настька, где ты бродишь? Вставать скоро, а ты дверью холзыкаешь. Где была-то?

— На двор ходила, — неопределенно ответила Настя, ложась на постель и накрываясь с головою окуткой.

Еще не рассвело, когда по селу прошел десятский. Он останавливался у «некрутских» дворов, стучал палкой по подоконникам, точно вызывал на сходку.

— Эй, хозяева! Запрягать пора. Езжайте к часовне, оттудов гуртом в город.

Началась суматоха.

Сергей прогулял всю ночь. Теперь, обмотанный полотенцем, сидел он в красном углу, под образами, а над ним, перед темными ликами икон, мигая и потрескивая, теплились два очерка. По избе сновали домашние и пришедшие на проводы родственники, близкие соседи. Груня — жена старшего брата, — подперев ладонью щеку и покачиваясь в такт словам, ныла «причеты». Рядом с Сергеем — мать. Она неотрывно смотрела на сына, то и дело вытирая застиранным передником красные от слез глаза. Брат ушел запрягать лошадь, отец, слышно, ищет чего-то в сенях; он швыряет вещи и громко ругается.

Хмель, туманивший голову Сергея в дни «некрутчины», прошел. «Вот и все»,— думал парень. И чем ближе становилось время отъезда, тем тревожнее замирало сердце. Было обидно, что сегодня все, кто находится в избе, смотрят на него, как на отрезанный ломоть. Куда бы не падал его взгляд, всюду он видел вытянутые, сморщенные печально лица, робкие, сочувственные улыбки. С ним прощались так, словно навсегда провожали из дому.

А мысли в голове — колючие, липнут как репей. Зачем он должен идти в солдаты? Угонят куда-нибудь далеко-далеко — в Сувалки, где служит Костя Антонихин, или в Августов, куда угнали в прошлом году Сашу Ермилова. Зачем? И в избе плачут, жалеют его, а спроси о причине слез — и не ответит никто. Груня, как на зло, причитаючи, выпевает и выпевает ему «службу царскую».

С улицы донесся шум. Фрося — младшая сестренка Сергея — вбежала в избу и — прямо к матери:

— Мамка, Чириковы поехали. Егорша идет впереди, с гармонью, пьяный-препьяный...

Кто-то из соседок оттеснил Фросю. Почуяв минуту расставания, мать заголосила навзрыд. И как бы в ответ на ее плач, с улицы донеслись жалобные стоны гармошки и надрывно-удалая песня:

Что-ты, что-ты, что-ты, что-ты —
я — солдат девятой роты.
Я — девятой, девятой —
нету льготы никакой.

В избу вошел отец. Молча снял с головы картуз, вскинул измятую бороду.

— Наревелись?— словно бы сердясь, хмуро спросил он.— Пора выходить.

Началось прощание. Отец снял с божницы икону. Держа ее косо, в одной руке, другой отлепил огарок свечи, отпихнул ногою скамейку.

— Вставай, Сергей! Благословлю.

Лицо его, как у темного лика на иконе, казалось деревянным. Оно не выражало никаких чувств, лишь по дрожанию губ, да по тому, что он не поправил свалившуюся боком икону, можно было догадаться, что мужик нарочно крепится, не хочет выказывать перед людьми трогающего его горя.

Мать подняли под руки. Она тоже пыталась «благословить» Сергея, но вместо благословения лишь больно стукнула его краем прокопченой доски по темени и выронила из рук огарок, обкапав воском плечо надетого на сыне казинетового пиджака.

Сергею хотелось поцеловать мать, поклониться ей и отцу, попросить их, чтобы приголубили Настю, но язык у него был сух. Сергей только беспомощно шевелил губами, не в силах произнести ни одного слова.

У часовни, где собирались «некрута», росла толпа. Народ все прибывал. «Некрута» бодрились. Кое-где раздавались причеты. Молодушка Фомина, в крайней телеге, билась, как в падучей. Замужем она с «мясоеда», оставалась без мужа на седьмом месяце.

Настя прислонилась к перильцам часовни. Лицо ее почти наглухо закутано платком — Сергей еле узнал ее. На мгновение в глазах его вспыхнула радость. Он шагнул к девушке, но вдруг, точно бритвой провели по сердцу... Кто он теперь? «Отрезанный ломоть». «Не станет же она ждать». И от этой мысли туманом заволокло все перед глазами.

Первые подводы тронулись. Парни прощались с родными, с товарищами, прощались с девушками. Пьяный Егорша Чириков топтался на одном месте, изображая ногами какой-то дикий танец.

Сам играю, сам пляшу,
сапоги в дырах ношу...

пел он, повторяя в нивесть который раз одно и то же.

Настя подошла к Сергею, протянула руку:

— Прощай!

Сергей уставился взглядом на ее заплаканные глаза, не вытерпел:

— Настя, разлучает нас разлука. Увидимся ли?!

— Что ты, ведь не покойник.

— Не дождешься меня, замуж выйдешь.

— Дождусь, — ответила девушка и отвернулась, закрыв платком лицо.

Под охи и плач кто-то матерно выругался. Егорша «растянул» гармонь. Рядом с ним — без картуза, притопывая ногами — шел Василий Фомин. Словно бы стараясь заглушить рыдания своей беременной молодушки, он отчаянно пел:

Брат, забрили, брат, забрили
наши головы с тобой.
Брат на брата поглядели —
покачали головой.

Горький «некрутский» обоз вытянулся за околицу.

НА ЛЕСНОЙ ТРОПЕ

ОТДЕЛЬНЫЙ стрелковый батальон, сформированный в Вологде из добровольцев-красногвардейцев, выгрузился на станции Плесецкая.

Вокруг бесконечные леса. Кроме служебных построек и беспорядочно разбросанных за полосой отчуждения полутора десятков дворов пристанционного поселка, не видно никакого жилья. За те двое суток, которые батальон находился в пути, погода испортилась. Моросил по-осеннему частый, колючий дождь.

Выбравшись из вагонов, бойцы толпились на путях, около «теплушек», обсуждая неожиданность высадки. До станции Обозерская, куда следовал батальон, оставалось около ста километров. На Обозерской находился штаб советских отрядов, остановивших продвигающихся от Архангельска белогвардейцев и интервентов. Причины изменения маршрута батальона никто не знал; тревожило опасение: а вдруг Обозерская оставлена?

— Товарищ Васильев, куда мы теперь? — окликнул проходившего комиссара батальона молодой светловолосый боец, выделявшийся среди остальных красногвардейцев ярко-зеленой бумазейной шинелью.— Не здесь ли останемся?

Васильев, как и бойцы, был недоволен высадкой, но чтобы не показать этого, ответил неопределенно:

— Все может быть.

— В наказание за чужие грехи, если останемся, — с притворным сокрушением воскликнул боец, оглядываясь на товарищей. — Леса да болота, станция как рыжая бочка из-под трески, дождик...

— А ты, Анфимов, в походе веселой жизни захотел? — усмехнулся Васильев. Лицо его с косой черной повязкой, прикрывающей щеку, изуродованную в шестнадцатом году осколком немецкого снаряда, несмотря на усмешку, казалось строгим и сосредоточенным.

— Я не о том, товарищ Васильев, — сказав это, Анфимов подошел ближе к комиссару. — Ехали мы на Обозерскую, чтобы гнать белогвардейскую гидру, а высадились в тылу. Не понимаю я...

— А вот повоюешь, так и поймешь, — серьезно сказал Васильев и, перешагивая через рельсы, пошел к станции.

— Слыхал, Яша? — подтолкнул Анфимова пожилой боец в поношенном брезентовом «дождевике» и низко нахлобученной на лоб смятой фуражке водника.

— Слышал, — недовольно проворчал Анфимов. — Сарай бы что ли какой... Обсушиться негде.

— Как негде?— боец приподнял козырек фуражки. — А лес? Охотничьей жилки в тебе нету, Яша. Поставим шалашик, костерочик запалим... Может, тут оборону станем держать.

— За сто верст от фронта? От кого здесь обороняться, товарищ Силин?

— На войне, Яша, не знаешь, какой участок важнее. А с комиссаром ты что-то просто очень...

— Так он же меня знает. Наборщик я.

— Ну и что?

— А Васильев замредактора «Красного Севера». Каждый день встречались.

От задних вагонов донесся смех, потом кто-то высоким тенорком запел:

Милка що, милка що,
милка щокаешь пощо?..

— Костя Забегалов из депо,— прислушиваясь, сказал Силин. — Огонек парень!

Из здания станции, вместе с Васильевым, показался высокий стройный человек в длинной кавалерийской шинели и лихо сдвинутой на затылок фуражке. Он остановился на перроне, тронул пальцами кончики белокурых усов и крикнул:

— Командиры рот, ко мне!

— Ротные, к командиру батальона! — сложив труб-

кой ладони и приставив их ко рту, повторил команду Силин, повернувшись лицом вдоль поезда. — На носках! — добавил он тише.

— Батальонный-то из военных, знать? — ни к кому не обращаясь, промолвил стоящий неподалеку от Силина боец в расстегнутом ватнике.

— А ты не знал? — спросил, обернувшись к нему, Силин.

— Из офицеров что ли?

— Офицер... Ты сам-то откуда?

— Я-то? Из Монастырщины. Как вернулся с германского фронту, выбрали меня в деревне в комбед. А тут белая гидра лезет. Ну, говорю себе, Широков Степан, рано тебе бросать винтовку! И подался вот...

— Молодец, Степан! — похвалил Силин. — Советская-то власть наша, кому ее и защищать, как не нам. А батальонного своего ты не знаешь, это факт.

— Фамилию знаю.

— А ну, скажи!

— Товарищ Серебряков. Интересуюсь, кем раньше он был?

— Генеральским сыном, — засмеялся слушавший разговор Анфимов. — По усам-то, видишь, без пяти минут губернатор.

— Брось шуточки, Яша! — остановил Анфимова Силин. — Ничего нет смешного в том, что товарищ интересуется. Бойцу Красной Армии надо знать, кто им командует. Серебряков такой же офицер, как мы с тобой, товарищ Широков. Из железнодорожных мастерских он, токарь по металлу, большевик, понятно? Его еще при Саше Керенском рабочие мастерских выбрали у себя начальником Красной гвардии. Можешь верить ему, как себе.

Серебряков, собрав командиров рот, сообщил им о приказе штаба отрядов, полученном по проводу с Обозерской.

— Положение, товарищи, серьезное, — объяснил он.— Нами оставлено Селецкое, а оттуда, как вы знаете, идет тракт на Плесецкую, то есть сюда. Советские отряды, действовавшие на Селецком направлении, видимо, деморализованы; связи с ними у штаба нет. Бе-

логвардейцы продвигаются по тракту, цель их: захватить Плесецкую и, таким образом, перерезать железную дорогу в тылу наших войск. Это дезорганизовало бы нашу оборону и открыло белой контре прямой путь на Вологду. Нам приказано выступить отсюда по тракту на Селецкое, встретить и остановить противника. Люди в ротах все налицо?

— Так точно. За наш народ можно ручаться, — ответил командир первой роты Сергей Бондаревский, невысокого роста крепкий человек с пышным русым чубом, выбивающимся из-под фуражки.

— Я тоже так думаю, — сказал Серебряков. — Сейчас соберем агитаторов. На Плесецкой батальону нужно пообедать. Митинговать не будем, разъясним задачу по взводам и отделениям в пути.

Захватив Архангельск, интервенты и белогвардейцы, пользуясь тем, что на Севере не было советских войск, за две недели боев продвинулись вверх по Северной Двине почти на триста километров, за Двинский Березняк; по железной дороге — в направлении Вологды — заняли станцию Тундра. Но попытки их прорваться по Двине к Котласу, где скопились огромные запасы военных материалов и угля, эвакуированных из Архангельска, разбились об упорное сопротивление северной речной флотилии, которой удалось даже потеснить белогвардейцев; на железнодорожном направлении, остановив наступление интервентов, советские отряды закрепились в районе Обозерской.

Огромное пространство между Северной Двиной и железной дорогой оставалось почти без прикрытия. Лишь в районе села Селецкого, через которое проходит тракт от Двины на станцию Плесецкая, действовало несколько малочисленных отрядов, создавая видимость обороны. Недели через три после захвата Архангельска белогвардейцы неожиданно начали наступление в районе Селецкого, захватили село и, развивая успех, далеко подвинулись вперед по тракту. Советское командование вынуждено было задержать следовавший на Обозерскую Вологодский батальон и направить его на оборону Плесецкой.

За сутки, совершив сорокакилометровый переход, батальон достиг села Авдинского. Из бесед с местны-

ми жителями Серебряков и Васильев установили, что лесом, по тракту, к селу приближается белогвардейский полк. Где-то позади белогвардейцев находится отряд шотландцев. Пушек у белогвардейцев нет, но они имеют броневик, огонь которого и обеспечил им успех у Селецкого.

О том, что у белогвардейцев есть броневик, Серебряков услышал впервые. Весть эта его встревожила. Он надеялся на своих бойцов; все они добровольцы, многие из них участники германской войны, но есть и новички, не бывавшие на фронтах. Как они поведут себя в бою? Посоветовавшись с комиссаром, Серебряков выделил группу надежных бойцов, которая получила задание: расположиться скрытно у шатровой мельницы, около дороги, подпустить броневик на близкое расстояние и забросать его гранатами.

Как и вчера, день стоял серый. Недалеко от опушки леса, где выходит в поле дорога и откуда должны появиться белогвардейцы, тянется неглубокий овраг. Склоны его заросли плотным кустарником. От оврага к селу дорога медленно поднимается на пологий холм. Поле открыто, но правее дороги, от села тянется прогон к выгону; вдоль прогона, как сторожа, выстроились редкие лохматые ели, кусты вересков и путаные, низкорослые ольшаники. Готовясь к встрече с врагом, Серебряков рассчитывал, что белогвардейцам неизвестно о прибытии в Авдинское советского батальона; исход боя решат смелость и внезапность нападения.

Приближался вечер, когда из леса показались дозоры белогвардейцев. Впереди поле, за ним село, разбросавшееся на холме. Видно мельницу. У нее сохранились три крыла, на месте четвертого — сломанный наполовину, оголенный остов. Издалека село казалось безлюдным. Мирно расплывался в мутном небе одинокий дымок, поднимающийся из трубы чьей-то избы.

Рассыпавшись в цепь, взвод походной заставы двинулся вперед. По дороге, впереди цепи, задрав вверх клюв пулемета, показался броневик. Когда цепь перешла овраг и стала подниматься к мельнице, из леса вытянулась на дорогу колонна полка.

Село, как и прежде, безлюдно. Ободренные легким

успехом у Селецкого белогвардейцы ускорили шаг. Броневик поравнялся с мельницей...

На дороге разорвалась граната. Взрыв ее нарушил тишину. Бойцы Серебрякова открыли огонь по наступающим.

Цепь белых залегла. Голова колонны, успевшая перевалить овраг, в беспорядке попятилась, оставляя на на дороге убитых и раненых. Не ожидавшие нападения белогвардейцы скопились в овраге. В это время рота Сергея Бондаревского, скрытая в кустах на прогоне, открыла фланговый огонь по оврагу. Белогвардейцы заметались. В панике им казалось, что стреляет каждый куст. Тощий офицер в полковничьих погонах, страшно ругаясь, пытался что-то командовать. Его никто не слушал. Атакованные красноармейцами, белогвардейцы отступили. Часть их, бросив оружие, разбежалась.

Оставшийся без прикрытия броневик при первых же взрывах гранат остановился. Потом, словно опомнясь, дал задний ход и начал уходить к оврагу. На изгибе дороги водитель так круто повернул руль, что машина, описав резкий полукруг, скатилась в придорожную канаву.

Преследуя белых, батальон Серебрякова начал продвигаться вперед. Ряды его, после боя у Авдинского, пополнились влившимися в него бойцами из отрядов, отступивших от Селецкого. Попытки белых задержаться на попутных рубежах не имели успеха. Через три дня батальон освободил Селецкое. Паника среди белогвардейцев усиливалась слухами о том, будто со стороны Плесецкой наступает красная дивизия, в составе которой есть кавалерийские части и артиллерия. Шотландские стрелки, при первой же вести о поражении белых у Авдинского, бросили «союзников» и отошли к Двине. Заняв Селецкое, Вологодский батальон, не задерживаясь на старых позициях, продвинулся вперед и без боя вступил в село Тегру.

В тот же день, когда заняли Тегру, красноармейский дозор, высланный на дорогу из Тегры к селу Сийскому на Двине, встретил конного белогвардейца с унтер-офицерскими нашивками на погонах. Белогвардеец, ви-

димо, не знал, что в Тегре красные; он принял дозорных за своих.

— Эй, ребята! — окликнул он. — Правильно еду на Тегру?

— Правильно. Не здешний что ли?

— Нет, я из штабной роты. Срочный пакет везу от командующего северо-двинской группой.

— Кому пакет?

— Союзному полковнику.

Разговаривая с белогвардейцем, Силин подошел к нему. Тот, ничего не подозревая, крутил папироску. Очутясь рядом, Силин угрожающе вскинул винтовку.

— А ну, продажная шкура! Долой с коня!

— Не шути, ребята! — опешил белогвардеец, но быстро оправился и пригрозил: — За такие штуки не поздоровится.

— Не понимаешь приказа, белогвардейская твоя душа, — крикнул Анфимов, приближаясь вместе с Широковым к белогвардейцу. — Ну! Руки вверх!

Под направленными на него штыками трех винтовок белогвардеец спешился и поднял руки.

— Яша, возьми у него оружие! — приказал Силин.

В Тегре хозяин избы, у которого остановился Серебряков, держался очень настороженно. За три недели, когда хозяйничали в Тегре белогвардейцы, они до такой степени терроризовали жителей села и запугали их жестокостями красных, что после освобождения люди со страхом ожидали начала расправы.

— Как вас, хозяин, по имени и батюшке? — спросил Серебряков. Кроме него и хозяина в избе никого не было.

— Полозов я, Иван Михайлов, — помолчав, ответил хозяин, при этом загорелое, тронутое редкими рябинками лицо его немного оживилось. Он оправил надетую на нем выцветшую гимнастерку и добавил:

— Я тоже из армии... Весной демобилизовался. Три года воевал на немецком.

— Фронтовик, значит. С какого года службы?

— С девятьсот седьмого.

— Где служил?

— В сто пятьдесят втором Владикавказском полку. Последнее время стояли в Двинской крепости.

— Та-ак. А хорошо ли у вас при белогвардейцах жилось, Иван Михайлович?

— Жили, — нахмурился Полозов. — Всего навидались...

Разговор прервал вошедший Силин.

— К тебе, товарищ командир, — остановясь перед Серебряковым, козырнул он. — Срочное донесение.

— Что случилось?

— На Сийской дороге захватили связного белых... Вез пакет стерва...

— Ну! — поторопил Серебряков.

— В дозоре мы были. Едет он безо всякой опаси, и не слыхал, что беляки удрали. Сказываем ему, а он не верит, что мы красные.

— Где пакет?

— Вот, товарищ командир, — Силин достал из кармана дождевика пакет и протянул Серебрякову.

— Полковнику Броуну, — взглянув на адрес, сказал Серебряков.

— Связной говорит, что полковник этот американец, — пояснил Силин.

— Вот как! И американцы были в Тегре? — Серебряков вопросительно взглянул на Полозова.

— Были и американы, товарищ командир, — сказал Полозов и оглянулся на дверь, точно опасаясь, что его кто-нибудь может подслушать. — Ночь они тут стояли... Добром никто не вспомнит. Белая армия и англичане — худо ли, хорошо ли, с бранью да с матом, но разговаривали с народом, а которые американы — те молча. Скажет кто слово, сразу за револьвер. Девок ловили, курей сколько сожрали...

— Давно они ушли из Тегры?

— Вчера поутру.

— На Двину?

— Нет, — сказал Полозов и замолчал, покосясь на вошедших в избу Васильева и Бондаревского.

— Свои люди, — успокоил его Серебряков. — Рассказывай!

— В лес подались они, к Обозерской. Двоих наших мужиков с собой взяли. Да это кулачье, сами, небось, напросились.

— Слышали, товарищи? — Серебряков повернулся к командирам. — Американский отряд был в Тегре.

— В селе говорят об этом, товарищ Серебряков, ответил Васильев. — Будто душ пятьсот. А отсюда, лесом, тропа есть на Обозерскую.

— Правда, Иван Михайлович?

— Есть тропа, ездим по ней, — подтвердил Полозов.

— И далеко отсюда до Обозерской?

— Да верст, поди, сотня будет.

В пакете, переданном Силиным, оказался написанный по-русски и по-английски приказ командующего войсками интервентов на севере России английского генерала Пуля. Этим приказом Пуль изменял намеченный ранее план общего наступления на большевиков. Полковнику Броуну, командиру американского отряда, предлагалось, вместо движения по тропе на Обозерскую для удара во фланг красным, выступить к Плесецкой, на поддержку ушедших ранее вперед белогвардейских войск, и во что бы то ни стало перерезать железную дорогу.

Серебряков передал приказ Васильеву.

— Пуль опоздал, — сказал он. — Приказ не застал в Тегре американцев — они на пути к Обозерской. Если догоним их...

— Ясно, товарищи! Хищная рука английских и американских империалистов тянется к Советской республике, — взволнованно заговорил Васильев, прочитав приказ Пуля. — Интервенты хотят захватить нашу землю, задушить революцию. Но мы не допустим, отрубим их кровавую руку...

Выступая на митингах, Васильев говорил длинно и витиевато, стараясь вложить в слова весь пыл своего революционного пафоса. Сказывалась привычка агитатора и газетчика. Он и сейчас готов был произнести длинную речь.

Серебряков улыбнулся.

— Выступим следом за американцами сегодня же, товарищ Васильев,— сказал он.— Догоним их и уничтожим. Мы воюем на своей земле, а дома, как говорится в старой поговорке, и пни помогают.

— Успеем ли догнать, товарищ Серебряков? — высказал сомнение Бондаревский. — Американцы больше суток в пути.

— Попробуем.

— Можно догнать, — негромко, но решительно про-

изнес Полозов. — Тропа, по которой ездим, кружит около болот, а можно пройти прямиком, ежели налегке... Я проведу.

— Вы?! — Серебряков пристально посмотрел ему в глаза.

— Проведу, не сомневайтесь! — сказав это, Полозов встал и вытянулся по-военному. — Меня в лесу каждая елка знает.

Лес глухой, дикий, величественный. Еловые боры сменяются гривами сосен. Около дороги кусты можжевельника — стройные и высокие, какие встречаются только в хвойных борах. На опушках полянок — тронутая увяданием зелень ольшаников и похожей на черемуху вислоухой крушины; около старых пней гордо возносятся пестрые метелки быльника и лиловые головки колючих «вдовцов»... Растет дудник, много лесного тмина. На болотах лес редеет. Гигантские сосны и ели сменяются чахлыми низкорослыми уродцами. Болота — владения ивы, пахучего багульника, голубики и буйных пышных мхов, усыпанных ярко-красными бусинами клюквы и брусники.

Вторые сутки батальон Серебрякова ускоренным маршем шел по тропе. Перед походом, на коротком совещании комбата с командирами рот и комиссаром, решено было оставить в Тегре, в качестве заслона, третью роту, а с остальными выступить к Обозерской.

Осторожно, растянувшись гуськом, прислушиваясь к каждому шороху, идут бойцы головного дозора. Тропа тянется по густому ельнику. Впереди Полозов, следом за ним Силин. Враг где-то близко. Ветер хотя и не разогнал облака, но дождь перестал.

— Как ты скажешь, Иван Михайлович, скоро догоним? — спросил Силин у Полозова.

— А вот как пройдем ельник, будет ручьишко; овраг там, дальше — гарь, а за ней болото — большое, верст на семь.

— Обходом бы взять?

— Нельзя здесь обходом, Петр Иванович. Места гиблые.

Прошли еще около километра, лес начал редеть. Дозорные удвоили осторожность. Как ни ждали они

встречи с врагом, но когда Полозов остановился и, прислушиваясь к лесному шуму, сказал, что слышит голоса, Силин тревожно оглянулся.

— Близко?

— У ручья никак...

Теперь и Силин уловил голоса, доносящиеся сквозь шум леса. Подозвав шедших позади Анфимова и Широкова, он сказал:

— Гидра близко, ребята. Мы с Иваном Михайловичем побудем тут, а вы — айда к командиру... Осторожней!

Отряд американских войск чувствовал себя на лесной тропе в полной безопасности. До Обозерской еще далеко, а когда выступали из Тегры, имелись сведения, что белогвардейский полк и шотландские стрелки успешно продвигаются к Плесецкой. В таежной глуши, где шел отряд, нет вблизи ни дорог, ни селений.

На отдых расположились на живописном берегу лесного ручья. Задымились костры. Солдаты — одни ели подогретое, твердое консервное мясо, другие сушили у огня промокшие ноги или играли в карты и кости. Офицеры собрались у палатки полковника. Чувствуя себя так, будто они не в лесу, а в баре на Троицком проспекте в оккупированном Архангельске, офицеры пили теплое кислое вино и слушали, что говорил полковник.

Полковник Броун — человек не первой молодости, с полным, словно бы отекшим лицом и заметно выступающим животом — сидел на складном стуле. Слегка покачиваясь, он неторопливо высказывал свои соображения по поводу пребывания в России американских войск.

— Россия — страна огромных возможностей, — говорил он. — Здесь имеется все, что нужно для большого бизнеса. Мы, американцы, особенно заинтересованы в русских провинциях на Севере и на Дальнем Востоке. В этих провинциях много леса, в недрах их колоссальные запасы угля, нефти, железа, золота, редких металлов...

— А наши союзники, полковник: англичане, французы... Они тоже готовятся участвовать в русском бизнесе?

— Да, они помогают нам. Пока война не кончена, мы поддерживаем их, но, покончив с большевиками, вышвырнем вон.

— Что будет тогда с Россией?

— О! На территории России будет образовано множество мелких государств, республик или монархий — все равно. Важно, что эти государства будут враждебны друг другу; во взаимной борьбе все они станут искать нашей помощи. Америка распространит влияние свое на всю территорию России, получит ее недра и неисчерпаемый резервуар дешевой рабочей силы в в лице русских мужиков. Англия и Франция не в состоянии конкурировать с нами. Будущее России, господа, в твердом порядке, который установим мы.

— Но большевики еще не разбиты, полковник.

— Кто такие большевики? — полковник повысил голос. — Это кучка бунтовщиков, с которой так же легко сладить, как с бандой краснокожих. Народ русский ждет нас, видит в нас своих избавителей, — стараясь придать силу и убедительность тому, что он говорил, произнес полковник. — В Архангельске, первом русском городе, где появились наши войска, местные люди, по своему обычаю, встречали нас хлебом и солью.

— Долго ли они продержатся, эти большевики, господа?

— Недолго,— безапелляционно заявил полковник.— Зиму мы встретим в Москве.

Было три часа дня, когда полковник Броун велел подать коня и, сопровождаемый адъютантом, выехал на тропу. Впереди, на пути отряда, болото. Проводники говорили, что в топких местах на тропе есть бревенчатый настил. Располагаясь у ручья, Броун приказал выделить десяток солдат, которые вместе с проводниками должны обследовать тропу и, чтобы обеспечить движение обоза, завалить топкие места фашинником. Времени с той поры прошло много, но солдаты, ушедшие на болото, не вернулись.

Проклиная глушь и дикое бездорожье, мешавшее быстрому продвижению отряда, полковник ехал шагом. Время от времени он спрашивал у адъютанта карту, сверял по компасу направление пути. Все обстояло так, как надо. Тревожило лишь опасение, что он может

опоздать и шотландские стрелки, ушедшие на Плесецкую, раньше перережут железную дорогу в тылу красных и этим снизят значение марша его отряда.

Тропа поднялась на холм, заросший березняком. Вдруг где-то неподалеку хлопнул выстрел. Адъютант, ехавший сзади, вскрикнул и свалился с седла. Конь полковника прянул в сторону. Броун сдержал его и, спеша, принялся расстегивать кобуру пистолета. На тропе показались люди. Окружив полковника, они угрожающе выкрикивали непонятные ему слова, что-то приказывали. Полковник, рассердясь, потребовал, чтобы ему дали дорогу. В ответ его грубо стащили с коня.

— Этот ли был в Тегре, Иван Михайлович? — спросил Силин, отобрав у пленника пистолет.

— Он, — коротко ответил Полозов.

Захваченные врасплох и прижатые к болоту интервенты частью были перебиты, частью бежали в тайгу, где и погибли от голода и начавшихся осенних холодов; никто из них не выбрался к жилью. Батальон Серебрякова захватил обоз с боеприпасами и продовольствием.

Полковник Броун, когда его доставили к Серебрякову, потребовал немедленного освобождения.

— Я полковник американской армий, — заявил он. — Ви болшевик... Не имеете держат плен американский полковник. Я требовай...

Серебряков молча слушал полковника, наконец, не выдержав, сказал Силину и его бойцам, охранявшим пленника:

— Доставьте господина полковника в штаб, товарищ Силин! Завтра отправим его в Вологду. Там ему разъяснят положение.

ВСТРЕЧА

ПАРТИЗАНСКАЯ армия Сергея Лазо в июне 1919 года завязала бои в районе Сучанской железнодорожной ветки. Район реки Сучан, в особенности Сучанский угольный бассейн, играл особую, очень важную роль в планах интервентов, захвативших русский Дальний Восток. Сучанская железнодорожная ветка, по которой вывозился уголь, связывала район шахт с городами Дальнего Востока и Сибири. На каждой станции и на самом руднике находились японские и американские гарнизоны; были склады с продовольствием и снаряжением.

Партизаны овладели станциями: Сица, Тахе, Фанза, Бархатная. На помощь своим разбитым частям американское и японское командования направили крупные подкрепления. Партизаны разрушили железнодорожные пути, взорвали мосты, вывезли в тайгу захваченное оружие, продовольствие, снаряжение. Выполнив задачу, они отошли. Движение по ветке было надолго прервано.

Отряд Платона Малинина остановился на берегу таежного ручья. Невысокие, заросшие лесом сопки образовали узкую, скрытую со всех сторон лощину. Расставив посты, отряд расположился на отдых.

Прошло две недели с тех пор, как отряд, направляясь на соединение с Лазо, выступил в тайгу из района железной дороги Никольск-Уссурийск — Иман. Попытки установить связь со штабом Лазо пока не дали

успеха. На Сучанском руднике, на железнодорожной ветке, в деревнях и селах, разбросанных по долине Сучана, находились войска интервентов и белогвардейцев. Избегая бесцельных столкновений с ними, отряд скрывался в тайге.

В отряде сорок пять бойцов. Из десяти лошадей, с которыми выступили в поход, остались четыре. Люди оборвались, изголодались, устали. Были в отряде рабочие депо станции Никольск-Уссурийск, линейные рабочие, грузчики; были крестьяне и уссурийские казаки. Около половины бойцов — «смертники», как называли людей, схваченных интервентами и белогвардейцами за сочувствие советской власти и большевикам, но сумевших бежать и тем спастись от ожидавшей их веревки или расстрела.

По мере того, как отряд приближался к Сучану, положение становилось тревожнее. Стало известно, что армия Лазо, после боев у железнодорожной ветки, отошла в тайгу, что на Сучан прибыли свежие японские и американские войска. Надо было или скорее пробиться к Лазо, или куда-то отступить. О последнем в отряде никто не думал.

Накануне вернувшийся из разведки Федя Водовозов доставил сведения о том, что километрах в тридцати от места, где находился отряд, в деревне Хмельницкой, будто бы есть партизаны из армии Лазо. Эти сведения подтверждали и другие разведчики. Отряд выступил к Хмельницкой. Теперь деревня эта близко, но чтобы оберечься от случайностей, Малинин решил все же задержаться в лесу, утром выслать разведку и потом уж, если слух, что в Хмельницкой партизаны, подтвердится, — выйти из лесу всем отрядом.

Вечером люди собрались у костра. На склонах сопок, сбегавших в лощину, среди темных сосен и стройных лиственниц сверкали белые, точно обернутые бумагой, гладкие стволы берез. Было тихо. Лес, казалось, замер в величественном спокойствии своем. Обросшие бородами, с высохшими, загорелыми лицами, партизаны мало напоминали людей, восставших на борьбу с интервентами, а скорее были похожи на мирных жителей, случайно остановившихся в тайге. Около самого костра, подобрав под себя ноги, сидел пожилой человек, одетый, несмотря на жаркую погоду, в рваный ов-

чинный пиджак и овчинную же шапку. Спутанная борода так плотно покрывала его лицо, что из-под надвинутой на лоб шапки виднелись только щелки глаз и нос — крупный, обветрелый, о каких говорят: «в цвету». Помешивая обломком сучка красноватые угли, он говорил:

— Зря ты сказал так, Федя. Американца с японцем нельзя равнять. Японец пришел, чтобы оттяпать у России Дальний Восток, американец ему мешает. Это факт...

— Не-ет, Павел Васильевич, не так. Обоих — и японца, и американца — одна кочерга крестила.

— Не веришь? А я, когда обходчиком был на линии, листовку читал... Подпись была генерала Гревза. И люди, слышал, так говорили.

— За проволоку-то кто посадил тебя?

— Кто? Японец. Этот, братцы, прямо скажу, зве-ерь!

Павел Васильевич (фамилия его Пашаков) раньше служил путевым обходчиком на железной дороге. Его арестовали японцы, заподозрив в сочувствии большевикам. Пашаков бежал и примкнул к отряду Малинина, незадолго перед выступлением на Сучан. Возражал Пашакову Федя Водовозов — слесарь депо станции Никольск-Уссурийск. Федя моложе Пашакова. Ему не исполнилось и двадцати четырех, но обросший бородою, с резко выделявшимся шрамом на правой щеке, он выглядел старше.

— По-твоему, так выходит: японец — зверь, американец — золото, японцу явился мешать, — иронически усмехнулся Водовозов. — А скажи, Павел Васильевич, кто его сюда звал? Ты что ли? Может, я? Не-ет. Никто в Советской России американцев на помощь не звал, сами они ворвались. Вроде как пришел бы я в твою хату, щелкнул перед носом у тебя затвором да и сказал: «Ты что ли Пашаков? Убирайся к чертовой своячине! Порядок в твоей хате наводить буду».

— Это по-бандитски, — притихнув немного, возразил Пашаков.

— Американцы, по-твоему, лучше? Эх ты, дядя! Бандит, он по крайней мере не станет тебе листовки писать. У него один разговор. Американец — этот с подходом. За горло тебя возьмет, будет душить, а на словах вежливо: «Не брыкайся, скажет, Павел Василь-

евич, я по-дружески, ради твоего счастья... Помогаю, скажет, тебе...» И пойдешь ты, раб божий, от этой помощи босиком и без штанов прямо на тот свет.

У костра засмеялись.

— Что правильно, то правильно, Федя, — поддержал Водовозова сидевший напротив него Мухин — рослый, с широкими плечами, сильный человек, до того, как попасть в отряд, работавший грузчиком. — Что японец, что американец — оба-два на землю нашу пялят шары. Одному до Байкала бы, а другому и до Байкала мало: всю бы ему землю слопать, от Чукотки до Урала-батюшки. Американец нацеливается — японца оттеснить, а самому захватить.

— А мы дадим ему землю, не жаль, — повел плечом партизан с широким, казавшимся очень добродушным лицом. Он посмотрел на Мухина, на Водовозова, перевел взгляд на Пашакова и усмехнулся как-то по-особенному, будто сам для себя. — В России у нас земли и на японцев, и на американцев хватит, — добавил он.

— Ты дашь землю? — Водовозов в упор посмотрел на говорившего. — Это вы — уссурийские казаки — заодно с врагами. Вы и землю, и все готовы отдать.

— Может и так. Ежели человек нуждается, мне не жаль, — невозмутимо произнес уссуриец.

— Ты что, Василий Егорович?! — Водовозов, поднимаясь, рассыпал костер. Вычерчивая в помутневшем воздухе золотые нити, к небу взвился яркий столб искр. — Ты на самом деле?..

— А ты думал — шучу? — не обращая внимания на расходившегося Водовозова, не шелохнулся и не повысил голоса уссуриец. — Пусть идут... Сколько их там, хоть миллён... Каждому нарежем. По три аршина и кол в спину. Владей!

— Хо-хо! Молодец! Ай да, Дужкин! Одарил землей, — раздались у костра прерываемые смехом голоса.

Громче всех смеялся Федя Водовозов. Он смеялся не только над словами Дужкина, но и над тем, как уссуриец ловко провел его.

— А я рассердился... Думал, ты и впрямь,—сказал он.

— Не люблю, паря, зря слова бросать, — ответил Дужкин. — Совесть у меня есть.

— Так, товарищи, — вмешался в разговор Малинин.

Он только что подошел к костру, но, видимо, слышал о чем говорили партизаны. — У интервентов — американских ли, японских ли — одна цель — захват наших земель, наших богатств; превратить советский Дальний Восток, а, может быть, если б им удалось, и Сибирь в свою колонию. Вот куда они метят. Нам всегда надо помнить, что говорил наш великий вождь товарищ Ленин. «По отношению к Соединенным Штатам и Японии, — сказал он, — мы преследуем прежде всего ту политическую цель, чтобы отразить их наглое, преступное, грабительское, служащее обогащению только их капиталистов, нашествие на Россию». Слышали? Понятно это? Я думаю, понятно. Яснее не скажешь о цели американского вторжения. И то верно, что Америка помогает, но кому? Своему цепному псу — Колчаку. Вот кому она помогает, а не России, не советскому народу.

Малинин — в прошлом школьный учитель. Может быть поэтому речи его были несколько сухи и излишне нравоучительны, но партизаны его слушали и привыкли верить ему.

Сейчас, пока он говорил, костер, в который никто не подбрасывал хвороста, стал догорать. Казалось, в эти минуты каждый думал о чем-то своем, близком и родном ему. Первым опомнился Дужкин. Он кашлянул и по привычке повел плечом:

— Федя укорил меня, что я казак, — сказал он. — И пускай! Казак я, но сердит, братцы! Американцев я знаю, о-очень знаю, — протянул он последние слова. — Вот... Осталась от них память. — Дужкин распахнул пиджак и, подняв рубаху, показал розовые рубцы. — По их приказу полосовали. Пехота я теперь, ни коня у меня, ни клинка; да если б и винтовки не было, и не был бы я в отряде, то один, с голыми кулаками, как тигра, вышел бы против них...

Лес оборвался неожиданно. Сделав крутой изгиб, дорога выкатилась на простор ржаного поля, за которым не дальше как в полукилометре, виднелась деревня.

Вышедшие с рассветом разведчики остановились на опушке. Кроме Феди Водовозова, были тут — против-

ник его по вчерашнему спору — Пашаков, Дужкин и Гриша Молодяков — безусый, белобрысый парнишка, с исхудавшим обрызганным мелкими веснушками лицом. В порванной солдатской фуражке без козырька, лихо сдвинутой на затылок, он был похож на молодого петушка, изготовившегося к первому бою.

Выйдя с места стоянки отряда, они, поднявшись вверх по ручью, оказались на дороге, около моста. Придерживаясь направления дороги, разведчики добрались к опушке.

— Павел Васильевич, наведайся туда, — сказал Водовозов, старший группы разведчиков, показывая на деревню. — Надо установить, Хмельницкая это или нет; есть ли там партизаны?

— Схожу, — довольный поручением, Пашаков приободрился. После вчерашнего спора он немного опасался: простит ли ему Водовозов речи об американцах? Но Водовозов, направляя его на ответственное задание, должно быть забыл о споре, не вспоминал о нем.

— В деревне не задерживайся, Павел Васильевич, действуй осторожно,— предупредил Водовозов.— Мы будем...— он посмотрел вдоль опушки.— Около той сосны. Видишь, разлапая?

— Запомню.

— Бороду расчеши, паря! — пошутил Дужкин. — Придешь в хату, а там хозяйка безмужняя, шаньги горячие...

— Не задержусь, на шаньги я после, — весело заверил Пашаков.

Он оправил подсумок и, держа в руке винтовку, вошел в рожь. Та, наливая зерно, начала уже подгорать. Пашаков пригнулся. По колыханию колосьев разведчики некоторое время могли наблюдать за его движением, но по мере того как он удалялся, поле принимало свой обычный вид.

Солнце поднялось выше. Разведчикам, ожидавшим Пашакова, казалось, что время тянется бесконечно медленно. Поле, раскинувшееся впереди, деревня, темневшая за ним своими избами, глухой таежный лес — все было погружено в какое-то застывшее и невозмутимое спокойствие. Кажется, ничто не угрожало нарушить это спокойствие, все было так, как надо, но Водовозов, с той самой поры, когда проводили Пашакова,

переживал непонятную тревогу. Будто бы вот совершил он что-то непоправимое и не знал теперь, что делать. Чем дальше шло время, тем беспокойство становилось сильнее. Водовозов видел, что и Дужкин недоволен запозданием Пашакова. Уссуриец то и дело поводил плечом, недовольно кусал губы; свернул цыгарку, но не закурил, а, измяв, спрятал ее в карман. Гриша, устроившийся вверху, в лохматых лапах сосны, не подавал голоса.

— Задержался Павел Васильевич, — высказал, наконец, свою тревогу Водовозов. — Пора бы...

— Пора, — откликнулся Дужкин. — На самом деле, не за горячие ли шанежки зацепился паря.

— Разные бывают шаньги, — хмуро буркнул Водовозов. — Не нравится мне это, Василий Егорович.

— Солнце-то, пожалуй, за полдень, — приставив к глазам ладонь и взглянув вверх, промолвил Дужкин. — Тишина эта чертова... Дождя бы хорошего что ли!

— Промокнем.

— Пускай! — точно дождь чем-то облегчил бы его, пожелал Дужкин и, приподнявшись, спросил Гришу: — Никого не видно там, паря?

— Не видно, Василий Егорович, — послышалось сверху.

— Ты смотри!

Снова тихо. Теперь, когда солнце стояло высоко, сизый, прозрачный туман разлился и задрожал над полем. Воздух был так светел, что в блеске его все, что видели глаза, казалось мягче, теряло свои цвета; тень от сосны, недавно еще простиравшаяся до края ржи, теперь сжалась, стала темнее. Пашаков не возвращался. Водовозов подумывал уже о том, чтобы самому отправиться в деревню, положить конец томившей его неизвестности.

— Едут... Подвода там, — вдруг подал голос Гриша.

— Где? Кто едет?

— Не разберу. Выехали из деревни... Вон они!

— Не Пашаков ли? — предположил Дужкин. — Может, для нас тарантасик?

Он встал. Так как подводы из-за ржи не видно, то, легко подпрыгнув, казак ухватился за толстый, словно покрытый блестящей бронзой, сук сосны, подтянулся и, навалившись на него, как на турник, посмотрел впе-

ред. Через секунду лицо его вытянулось, выцветшие брови сдвинулись к самому переносью. Спрыгнув вниз, он произнес одно слово:

— Американцы.

— Что ты?.. Откуда? — набросился на него Водовозов.

— Оттуда вот, из деревни, — резко, точно обидясь на Водовозова за неуместный вопрос, сказал Дужкин.— Я их за десять верст узнаю.

— А Пашаков... Он там... — Водовозов выразительно посмотрел на Дужкина.

— Там, — с прежней резкостью вымолвил Дужкин. — Нашел теплую хозяйку, — не то с иронией, не то со сдерживаемым гневом предположил он.— Как бы эта хозяйка не прознала о том, где стоит наш отряд?

Дужкин высказал то, что пришло на мысль и Водовозову, но о чем тот промолчал. Вспомнился вчерашний спор, то, как Пашаков заступался за американцев, оправдывая появление их на Дальнем Востоке. При мысли об опасности, какой подвергается отряд, к Водовозову вернулись его находчивость и решительность.

— Гриша, — позвал он спустившегося вниз паренька. — Лети пулей к командиру! Скажи: в деревне американцы, Пашаков остался там. Понял?

— Понял, все скажу.

— Лети! Да передай, что мы с Василием Егоровичем уточним обстановку... Вернемся немного позже.

— Есть.

Гриша, недавно еще напоминавший беспечного деревенского паренька, весь подобрался. Лицо его стало суше, серьезнее. Он вскинул за плечо винтовку и какой-то легкой, скользящей поступью нырнул в лес. Водовозов помолчал немного, задумчиво смотря на поле, накрытое сизым туманом, и повернулся к Дужкину.

— Мостишко, на дороге там, помнишь, Василий Егорович, — Водовозов показал на уползающую в лес дорогу. — Посмотрим, кто едет?

— Можно, — понимающе взглянул на него Дужкин. — Айда-те!

В отряде никто не знал английского языка. Двое американских солдат, захваченных разведчиками и до-

ставленных ими в отряд, сидели на земле, около костра. Толпившиеся тут же партизаны слушали рассказ Водовозова.

— Послал я Гришу с донесением командиру, а сам думаю: надо полюбопытствовать на тех, которые едут. Сказал Василью Егоровичу, он сразу понял. Еще раньше, когда шли утром, мостишко там заприметили на дороге и теперь — мы бегом к нему. Сидим, за поворотом экипажа не видно, а, слышим, колеса тарахтят недалече. Подъехали они. Василий Егорович поднял винтовку — и на дорогу: «Стой! — кричит. — Освобождай экипаж!» Эти, — Водовозов показал на пленных, — руки мигом к небу и сидят. Отобрали мы у них оружие... Жалко вот, экипаж пришлось бросить, а лошадей привели.

— Из той деревни они выехали, куда отправился Пашаков? — спросил Малинин.

— Да.

— Что они говорят? — Малинин кивнул на пленных.

— Не понимают. По-своему бормочут.

— А вот мы попробуем, — сказав, Малинин направился к пленным. — Прошу отвечать: откуда и куда ехали? — остановившись перед ними, спросил он.

Один из пленных при обращении Малинина вскочил и вытянулся; другой, с сержантскими отличиями, тощий, с длинной, похожей на гусиную, шеей, остался неподвижным, даже не повернул головы.

— Вы, — Малинин тронул его, — почему сидите, когда с вами разговаривает командир?

Сержант что-то промямлил в ответ, но продолжал сидеть.

— Встать! — громко приказал Малинин.

Гусиная шея сержанта вытянулась, стала еще длиннее, самодовольная усмешка, кривившая его губы, исчезла. Он нехотя поднялся, расставил ноги и остался так, будто щеголяя отсутствием воинской выправки.

— Сколько в деревне ваших солдат? — спросил у него Малинин. — Сколько таких... Ну вот, как вы, как он? — показал на другого солдата и, выразительно загибая пальцы, принялся считать: раз, два, три...

Сержант заговорил что-то быстро-быстро, точно лая.

— Не понимаете или не хотите сказать, — решил Малинин. — Хорошо. Мы передадим вас в штаб Лазо, там поговорят с вами. Отряду угрожает серьезная опасность, товарищи, — Малинин повернулся к своим. — Пашаков, по всей видимости, захвачен американцами, — продолжал он. — Я не могу сказать, как он будет держать себя, но если интервенты узнают, где мы находимся, то, может быть, придется выдержать невыгодный для нас бой.

— А Пашаков... Как с ним? — нахмурившись, спросил Мухин.

— На это, что можно сказать? — ответил Малинин. — Попробуем разведать...

— Господин командир, — вдруг обратился по-русски к Малинину пленный солдат, вскочивший первым. — Ваш партизан взят в плен. Полковник Пендельтон говорил с ним, а это... — солдат поперхнулся.

— Вы... Говорите по-русски? Кто вы?

— Меня зовут Ян Стрежицкий. Я — поляк. Вырос в России. В двенадцатом году эмигрировал в Америку. Можете верить мне, господин командир. Я — рабочий, социалист; я сочувствую русской революции.

— Сколько в деревне солдат? — спросил Малинин.

— Человек полтораста... Рота американцев и немного японцев.

— Когда прибыли в Хмельницкую?

— Вчера утром. Там были партизаны, нам приказали захватить их, но партизаны ушли раньше. Мы их не видели. Полковник Пендельтон...

— Ваш командир?

— Нет. Полковник Пендельтон прикомандирован к нам из штаба генерала Гревза.

— Били его... Нашего партизана? — спросил Малинин.

— Да, — коротко ответил Стрежицкий.

— Товарищ командир, — подошел к Малинину Водовозов. — Позвольте мне и Дужкину выяснить, что с Пашаковым, а если удастся — выручить его.

— Нет, Федя, не позволю.

— Платон Андреевич, — вступился Дужкин. — Если Пашаков останется у американцев — это будет пятно на нас, на разведчиках.

— Я не могу рисковать ни Федей, ни тобой, Васи-

лий Егорович, — решительно заявил Малинин. — Понимаю вас, но если и вы окажетесь в том же положении, как Пашаков?..

— Душа горит, Платон Андреевич.

— Это хорошо. Больше ненависти к врагу, а наша ненависть — святое, благородное чувство. Мы поступим так...

Пашаков очнулся. Вокруг было темно, сыро и холодно. В узкую, еле заметную щель проникала снаружи тонкая, как лезвие бритвы, полоска света. Пашаков попытался сообразить, где он? Должно быть в погребе. Тяжелый, промозглый воздух, отдававший плесенью и тухлым запахом квашеной капусты, напомнил об этом. Пашаков потянулся, хотел было приподняться, но от движения почувствовал мучительную боль во всем теле. Полоска света, проникавшая в погреб, подсказала, что на улице еще день. Когда боль немного отошла, Пашаков попытался восстановить в памяти случившееся с ним после того, как он расстался с товарищами.

Поле он миновал благополучно, перебежал открытый лужок у деревни и остановился у стенки сарая. Поломанные створы ворот в сарай, висевшие когда-то на петлях, валялись на земле. Пашаков рассердился на чужую бесхозяйственность, хотел поднять створы, бросить их внутрь сарая, но не успел нагнуться, как сверху, будто сорвавшись с крыши, что-то рухнуло на него. Пашаков еле устоял на ногах. Он машинально схватился за ремень винтовки... Тут его оглушил второй удар...

В хате, где очнулся Пашаков, у накрытого скатертью стола в переднем углу, сидел чужой офицер. Лицо его — гладко выбритое, с крупным, выдающимся вперед мясистым ртом и обвисшими щеками — напоминало что-то бульдожье. Рядом с ним еще двое, в такой же форме, как и первый. А у другого конца стола, вытянув вперед кривые ноги, сидел офицер в желтозеленом мундире и больших роговых очках. «Японец, — узнал Пашаков. — А эти — американцы». Возле Пашакова хлопотал солдат с белой повязкой на рукаве, на которой четко, так что краска казалась выпуклой, был

вырисован красный крест. Солдат только что смочил в воде марлю и положил ее на лоб Пашакову.

— Скоро вы приведете его в чувство, сержант? — спросил офицер с бульдожьим лицом, очевидно, старший.

— Он может говорить, господин полковник, — доложил сержант, вытянувшись.

Речь их Пашакову была незнакома, но он понял: говорят о нем.

— Вы будэт разговарьиват? — спросил полковник, как-то невидяще уставившись на Пашакова.

— Да, — ворохнулся разведчик.

— Пэрэд вас есть полковньик амэрьиканской арми Пэндлтон. Разговарьиват надо правда. Вы есть партьизан?

Пашаков чуть было не ответил утвердительно, но вовремя спохватился и сказал:

— Я не партизан. Я на железной дороге...

— Оу... На вас был оружие.

— Обходчик я, охрана.

Полковник наклонился и что-то сказал сидевшему рядом с ним офицеру. Тот начал объяснять. Пашаков не ждал для себя ничего плохого и надеялся, что ему удастся выкрутиться.

— Где ест ваш отрад?

— Не знаю я никакого отряда.

— Надо разговарьиват правда, — повысил голос офицер. — Вы ест красный?

— Что вы, господин полковник, не красный я, не видел их, — притворно испугался Пашаков. От тупой боли в затылке голова его кружилась.

— Ваш имья, фамили?

— Пашаков, Павел Васильев.

— Мистэр Пшаков,— полковник поднялся и подошел ближе к Пашакову. — Надо разговарьиват. Мы — амэрикански арми — пришел суда на вэльики цэл: спасат русски народ от страшных болшэвьик. Наш друг адмьирал Колчак, уважаемый русски чэловьэк — наш сойюзник. Амэрьика — самый сильный, самый богатый страна! Амэрьика поможэт русски народ. Амэрьика даст доллары, продоволствие; русски народ сам выбьират будэт цар. Надо разговарьиват. Я — полковньик Пэндлтон — имэл миссия: дэлат Россия амерьиканский

друг. Вы скажет правда: гдэ ест отрад... бэзбойязньенно. На вас будэт защьита амэрьиканской арми.

Пашаков не все понял из того, что сказал ему назвавшийся полковником американец. Но ярость, страшная, как пожар, обожгла грудь партизана. Он с трудом перевел дыхание. Как осмелился этот американец сказать о том, чтобы он — Пашаков — изменил Родине, выдал товарищей. Пашаков выпрямился. Громадный, со спутанной бородой, похожий на тех легендарных богатырей, которые много столетий назад первыми явились в эти неизведанные края, стоял он перед врагом и, не спуская глаз, смотрел ему в лицо.

— Вы нэ хочэт нам полза, — не дождавшись ответа, произнес полковник. Глаза его смотрели все так же невидяще.

— Я ничего не знаю о партизанах.

— Вы ест нэ друг Амэрьика, — полковник сказал громче. — Вы болшэвьик.

— Я русский. Хоть и не большевик, но Родину свою не продам.

Сидевший до того молча японец, должно быть понимавший русскую речь, сказал что-то американцу. Тот подумал. Губы его покривила усмешка.

— Ол райт! Наш друг, майор Иэсу, имэл умный совьет: пробоват горачий шомпол... Скоро суда дров, топьит пьеч!

По приказу полковника принесли дрова. Пашаков безучастно смотрел на эти приготовления, как будто они не имели никакого отношения к нему. Он знал, что ничего не скажет, что никакие муки не вырвут у него слова о том, что хочет знать этот американец, толковавший о русском народе и о своей «миссии» в России.

Что было после — Пашаков не помнил. Теперь, когда он пришел в себя, при каждом движении тело его пронизывала невыразимая боль, к горлу подступала тошнота...

Малинин разделил отряд на две группы; с первой он пошел сам, с другой — Федя Водовозов. Пользуясь темнотой, партизаны должны были одновременно, с разных сторон ворваться в Хмельницкую.

Было около полуночи, когда Малинин со своей груп-

пой вышел из ржи, почти в том месте, где утром был Пашаков. Дав немного передохнуть бойцам, Малинин, с криком: «Вперед, товарищи, за мной! Не давать пощады интервентам... Ур-ра!» — бросился вперед. «Ура», подхваченное партизанами, разбудило тишину. Почти одновременно донеслось «ура» с другой стороны деревни. Это наступала группа Водовозова.

Бой продолжался недолго. Захваченные врасплох, ошеломленные, испуганные противники, занимавшие деревню, выскакивали из изб. Многие не успели одеться, выбегали босые, кое-как схватив оружие. Майор Иесу — японец, которого видел Пашаков — попытался было организовать оборону, но огонь и штыки партизан скоро решили дело. Бросив раненых и обоз, остатки американских войск в беспорядке бежали. Первым, в самом начале боя, оставив на произвол своих солдат, ускакал полковник Пендельтон.

Ян Стрежицкий показал Водовозову избу, в которой находился штаб Пендельтона, но когда партизаны явились туда, в штабе никого уже не было. Документы, вещи — все разбросано, все носило следы поспешного бегства. В штабе, в числе прочих трофеев, партизаны нашли фуражку Пендельтона и его оружие.

Сержант-медик, захваченный в плен, привел партизан к погребу, где находился Пашаков. Его извлекли оттуда и перенесли в избу. Пашаков был весь исколот, опухшее лицо его синело кровоподтеками, на теле клочьями висела исхлестанная раскаленными шомполами, обожженная кожа.

— Эх, паря, Павел Васильевич! — не выдержав, точно укоряя Пашакова за вчерашний спор, покачал головой Дужкин. — Дикие звери так не терзают человека, как эти, американы.

Пашаков открыл глаза, взглянул на Дужкина, на Мухина, на других партизан, столпившихся около, и, превозмогая боль, прошептал:

— Им, братцы, ни слова я... — он простонал от боли. — Поправиться бы!.. Жизни не пожалею, а уж они обо мне не забудут.

НА НИКОЛЬСКОМ КРЕСТЦЕ

I

Снег падал густыми, тяжелыми хлопьями. Ветер подхватывал его и высокими, как горы, сугробами сметал в пробоины улиц, путаных переулков и тупиков. С просторов Москвы-реки плотные настища поднимались под самые шатры стрельниц Кремля и нового Красного города. Замело дороги. Обозные люди выбивались из сил, преодолевая разбитые ухабы Чертолья, Сретенки, Мостовой улицы.

На Красной площади крытые берестой и лубом лавчонки разбросаны по всему большому торгу — от Фроловского моста до Львиных ворот. Днем на торгу шумно. Горланят торговые гости, расхваливают товары, зазывая покупателей; орут сбитеньщики, пирожники... В гам и шум торга то и дело врывается гнусавое пение калик и божьих людей. В лавчонках, в битых корчагах тлеют угли. Не вспотеешь у корчаги, но озябшие руки на пылу отойдут.

К вечеру безлюдеет торг. По улицам — ни пути, ни проезда. От зари до зари — всю ночь — мерзнут на ветру решеточные сторожа: палят костры, хлопают рукавицами, согреваются толчками — плечо о плечо. Их никто не тревожит. Кому охота выйти ночью из теплой избы — разве уж по самой крайней нужде.

Скоро первые петухи. В узких, как щели, окошках печатного двора дрожит желтоватыми отблесками робкий свет. Он не пронизывает тьму, теряется где-то тут, около стен. С дороги, из-за сугробов, еле видно пу-

затые столбы, поддерживающие навес над окованной железом дверью.

В палате печатного, у изрезанного и обитого по краям стола, похожего на те, какие встречаются в сапожных клетях, стоит мастер. Он должно быть только что поднялся с лавки и теперь потягивается, расправляя онемевшие члены. На вид мастеру можно дать лет около тридцати. Надетый на нем черный, узкий в талии подрясник туго перетянут широким кожаным поясом. Обрезанные в концах волосы опоясаны по лбу ремешком. Стол, у которого стоит мастер, освещает желтая восковая свеча, в железном подсвечнике. Она нагорела, потрескивает и льет вверх тонкую ниточку копоти. Мастер снял нагар. Пламя вспыхнуло ярче. Взяв со стола медную шлифованную дощечку, мастер приблизил ее к самому пламени и принялся рассматривать вырезанный на ней хитрый узор. Это продолжалось довольно долго. Мастер, видимо, остался доволен своей работой.

— Андрейко! — крикнул он, не поднимая головы и все еще продолжая рассматривать рисунок. — Где ты? Не спишь?

— Не сплю, Иван Федорович, — донеслось из другого, скрытого тенью конца палаты.

— Погляди-ко, на заставицу вязь я вырезал.

Голос мастера гулко отдавался под каменными сводами. В палате пахло скипидаром и еще чем-то, напоминающим дым горна, в котором плавится металл. Средину ее занимал тяжелый и черный печатный стан. Рукоять его тускло блестела, напоминая вытянутую в сторону неподвижную руку. На высоких столах у стен расставлены ящики с буквицами, там же — связанные полосы сделанного набора.

Из-за печатного стана показался Андрейка — черноволосый тщедушный отрок в подряснике и скуфейке, похожий на монастырского послушника. Он протер слипавшиеся от сна глаза, виновато улыбнулся.

— Погляди-ко, кажись добра вязь? — протянул ему дощечку мастер.

Андрейка взял ее, подвинулся к свече. По мере того как он рассматривал узор, у него разгорались глаза. Мастер стоял молча, опустив руки и с таким растерянным видом, точно судьба его зависела от того, что скажет юноша.

— Хитра и чудна заставица, Иван Федорович, — налюбовавшись, промолвил Андрейка. — В библии немецкой, что от царя была, нету лучше резьбы.

— Не льсти, Андрейко, — остановил его мастер. — Нам, людям ремесленным, лесть пагубна. И я вижу — хитра резьба, а вот слова, кои начертаны, зело непонятны. Ладно ли так-то?

Андрейка снова принялся рассматривать узор. Губы его шевелились, в глазах отражались любование и гордость. Видимо, он придавал какое-то свое, внутреннее значение работе мастера, более высокое и более убедительное, чем внешняя красота.

— Нашел, прочитал слова, — радостно воскликнул он. — «От Иоанна благовествование».

Движением головы мастер подтвердил догадку.

— Вязь будет киноварью, а узор по верху — золотом, — вслух принялся мечтать Андрейка. — Пусть хулители нашего ремесла скажут: есть ли на Москве писец, способный к сему искусству? Ополчатся на нас списатели книг, Иван Федорович, увидев сие.

Мастер подвинул к себе свечу, как бы собираясь еще раз посмотреть на резьбу, но передумал. Взяв у Андрейки дощечку, он положил ее на стол и снял с головы ремешок.

— Ополчатся, Андрейко, и клеветы измыслят, — произнес он тихо. — Книжные списатели, особливо в монастырях кои, враги нашего ремесла. Велик труд наш, и талант наш на пользу всем. А что сделано на пользу, не сокрушит того ни ржа, ни злоба невежд. Учись, Андрейко, верить в доброе и доброе совершишь. Оставь зло злым, не поддавайся ни наветам, ни горестям, ни безумству нам чуждому. Будет тогда легок труд и велика радость окончания его.

II

В другом конце торга, на Ильинском крестце, с утра до вечера толчея. Будто со всей Руси собрались сюда ватаги безместных попов. Ястребами налетают они на посадских, предлагают петь молебны, править требы — в чем у кого нужда. Из-за Блаженного, с Москвы-реки, сквозит ветер. Попы целый день на юру. Холод пронизывает одежонку, в брюхе кишка кишке шиш кажет... Спрос на попов — не на сбитень.

Рядом, у фроловского моста, поповская изба. Но кому из безместных придет охота идти туда по-чести? Церковные ярыги хуже земских. Не заплатишь пошлину за стояние на торгу, взглянешь не так, того и жди — пошлют в Белозерск или в Вологодскую землю на послушание в глухой монастырь.

Артамон появился на крестце после полудня. Со вчерашнего похмелья голова у попа, как разбитая. Утром выпил он ковш студеной воды, тем и жив. По обличью Артамону не в попах служить — в ратном полку. Люди на торгу передрогли от холода, а у Артамона сермяжная епанча нараспашку; перегаром винного зелья да чесночища отдает от попа за версту.

У рыбных рядов наскочил на Артамона посадский житель. Следом за ним трусит безместный, в вывороченном вверх шерстью тулупе, хилый, рыженький. Артамон смекнул: «Требу урвал поп. Этакий кащей денгу, а то и алтын получит». Обидно показалось. Артамон распялил руки перед посадским, будто друга встретил.

— Отроче светлый, — возгласил он, — повремени!

Посадский попытался обойти Артамона, по тот загородил собою всю улицу.

— На требу аль на молебен взял? А помыслил ли ты, отроче, какую требу он справит? — указывая на тщедушного попа, Артамон покрыл голосом гам на крестце. — Достигнет ли молитва ярыги сего ко господу? Худо, отроче, зело худо. Господь-то с предстоящими взглянет на пугало сие и речет: О, раб лукавый! Кого нанял ты служить во имя мое? Не попа зрю, мутовку облупленную.

Посадский растерянно топтался перед преградившим ему путь попом. Громогласие и напористость Артамона сбили жителя с толку. Он колебался в душе и не рад был, что поспешил сторговать рыженького.

А голос Артамона гремел:

— Ты, отроче светлый, чую, не ведал сего. Гони ярыгу! Ему ли противу меня. Приду к тебе в хоромы да оглашу возглас — ангелы возрадуются. Откроет ухо свое господь и скажет: любо мне усердие твое, раб верный! Велит записать тебя и домашних твоих в золотой поминальник.

В толпе, напиравшей со всех сторон, раздался смех. Рыженькому никто не сочувствовал. Его совсем оттер-

ли от нанимателя. Неожиданно из толпы к покорившемуся было своей участи попу вынырнул горбун в черной стеганой ряске и скуфейке на непомерно тяжелой, словно вдавленной в плечи голове. Он прилип к незадачнику.

— Что молчишь, отче? Не давайся в обиду, гони беса!

Слова горбуна обожгли рыженького. Он вытянул шею, редкая бороденка его шилом уставилась вперед; даже шерсть вывороченного ради непогоды тулупа встала на спине дыбом.

— Пес еси окоянный! — неожиданно высоким тенорком возопил он, подбежав к Артамону. — С разбойниками приличествует быть тебе, а не господу предстоять.

Брань тщедушного попа ошеломила Артамона. А тот, наступая, визжал в самое лицо:

— Пес, пес еси!

Артамон побагровел.

— Умолкни, тля! — дохнул он перегаром на противника. — Удо антихристово!

Артамон опустил руку на плечо рыженького, приподнял его и бросил на земь. Поп завизжал еще громче.

Сторговавший его посадский исчез. Толпа замерла, не высказывая ни сочувствия, ни порицания противникам. Артамон мрачно глядел перед собой, будто раздумывая, что ему делать с соперником.

— Отцы, что же вы? — не вытерпев, крикнул кто-то в задних рядах. — Потребно ли чернить сан духовный? Изведут из-за вашего шумства стояние наше на торгу.

По толпе пробежал трепет. По адресу Артамона раздались угрозы.

— Набросился! Видано ли дело, чтобы силой требы перехватывать?

— Вязать пьяницу да вести в поповскую избу.

— Пускай-ко в монастырьке побуянит. Пища тамо хлеб да вода.

Артамон отступил. Он не искал побоища, желал уйти подобру, но толпа безместных попов напирала на него сзади. Кто-то схватил за епанчу, кто-то толкнул. Артамон не стерпел. Повернувшись, и пока никто еще не успел понять в чем дело, огромной пятерней приложился к лицу первого, кто подвернулся под ру-

ку. У пострадавшего из носа и изо рта хлынула кровь. Толпа сжала Артамона. Это вконец обозлило попа. Сжав кулаки, пошел он по зубам и по ребрам, не разбирая ни правых, ни виноватых. И неведомо, кто остался бы победителем, если б не кистень, взыгравший над головой Артамона. Силач пошатнулся. В одно мгновение черный клубок живых тел закрутился на утоптанном, скользком как лед снегу.

С трудом, но Артамону удалось выбраться из боя. Он очутился на рундуке у Блаженного. Пощупал голову — цела. Только на косматом темени ныла скользкая, набухшая как яйцо шишка — след кистеня.

— Жив, отче Артамоне?

Поднял голову. Перед ним горбун, который давеча, на крестце, шептался с рыженьким.

— Отче Ерема!

— Я, Артамоне. Шел на крестец взглянуть, что там за шумство, и зрю: у Блаженного, среди калик, ты, отче. Ой-ой, Артамоне, уж не тебя ли били?

— Ха, били! Спроси, Ерема, сколько осталось не битых?

— Зачем спрашивать, — горбун поднял длинные, словно не гнущиеся в локтях, похожие на ласты, руки. — Бог с ними! «Кого любяй, того и наказуяй», — сказано в писании. Пойдем-ко от греха, дельце у меня к тебе есть.

III

Ерема привел Артамона в свою келью в Чудовом монастыре. Усадив гостя, он достал из поставца глиняный сосуд с узким горлом, налил из него в чашу.

— Выпей, Артамоне, во здравие!

Артамон обеими руками принял чашу и, держа ее перед собой, как на великом выносе, полюбовался на играющее огоньком лампады зелье. Затем, подняв чашу, запрокинул голову и — не выпил — выплеснул пойло в открытый рот.

— Добро пьешь, отче Артамоне, — позавидовал Ерема. — Другого, как ты, не знаю питуха на Москве.

Артамон достал пальцами из крапленой зеленью медной тарели соленый груздь, проглотил и вытер рот.

— Во благовремении, отче Ерема. Правило у меня: пить пей, ума не пропивай!

— Истинно, отче Артамоне. Не грешно то, что в уста приемлется, грешно то, что из уст.

— Складно ты все разумеешь, Еремушка.

— По житью своему, Артамоне.

— Верю, мудр, ой мудр! Не чернецом бы тебе — архимандритом быть в Чудовом-то... А зелье почто прячешь? Набулькай-ко еще единую! Без двух не охрометь бы. В Чудовом у вас, чаю, век не перепить всего зелья.

Ерема, прежде чем наполнить чашу, спросил:

— Способен ли будешь мыслью, Артамоне?

— Не жадничай, Еремушка! С вина не пьянею. Чем больше пью, тем яснее душа бывает. А ты не зря ведь меня позвал? Нужен-то зачем тебе!

— Истинно нужен.

— То-то, не жадничай!

— Ну-ну, бог с тобой!

Ерема налил чашу. Артамон, не передохнув, осушил ее.

— Тщусь надеждой, Еремушка, не последняя.

— Последняя у попа жена, Артамоне, — подмывающе захихикал горбун. — Станется по-нашему — пей, отче, гуляй на все Зарядье, только послужи божьему делу.

Артамон прищурил глаза.

— Не юли, отче Ерема! — он потряс пальцем перед лицом монаха. — Откройся прямо! Не ирмосы ведь возглашать звал.

— Правда, Артамоне. Душеспасительное есть дельце.

— Не на послушание ли в монастырь велишь? — засмеялся Артамон.

— О том не потревожил бы. Слышал ты или нет — ересь бесовская завелась на Москве.

— Свят, свят, — Артамон вопросительно уставился на Ерему. — Что ты молвил, Еремушка?

— Ересь. Позорище черное.

Ерема сморщил квадратный лоб, перекрестился, точно бы страшась того, о чем должен сказать.

— Чья ересь? Скажи!

— Молчать бы, да уж ладно, согрешу, — начал Ере-

ма. — Под боком у чудотворцев наших, на Никольском крестце, сооружена храмина, штанбою[1]) называемая. Священные книги, что от апостолов и вселенских отцов оставлены, не пишут тамо с радостью и страхом божиим, а тискают, яко бесы копытом. Богопротивный еретик Иванец Федоров — растрига и отступник — непотребством своим похваляется уничтожить древность апостольскую. Страшно, Артамоне, зело страшно, а терпим. Терпим на потворство еретику. Зрим бесовскую храмину и молчим.

Словесное искусство Еремы недоступно Артамону. Он чувством лишь схватывал то, чего не в силах был объяснить, и поэтому должен ненавидеть. Если бы отец Ерема сказал, что штанба на Никольском крестце источник греха, что «серный дух», который исходит от нее, отравляет воздух, — Артамон поверил бы. Лоб его покрылся морщинами, а боль в теле, которую он чувствовал после недавнего боя, толкала силача к действиям решительным. Огромный, со спутанной черной бородищей, Артамон воспаленными глазами уставился на горбуна. Он тяжело дышал. Казалось, его громоздкое, отравленное вином тело задыхается под низкими каменными сводами кельи.

— Что делать, Артамоне? Быть ли на Москве богопротивству? — спросил Ерема.

Артамон заворочался на лавке. Он оглянулся на горбуна и что-то промычал. Хитрое, остроносое лицо Еремы вдруг поплыло перед ним в каком-то красном тумане. Это озлобило Артамона. Он скривил рот, с силой сжал кулак и опустил его на стол. Медная тарель, стоявшая тут, подпрыгнула и задребезжала.

— Спалить бесовское капище, — не то вымолвил, не то выдохнул он. — А еретика... С камнем да в пролубь.

— По-божьему молвил, Артамоне, — съежился и замигал глазами Ерема. — По-божьему.

Артамон отставил опорожненную чашу, будто только что догадавшись о ее пустоте, медленно обвел помутневшим взглядом келью. В углу, где тускло мигал огонек лампады, застыли неподвижно и строго похожие на потрескавшиеся луковицы глаза одигитрии.

---

[1]) Штанба — типография.

— А царь, Иван Васильевич? — вспомнил Артамон. — Он не простит, Еремушка. По его указу воздвигнута храмина.

— Не простит... И господь с ним, Артамоне! — Ерема поднял глаза и помигал ими на образ. — Далеко Иван Васильевич, пирует он с содомом своим в Александровской слободе, не до Федорова Иванца ему, а благоверные боляре, на Москве кои, будут рады божьему делу.

IV

Близился великий пост. Со дня побоища на Ильинском крестце прошло две недели. На торгу, перед постом, стало еще тесней от безместных. Бойко торгуют лавки в обжорном ряду. У попов тихо, как на убогой трапезе в постный день. Артамон нынче заглядывает на крестец редко, а если заглянет, то, потолкавшись немного, не на требу спешит, а провалится в дверях кружечного двора на Ветошном. В кошеле у него звенят алтыны. В кружечном, кто от безделья, кто от жадности на дармовое питье, на руках носят попа. Щедр он, словно клад серебра нашел.

В понедельник на «масленой» с утра опустился на Москву туман. Время быть оттепелям, гололедице. Но хоть и гнилая погода, а торг на «масленой» боек. Громко и разноголосо орут сидельцы у лавок, расхваливая то, что вынесено, выложено, вывешено на продажу. Над пестрыми главами Блаженного вьются голуби.

Андрейка на торгу с утра. Раз или два услышал он болтовню гуляющих: станут-де нынче громить кружечные. Андрейка жадно ловил каждое слово.

Неподалеку от поповской избы, у лотка с ржаными просфорами, Андрейка встретил горбуна. Отец Ерема, видимо, приняв Андрейку за послушника, которого послали из монастыря за какой-либо нуждой, поманил парнишку к себе.

— Чей, отроче? — спросил Ерема. — Встречал буд то тебя.

Андрейка сначала испугался. От чудовского горбуна, когда еще мал был, не раз убегал куда ни попадя. Ласково подзовет, будто калач сулит, а подойдешь — уцепит за вихор, скажет: вывернись! Небо позеленеет

в очах от злой ласки. Сейчас Андрейка смекнул: лучше соврать.

— От Андрония, отче, — ответил Андрейка, а сам все ближе и ближе к лотку просфорни.

— От Андрония, — повторил горбун. Глаза его, как сверла, впились в лицо отрока. — А мне чуялось, в Симонове был ты, служкою у тамошнего игумена.

— Жил и в Симонове... Нынче у Андрония.

— Шустер, зрю. За каким грехом на торжище-то прибежал? Без спросу, небось, из монастыря? — строго спросил Ерема.

— Послан я...

— Послан... — горбун погрозил пальцем. — Отыщико попа Артамона! На крестце он поди... Большой, черный — всякий Артамона укажет. Скажи ему: ждет-де отец Ерема.

Андрейка обрадовался поручению. Только бы отойти, а там — ищи ветра! Но не успел скрыться, Ерема его придержал.

— Стой-ко! Не выслушал, а скачешь козлом на горячей сковороде. Куда я послал тебя?

— Звать попа Артамона.

— Не надо. Пойдем со мной! — велел Ерема. — Не сладко тебе житье-то у Андрония?

— Пора мне, отче.

— Сведу тебя к отцу архимандриту, — придерживая за рукав Андрейку, ласково говорил горбун. — Старец добрый. Приглянешься ему, возьмет к себе в Чудов.

Андрейка не ждал добра от Еремы. «Никак узнал»,— подумалось. От страха похолодела спина. Ерема не отставал. Пальцы его клешнями впились в рукав. Собрав силы, Андрейка дернулся, налетел на лоток. Просфоры морожеными калешками раскатились по снегу.

— Аспид! — всплеснув руками, возопила просфорня. — Лопнули бы у тебя глаза, окаянец! Руки-ноги в подворотне вывернуть бы!..

Она ползала по снегу, подбирая рассыпанный товар.

— Бес, право, бес! Ногой стрекнул, хвостом махнул, — причитала она.

Не удержав Андрейку, Ерема первое время молча слушал, как ругалась просфорня, но когда на крик стали собираться люди, он отступил в сторону: незачем

быть ему впереди там, где лучше подтолкнуть сзади. Взобравшись на рундук поповской избы, он принялся высматривать Артамона. Вчера Артамон, опухший от пьянства и потому еще более страшный, на напоминание, что пора вершить божье дело, просил:

— Благослови, отче Ерема, для начала кружечный двор, что в Ветошном ряду, разбить на потеху.

Ерема благословил Артамона; больше шума, больше гулящих людей пойдет на божье дело, но на ростани молвил:

— Не схоронился бы еретик, Артамоне?

— Уловим,— пообещал Артамон.— Не маковое зерно. Жди, Еремушка, гостя в Чудов, палаты готовь!

...Позади торга, у коновязей, двое посадских борются «за кушачки». Не мудра игра, а заманчива, не силой она славится — ловкостью. Вокруг борцов собралась толпа.

— Ну-ко, молодчики, ну!

— Так его... Стой, Анфимушка!

— На себя-то вали, на себя!

Терпежу нет. Каждый из зрителей сам в полюбовном бою бывал; руки чешутся, плечо зудит...

В разгар борьбы, когда казалось, что борцы начали уставать, на круг выбрался Артамон.

— Куда ты! — обрушились на него со всех сторон. — Силу лишнюю накопил?

Артамон не слушал. Он распялил руки, молча взял в охапки борцов и отставил их к сторонке, только крякнул.

В толпе — кто бранит попа, кто смеется. Артамон подождал. С налившимися кровью глазами, огромный, он поднял руку и вдруг разразился неистовым ревом:

— Братие, слово реку вам...

— Говори, да рукам не давай воли!

— Поп, а кулаки по пуду.

— Сам-то выше Ивана Великого.

— Чудо, братие, совершилось, — словно не слыша ничьих голосов, продолжал Артамон. — Бес в образе человеческом явился на торгу. Узрел его святой старец из Чудова монастыря. Только было поднял руку, чтобы закрестить тварь, а бес — шмыг... Псом обернулся.

— Утек?

— Утек. Глазели вы, как силою добрые люди ме-

рялись, а бес-от рядом... Проскочил под коновязями, да на кружечный двор. Там он.

Точно вихрь набежал на толпу. Страшно и каждому хочется взглянуть на беса. Артамон орет:

— Изловим, братие! Кто до винного зелья падок, тот пей, кто не пьет — лей! Изловим беса — все грехи простятся.

V

Не боек разумом Артамон, не чета отцу Ереме, но он знал цену гулящим. На торгу ли да не найтись охочих ловить беса на кружечном! Еще от крестца до крестца не добралась весть о видении старца из Чудова, как гулящие разнесли ворота кружечного двора. Перевернули все вверх дном. Нет беса, зато выкатили на свет божий дубовые бочки. Черпали зелье колпаками, лакали из пригоршней. Людьми овладела страсть разрушения. Артамон впереди.

— Пей! — ревел он. — По святому делу шли, простит бог.

...Андрейка еле перевел дух. Лицо у него белее снега. Вбежав в палату печатного двора, он не прикрыл за собой дверь

— Беда, Иван Федорович! — только и смог выговорить.

— О чем ты, Андрейко? — спросил мастер. Отложив в сторону резец, он привычным жестом поправил на голове ремешок.

— Чудовский горбун схватил меня...

— Еремушка?

— Силком волок в Чудов.

— А ты не дался? Добро поступил, Андрейко. Зла злее Еремушка.

Вокруг Андрейки столпились ученики Федорова. Печатный мастер Петр Мстиславец сказал:

— Шумство, слышно, велико нынче, Иван Федорович, не принять бы разбоя.

Андрейка успокоился. Он стал рассказывать о том, что видел на торгу и слышал.

— Кружечный в Ветошном ряду разбили. Кричат — жечь штанбу.

— Не со страху ли почудилось тебе, Андрейко?

— Не почудилось. Оттого и спешил я.

Стараясь скорее выложить все, что знал, Андрейка сыпал скороговоркой. Сказал он и о том, как верзилапоп звал гулящих на кружечный. «Беса там ищут и о штанбе кричат», — сообщил он. И как бы в подтверждение слов юноши с улицы в палату печатного донесся отдаленный гул; точно ветер ворвался в бор и шумит, раскачивая столетние деревья.

— Закроемся в палате, Иван Федорович, — сказал Мстиславец. — Стены крепкие. Пошумят гулящие да и перестанут.

Иван Федоров медлил с решением. Тревожила мысль: может ли он рисковать собой и жизнью людей, преданных его делу?

— Ладно ли так-то, как ты советуешь, Петр?

— Не мыслю иного.

— Что скажете вы, друзья мои? — Федоров обратился к ученикам. — Что лучше для дела нашего?

Вокруг, в ответ мастеру, молчание и замешательство.

Иван Федоров стоял перед учениками, словно собираясь с силами, чтобы сказать им то, что считал правдой. И когда заговорил, голос его прозвучал громко и так, словно это были слова клятвы.

— Иное мыслю, — начал он. Сняв с головы ремешок, Федоров поднял его перед собою. — По темноте и незнанию своему поверили люди наветам клеветников, озлобились на нас и на дело наше. Страшное и преступное замышляют они совершить. Но не гибели от них страшусь, а того, что вместе с нами погибнет искусство наше; ибо против него, против таланта открытого нам, направлена злоба. Не себя спасая, а умельство свое, не можем мы отдаться на глумление злобствующим. Не крови своей жалею, а рук своих и разума, что владеют искусством. Придет час, и то, что делаем мы, взрастет к славе земли нашей. Восхвалят нас за то, что не дались на погибель. Пусть каждый из нас волен будет поступить так, как велит ему совесть, для спасения таланта своего.

Мастер окинул взглядом палату, обнял Андрейку, стоящего к нему ближе других. Андрейка плакал беззвучно, дрожа всем телом.

VI

Вывалившись из Ветошного, пьяная, озверевшая толпа запрудила Никольский крестец. Окружив хоромы печатного двора, с криками и бранью, гулящие толклись на снегу, не зная, что предпринять. В кремлевских соборах благовестили к вечерне.

Перед толпой появился Артамон.

Подняв руки и потрясая кулачищами, он завопил:

— Не потерпим, братие, капища бесов. Слышу стук и плеск копыт многих, серный дух чую. Не от адова ли пламени он? Разорим гнездилище тьмы, изгоним беса.

— Сокрушай содомище еретиков, Артамоне!

Толпа попятилась. Казалось, она ждала, что распахнется дверь и серное пламя вырвется наружу. Но дверь не открылась. И точно какой-то безумный вихрь внезапно промчался вдоль улицы. С криком и воем толпа бросилась на хоромы. Били в стены, появившимися откуда-то длинными вагами выворачивали железные решетки, рвали баграми крышу. А когда, наконец, ворвались внутрь, начали разрушать и топтать все, что видели глаза, что можно сокрушать и топтать. В лапах Артамона очутилась охапка книг. Он бросил ее с криком:

— Се чертей глаголание!

— В огонь! — визгнул появившийся откуда-то Ерема. — Вали все в огонь!

Клубясь пламенем, в палате вспыхнул костер. В свалке горбун отыскал Артамона. Поп неистовствовал, разрушая печатный стан.

— Отче Артамоне, — крикнул Ерема. — Где поганый еретик Иванец?

— Лови еретика сам, Еремушка! — отбросился Артамон от горбуна. — С бесами он... В трубу...

Всю ночь дымились развалины печатного двора. Люди не расходились. Из церквей и монастырей, где только нашлись тиснутые на печатном дворе книги, их тащили сюда, рвали, бросали в пламя.

Пьяный Артамон, запрокинув голову, лежал на снегу у рыбных рядов. Еле ворочая языком, пугая прохожих, он тянул:

— Во бла-жен-но-о-ом... Веч-ный по-о-ко-ой по-да-а-ждь го-о-спо-ди-и...

Ивана Федорова и учеников его не нашли. Говорили после люди, что еретики спрятались в тайниках печатного двора и задохнулись там от дыма; по другим слухам, будто бы мастер Иван Федоров бежал и видели его будто бы далеко от Москвы, в Литве.

...На Никольском крестце, проходя мимо развалин печатного двора, люди долго еще обходили их стороной. Весною, в ледоход, пьяный Артамон вскочил на льдину на Москва-реке. Льдина перевернулась. Шалый поп не выбрался из водоворота. Отца Ерему помнят архимандритом Чудова монастыря. Мастер Петр Мстиславец, когда прошли годы и забылось побоище на Никольском крестце, продолжил в Москве печатание книг, начатое его учителем Иваном Федоровым.

КРУЖЕВА

I

Косые лучи солнца, только что поднявшегося над горизонтом, мягко золотили живую поверхность озера. Оно сверкало, переливалось, искрилось. На траве и деревьях густо висела роса, когда мартьянковские мужики добрались к устью Соти. День был праздничный. Мужики пришли на рыбалку не для промысла, а для собственного удовольствия.

Соть, сливаясь с водами озера, течет медленно. низкий противоположный берег ее, как и дальний берег озера, зарос высокими камышами, осокой и редкими кустами ивняжника; еще дальше — версты на четыре по Подозерице — тянется чахлое болотное разнолесье. Болото за Сотью топкое и пустое. Клюква и та на его кочках растет мелкая, как горох, а если вспорхнет утиный выводок, то разве что в камышах у озера. Но сейчас, когда пропащая болотная пойма чуть-чуть дымится в ласкающем ее розоватом блеске щедрого летнего утра, она кажется удивительно живописной. И само озеро, точно завороженное, словно бы вливалось в зеленые заросли камышей и исчезало в них.

Рыбаки бродом и вплавь заводили бредень, гася на ходу белые и желтые огоньки кунташиков. Рыба шла плохо. Выволокут мотню бредня, а в ней зеленая гуща водорослей, запутаются в ячеях мелкие окунишки или плотва; редко-редко взблеснет щучка, шлепнется плашмя подлещик, неподвижно, как заснувший, вывалится

на берег подъязок. Было, как говорят, больше шуму на лове, чем удачи. К тому же, хотя небо сегодня и безоблачное и солнце палило безнаказанно, но после недавних затяжных дождей вода в озере оказалась нестерпимо холодной. Можно было подумать, что ее сейчас лишь, перед приходом рыбаков, налили из глубокого, обложенного нетающим льдом колодца.

Солнце свалило с полудня. Измокшие и вконец продрогшие мужики собрались домой. Улов не тяжел, но прежде чем покинуть озеро, решили разделить рыбу на паи. Делить согласились по-солдатски, проверенным способом, без обиды. И только бы приступить, как Степан Маланов, который не то сушил одежду, не то грелся у костра, подмигнув на скатывавшего бредень Тимофея Круглова, громко сказал:

— Тимоху не обидьте, мужики! Ему больше положить надо, баба у него артельщица.

— И в самом деле, — рассмеявшись и в то же время как бы сочувствуя Тимофею, поддержал шутку Тишата Мухин. — Нам по щуке, а Тимохе клади двух ершей, на самого и на Марину.

Тимофей вспыхнул. Бросив скатанный бредень, он покосил взглядом на рыжую бороду Мухина и глухо, сквозь зубы, промолвил:

— Хоть ничего не дели на мой пай! С голоду не подохну.

— Еще бы, баба прокормит.

Степан Маланов сказал это из озорства, чтобы позлить Тимофея, посмеяться над тем, что он дал волю жене. Если бы Тимофей не ходил под башмаком у Марины — ее не выбрали бы председателем кружевной артели.

— В дому-то у них, поди, сальники каждый день,— следом за Степаном, нарочно стараясь говорить серьезно, высказал предположение Мухин. — Через Маринины руки все кружева плывут. Тут уж как не трясись, а крошечки-то прилипнут.

— Воры мы по-твоему? — все больше сердясь, спросил Тимофей.

— Я этого не сказал, — усмехнулся Мухин. — Прежде, купцы которые, те воровали, а нынче по-советски, на артельных паях.

Рыбу, наконец, разложили. Взвешивая на ладонях

каждого окунька, выравняли паи. Степан Маланов отошел к реке, отвернулся, чтобы не видеть костра и толпившихся около него мужиков. Мухин, показывая на одну из кучек, спросил:

— Эта кому?

— Петровану, — ответил Степан наугад, не оборачиваясь.

— Эта?

— Мне.

— Эта?

— Тимофею.

Тимофей молча забрал рыбу, доставшуюся на его пай. Занятые дележкой мужики больше не обращали на него внимания. Воспользовавшись этим, Тимофей скрылся.

Тропа, по которой он шел, долго вихляла в кустах, пока впереди не открылось ржаное поле. Рожь стояла еще зеленая; она тянула вверх легкие, кое-где начинающие цвести колосья. В ясном небе высоко-высоко трепетал жаворонок. Теперь, когда он был один, Тимофей выругался.

— Черти! Далась им моя баба. И без ихних-то насмешек тошно. Связалась Маринка с артелью — проходу не стало в деревне. Всякий сопляк тычет в глаза. Пропади пропадом эта артель! Приду вот домой и скажу Марине: хватит! Кончай, скажу, лавочку! Что б ноги твоей больше там не было.

II

Гридино — родная деревня Марины — верстах в пяти от Мартьянкова. «Сиротой, без матери живет, а руки у девчонки золотые»,— говорили про Марину люди, когда она была еще в девушках. И лицом она удалась, и характер у нее веселый. Старые кружевницы заходили к Марине, чтобы полюбоваться на ее работу. И было на что. Сядет она за пяльцы — коклюшки перещелкиваются словно живые; будто ветер ворошит их, а нитки сами собой сплетаются в кружево. Тонкое, похоже оно на паутинку; узор хитрый — напоминает цветы, положенные морозом на стекла окошек в зимнюю ночь.

Свадьба с Тимофеем у Марины сладилась неожиданно.

Как-то, на празднике, пришел он с ребятами в Гридино. Было это зимой. Гридино богато невестами, а своих парней — раз, два — и все. Тимофей присаживался к девушкам, шутил, рассказывал что-то, а глаза как прилипли к Марине. Статная, пригожая, захватила она сердце. Оказавшись рядом с нею, Тимофей спросил:

— Марина, сватов хочу к тебе засылать — примешь?

Она вскинула на него глаза, засмеялась.

— Не шути! Есть у тебя без меня невесты, побогаче.

— Я не шучу. Хочешь, слово дам?

Сказал и хотел облапить девушку, но она увернулась. Перебросила через плечо косу.

— Не тронь! Убери руки! — сказала.

Жених Тимофей не из последних. В семье он одиночка, ни братьев у него, ни сестер, из себя видный — под стать Марине. Сейчас, когда девушка пристыдила его, он не отошел; стоит, смотрит на нее.

— Не с худом я, — еле промолвил. — Не веришь? Завтра пошлю сватов. Пойдешь за меня?

— Может быть, пойду. Ты не урод.

Марина отошла от него. Как ни старался Тимофей еще раз подойти к девушке, поговорить с нею, ему это не удалось. Так, не договорившись накрепко, он и ушел.

Утром, на следующий день, пристал к матери:

— Мамка, сватай за меня гридинскую Марину. Кроме нее никого не возьму.

Мать от неожиданности даже села на лавку.

— Какая это тебе невеста, Тимоша, — сказала она. — Можно получше кого, от хорошего дому выбрать. Один ты у меня. Что же нам брать сироту-то.

Говорила это, а сама думала: «И не худо, может, что Маринку выбрал. Девка, слышно, работящая, такая, как она, по нынешним временам — клад. В сиротстве жила, что хошь наваливай — не заспорит, еще спасибо скажет». Но вслух ломалась перед сыном, твердила иное:

— Люди-то как примут? Скажут: не изъян ли у

Тимошки какой-нибудь, что сироту-то берет бесприданную? Начнут так-то гадать да судачить. Уж не околдовала ли тебя Маринка?

Тимофей настаивал на своем. Мать поупрямилась. Кончиком повязанного на голове платка так ретиво натерла себе глаза, что покраснели веки. Наконец, она согласилась.

Через две недели играли свадьбу.

Бывало, выйдет замуж девушка и будто колодой ее придавит; и хвори ее мучат, и в лице ни кровиночки. Марину замужество не изломало. Зимой сидела за пяльцами, успевала и скотину управить; лето пришло — на всякой работе она впереди мужа. Как батрачка ломила, ни лени у нее, ни усталости.

Только взойдет солнышко — Марина уже на полосе; спины не разогнет до заката. Тимофей и тот иногда пожалеет:

— Отдохни, Маринка, — скажет.— Завтра все равно дожнем полосу.

А Марина за эти слова даже сердилась на него.

— Легко молвить — дожнем, а как да погода сломается. Кончим жнитво, вот и отдохнем.

Ничто не берет ее. Лягут спать — ластится она к мужу. Прильнет всем телом к нему, тревожит:

— Тимош, ты спишь?

— Мм... Н-нет...

— Не спи! Слушай, что скажу.

— А?

Растревоженный Тимофей сонно моргал слипающимися глазами, старался показать, что не спит.

— Ребеночка нам надо, — не отступалась Марина. — Которое уж время живем. У других-то, кто вместе с нами женились, давно зыбки в избах. Ты бы, Тимош... Может, забрюхатею я...

Мужик Тимофей здоровый, и на женины ласки он падок, а вот поди ж ты!

В праздник выйдет Марина на улицу, посидеть с соседками, там опять разговоры:

— Какая ты счастливая, Маринушка! Живешь в свое удовольствие. У одногодков твоих по возу на шее, а ты все как перышко.

— Не в себя ли она, бабы, силу берет? Румянцы как зарево на щеках... По нутру ей замужество.

Бабы смеются, а Марину после их разговоров пуще сосет тоска.

— Тимоша, что же это? Будто заговоренная живу с тобой, — со слезами невыплаканной обиды жаловалась она мужу. — На улице-то про нас насмешки, да пересмешки, только и слышу.

Тимофей не глуп, понятно ему горе жены. Однажды, когда Марины не было дома, он посоветовался с матерью, рассказал ей о тайной своей беде. Старуха почти совсем ослепла. Ест, пьет, а по хозяйству ложки не переложит с места на место. Но языком ее господь не обидел. Послушала она сына, уставилась на него немигающим взглядом и объяснила:

— Большой ты вырос, Тимошка, а дурак. Не слушай ты Маринку, не доверяй ей! Ты уши развесил, а она... Ох, чую, не спроста она... Делает с собой что-нибудь, вот и не рожает. Нарочно тебя, обормота, с ума сводит.

— Что ты, матушка!.. Неужто обманывает Марина?

— Нет, поди? Ты уж это другому кому скажи! — старуха засмеялась беззубым ртом. — Хитрая она, ой, хитрая! Змеем пестрым обвилась округ мужниной шеи. Ну-ко, до сей-то поры будто девка подолом вертит.

Тимофей метался от матери к жене. Со стороны взглянуть, кажется, с Мариной у него все как и прежде — живут душа в душу. Нет, надломилось что-то, словно черная кошка пробежала между ними. А слепая старуха нет-нет да и подольет масла в огонь. Нарочно, так чтобы слышал сын, придерется к снохе и ворчит:

— Мягок Тимошка, не в родителя. Тот бывало... Крут был покойник. До старости я дожила, а не забыла его кулаки. Зато и жили! Народ любовался. А этот — кисель киселем, черпай ложкой и клади в рот. Всё стерпит. Не то чтобы за провинки волосье на тебе тронуть — худого слова ты от него не слыхала. А надо бы, ох, надо! Умка́ под полушалком прибавилось бы. Не учена ты от мужа, милая.

— Ему самому-то не мешало бы поучиться, — не придавая значения словам свекрови, отшучивалась Марина.

— Чему? Будто он не ученый. Воли у тебя много.

Муж хорош, так и это тебе не слава богу. Не первый годок замужняя, а волосье-то не покрытое у тебя.

Старуха протянула руку, словно хотела тронуть Марину за волосы, и добавила:

— Платка-то не носишь и косу одну плетешь.

III

В Мартьянкове и в окрестных деревнях исстари на славе кружевной промысел. Настанет зима — и с утра до поздней ночи в избах стучат коклюшки, пересыпаясь в руках мастериц. Большинство плетет узенькое — «десятку»; цена на него ровная, спрос — в любую пору давай, лишь бы побольше. Мастерицы плетут «десятку» с закрытыми глазами; учатся на нем и девчонки-подростки. Чудачки, вроде Марины, наперечет. Заработок заработком, а подступит к сердцу — хочется что-то для своей души сделать. Неделю просидит, а всего и дела — сколок нового узора, хитрого, никем еще не пробованного. Плетут мастерицы сложные и тонкие «мотивы», косынки черные, шелковые... Заглядываются люди на их кружево. Даже Архип Петрович... Бывало, зайдет он к мастерицам и шепоточком скажет, словно бы по секрету:

— Косыночка-то твоя на выставку взята. В заграницу повезут. Другой раз сплетешь этакую — четвертачок лишний накину.

Архип Петрович скупал кружева у мастериц и большими партиями возил в город. Торговое дело свое он вел толково. Чтобы кружевнице взяться за коклюшки, ей для этого первым делом нужна пряжа. Тогда-то и выручал Архип Петрович. Сходит к нему кружевница, поклонится и берет пряжу в долг. Не всякой мастерице и просить надо: по осеням Архип Петрович сам раздавал пряжу. После знал, сколько примет готового товара. Архип Петрович всегда «занимался» кружевным делом; родитель его прежде тоже скупал кружева.

Мартьянково — деревня глухая. Затерялась она среди вологодских лесов. Новое прививалось здесь медленно. Жизнь шла где-то стороной. Редко-редко забрасывала она сюда что-нибудь светлое.

Раздолье жить в глуши Архипу Петровичу.

Революция погладила шершавой лапой Архипа, но он выдюжил: примолк, обошел кое-что стороной, — отсиделся за резными наличниками своей избы.

А руки у него цепкие; льнут к ним кружева, как мухи к липкой бумаге.

И в том году подошла осень. Моросили холодные дожди. Деревня точно приплюснулась к намокшей земле и под серым тяжелым небом чернела осклизлыми избами. Вечерами мигали в темноту желтые глаза оконниц. В избах зазвенела песнь коклюшек. Настала страда кружевниц.

В один из этих осенних дней оповестили кружевниц, что они должны явиться на собрание в сельсовет. Приехал-де из города инструктор кустарьсоюза, который уполномочен побеседовать с мастерицами. Мандат у него на то имеется.

То, что в сельсовет вызывали только кружевниц, необычно и непонятно. Начались пересуды. Люди бегали из избы в избу, ахали, делились догадками, сами спрашивали.

— Не иначе бабью республику сочинят, — шутили мужья. — Соберутся вот и постановят: выселить всех мужиков. Придется нам тогда кланяться.

А Тишата Мухин строжее строгого наказывал своей Паране:

— Ежели там, на собрании вашем, запоют что-либо насчет налогу аль о повинностях каких — ты мигом чтобы домой. Смотри у меня! Сама знаешь, зачем косы растут.

Инструктор кустарьсоюза, когда собрались кружевницы, свой разговор с ними начал с того, что спросил: сколько они зарабатывают на своем промысле?

— Взять заработок хорошей мастерицы, — сказал он. — Положим, она всю зиму будет плести кружево, сколько же заработает на этом?

— Сколько? Да ведь не считано.

— Но как-то нибудь можно, я думаю, сосчитать?

— Зачем это вам? — спросила Параня Мухина и, заробев, оглянулась на соседок.

— Говори, Параня! — подбодрили ее.

— Какой наш заработок! — отмахнулась Параня. — Марину надо спросить, лучше-то ее нет у нас кружевницы.

— Скажи, Марина!

— И скажу, скрывать нечего, — ответила она. — Коли весь день не выпускаю из рук коклюшек, да еще вечерка прихвачу, то на гривенник, а, может, и на двенадцать копеек сплету кружева.

— Верно. У нас не в городе, даром хлеба не зарабатываем.

— В городу-то проще. Поторился на фабрике и — получай!

— А кто вас пряжей снабжает и скупает кружева? — спросил инструктор.

— Будто не знаешь, — заперешептывались мастерицы. — Архип Петрович наш, он известный, небось, и у вас бывал. Пряжа у него имеется в любую пору, и кружев неси ему сколько хошь.

— А расценки кто устанавливает?

— Чудной человек! Кто покупает, тот и устанавливает.

— Что я скажу, бабы, — начала Параня. — Может, товарищ, насчет налогу выпытывает? — она подозрительно взглянула на инструктора. — Коли так, то уж не прогневайся! Велики ли наши заработки.

— К налогам я не имею отношения, — начал было объяснять инструктор, но его прервали. Кружевницы заговорили, выкладывая все, что накипело на сердце. Возражать им сейчас или перекричать их было бесполезно. Прошло довольно много времени, пока улеглись страсти. И только когда шум постепенно начал стихать, инструктор сказал:

— Значит, вам трудно приходится, так я понял ваши разговоры. Согласен. Больше того, еще добавлю, что виноваты во всем этом вы сами. Советская власть дала вам все права бороться со скупщиками, чтобы не могли они безнаказанно обирать кружевниц. А что вы сделали в защиту своих прав? Ничего. Вы и теперь, как прежде, при царском режиме, кланяетесь скупщику, клянчите у него в долг пряжу. После несете ему кружева. Какую цену положит за них ваш Архип Петрович, на том ему и спасибо.

Наступила тишина. Женщины переглядывались, некоторые порывались что-то сказать, но выступать одной перед всеми — это страшно. Инструктор кустарьсоюза не открыл им ничего такого, чего не знали бы

сами кружевницы, о чем давно они думали и шептались втихомолку.

Молчание затянулось. Параня Мухина начала было пробираться к выходу, ее примеру могли последовать и другие. Случись это — собрание растает, ничего не решив. Но тут неожиданно поднялась с места Марина.

— Обождите, бабы! — сказала она. — Я хочу слово молвить. Неужто не надоело нам глядеть в рот Архипу Петровичу? Ох, надоело! По горло сыты его добротой. Товарищ инструктор нам правильно говорил. Сегодня, когда мы собрались все, взять вот и предъявить Архипу Петровичу нашу резолюцию, потребовать у него, чтобы не прижимал расценками, платил бы за кружева настоящую цену. Не согласится — сами повезем кружева в город.

То, что сказала Марина, не рассеяло тревоги. Как спорить с Архипом Петровичем? Болтнуть об этом легко, а попробуй, поговори с ним! После, где, как не у него, пряжу будешь просить, кто подождет долги, кто в беде выручит?

— Тебе-то, Маринка, можно спорить, за тобой хвост не тянется, — тревожно прозвучал чей-то робкий голос.

— По зимам из году в год кружевами живем... Уж до забастовки ли, когда семья.

— Все вы неправы, товарищи, — вмешался в разговор инструктор. — Нельзя вам бросать работу. Ваши кружева славятся на весь свет, кто их только не знает. И для нашего государства они все равно, что золото. Марина предложила, если скупщик не повысит цены, то самим везти в город кружева. Но в городе тоже есть свои Архипы Петровичи, еще почище вашего. Давайте лучше подумаем, как обойти их, не дать себя в обиду. В одиночку, конечно, такого большого дела не решишь, надо действовать артелью, организованно.

Инструктор рассказал собравшимся о кустарьсоюзе, о кружевных артелях, о том, какой существует там порядок снабжения кружевниц пряжей и расчетов за готовый товар.

Слушали его внимательно. Недоверие исчезло. А когда он предложил организовать в Мартьянкове кружевную артель, в которую можно вступить всем желающим мастерицам, на него посыпались вопросы, высказывались опасения, страхи: а что будет после?

Собрание затянулось. Время было около полуночи, когда, наконец, решили произвести запись желающих вступить в артель.

Первой подошла к столу Марина.

— Спервоначалу-то мы, товарищ, думали, что ты приехал к нам по каким-нибудь казенным делам, — сказала она. — Всякое ведь бывает. Что до артели, ежели о ней говорить, я на артель согласная: давай бумагу, распишусь.

В тот же вечер в артель записалось около полутора десятка кружевниц. Председателем выбрали Марину. Вначале она было отказывалась, но когда к мнению артельщиц присоединился и инструктор, — согласилась.

— Ладно, нечего упрашивать, не маленькая, — заявила она. — Стану работать, но чтобы держаться всем крепко. Сказали слово, так уж чтобы как топором зарублено, никому не идти впопятную.

— Сама-то держись, Маринка, а мы за тобой.

— Хуже в артели не будет, а по-новому-то, кто знает, может, лучше заживем.

Инструктор рассказал, как оформить организацию артели, к кому обращаться в кустарьсоюзе, как получить кредит. Посоветовал оформить артель как можно быстрее, чтобы в нынешнем сезоне уже почувствовать выгоды артельного труда.

И с того времени, когда Марина стала председателем кружевной артели, словно ожила она. Некогда было теперь ни посидеть, ни отдохнуть. Поздно вечером, ложась спать, она заводила с мужем разговор об артели, о том, что случилось за день, что она сама делала.

Тимофей недовольно мычал:

— Перестань! Спать-то будешь? Сама от дому отбилась и меня тянешь туда же. Смотри, Марина, как бы чего у тебя не сорвалось!

Слепая старуха, услышав их разговор, вторила сыну:

— Самовольщица! Погоди ужо... Схватишься за волосье, да уж поздно.

Подняв изогнутый крючком костлявый палец, она грозила Марине, а белесые глаза ее, уставясь на сноху, смотрели холодно и безжизненно.

IV

Дела Архипа Петровича пошатнулись. На первых порах он не придал значения организации кружевной артели в Мартьянкове, но когда был оформлен устав и Марина привезла полученную в кредит пряжу и стала раздавать ее артельщицам, Архип Петрович забеспокоился.

— Сладу нет с бабами, — жаловался он заходившим к нему в лавку мужикам.— Каператив свой выдумали — смехота! Того и жди, что мужской пол заставят под свою дудку плясать.

Развалить артель стало заветной мечтой Архипа Петровича. Пробовал он повышать цены за кружева, обещал платить даже выше, чем платили в кустарьсоюзе, но это не помогло. Мастерицы, вступившие в артель, не заходили к нему. И как на зло — это были лучшие мастерицы, чьи кружева шли бойко; не рубль, а пять на рубль, бывало, получал на них прибыли. Стараясь подорвать доверие к артели, Архип Петрович все же избегал разговоров с бабами. «Ополоумели, — рассуждал он. — Никакого пива с ними не сваришь». Он действовал через мужиков.

— Тишата! — окликнул он как-то шедшего мимо Мухина. — Зайди, расскажи как живешь-то? Баба-то у тебя ведь в артель нынче сдает кружево.

— Сдает, — мялся перед купцом Тишата. — В этом деле она сама распорядчица.

— Сама, это правильно, — соглашался Архип Петрович. — О чем я хотел спросить: должишко за тобой есть... Когда платить собираешься?

— Подожди, Архип Петрович! Как только справлюсь с деньгами — не задержу.

— Знаю, ты мужик аккуратный. Весной-то, небось, семена потребуются или своими обойдешься нынче?

— Не обойдусь. С хлебом до нови никак не вытянуть. Коли не откажешь, то уж осенью буду твой плательщик.

Архип Петрович тяжело вздыхал. Он хорошо знал больные места у каждого из соседей и поэтому действовал наверняка. Вот и сейчас, поманив Тишату семенами, напомнив ему о старых долгах, он затянул:

— Мои-то дела худы, Тишата! Не прежнее время. Рад бы всем тебе навстречу, да сам посуди: налог с ме-

ня индивидуальный — уймища сколько, с кружевами не вожусь... Придется, какой и есть хлеб, свезти на ссыпку. Маринкина артель все связала, если б не она-то, разве ж я тебе в чем-либо отказал?

Со Степаном Малановым разговор у Архипа Петровича другой. Долгов за ним нет, работу мужик ломит как лошадь, на язык злой, но нетерпелив — не любит, чтобы над ним верх брали.

— Порядочки настали новые, Степа, — начинал разговор с ним Архип Петрович. — Мужики-то вроде как стали уж и не большаки в дому, а так, заместо мебели. На что смирная была у меня баба... Тьфу! Слово противно сказать. Ходит фу ты, черти гнуты! Начисто от рук отбилась.

Степан мрачнел, слушая разговоры о бабьей вольности. Думалось, и на самом деле прав Архип Петрович. А тот продолжал:

— Прежде-то скажешь слово — оно и закон, а попробуй нынче? Пальцем не тронь! Пошумишь, так за свою бабу спознаешься с тюремным замком.

О чем бы ни говорил Архип Петрович, чем бы ни возмущался он, на что бы ни жаловался — во всем, во всех бедах виною была «Маринкина артель», как он называл артель кружевниц. Мужик он оборотистый, недаром на кружевах, на копеечном этом товаре, капитал нажил. Умел он подойти к человеку. Одному посулит что-нибудь, зная что этот и посулу рад, другому преподнесет «подарочек». А чтобы слаще разговор лился, самогон не переводился в дому у Архипа Петровича — и какой самогон! Чистый, как слеза, первач. И не наперсток — старинный пузатый стакан подносит Архип Петрович. Опрокинешь, дух захватит, слова не вымолвить. Архип Петрович выпьет — только крякнет, погладит живот и скажет: — «Уф! Как богородица босиком прошла по нутру».

Незадолго до зимнего Николы Марина созвала общее собрание артели. «Никола» — престольный праздник в Мартьянкове. По овинам кое-где струились легкие дымки — гнали самогон. Марина потому и спешила с собранием, чтобы до пьяного праздника раздать артельщицам сколки новых образцов кружева и пряжу. Каждому образцу соответствовал свой номер бумажной или льняной пряжи, а некоторым — шелк.

Собрание еще не началось, когда в избу ввалился Серега Хромой. Качнувшись, он ударился о косяк двери и еле-еле устоял на ногах. Окинув осоловелыми глазами собравшихся женщин, Серега нехорошо выругался и крикнул:

— Степашка! Чертова кукла, марш домой! В избе жрать нечего, а ты по собраниям... Кого спросилась? Я вот покажу тебе артель...

Степанида, при появлении мужа спрятавшаяся было за товарок, вышла вперед. Ей было стыдно за пьяную выходку Сергея, но ослушаться его она боялась.

Марина подбежала к Степаниде, схватила ее за руку и остановила.

— Погоди, Степанида, я поговорю с Сергеем!

Подошла к нему и спросила:

— Пьяный ты, Серега, зачем пришел сюда? А пришел, так не мешай! Видишь собрание у нас.

— Ха-ха-ха! Бабье собрание!

Сергей скорчился от смеха, поперхнулся и закашлялся.

— Нехорошо, Сергей! — подождав, пока он пришел в себя, укорила Марина. — Не шуми! Иди лучше домой!

— А ты что ко мне пристала, — крикнул Сергей. — Не тебя, я жену зову. Степашка!

— Срывать собрание, по-твоему, это хорошо? — защищая собой Степаниду, Марина стояла против него.— Не перестанешь шуметь — выведем.

— Кого? Меня вывести? — крикнул еще громче и при этом даже подпрыгнул Сергей. — Ты с Тимохой своим этак разговаривай, его выводи, а мне рот не зажмешь. Ишь ты нашлась командирша! Наши бабы с утра до ночи из-за пялец не встают, а ты, что купчиха. Языком трезвонишь, а ошурочки-то на масле жуешь.

Марина, ни слова не говоря, приблизилась к Сергею, взяла его за плечи, повернула и, все так же молча, вытолкнула в сени. Закрыв дверь, она вернулась на свое место.

— Ай да Марина! Угомонила мужика.

— В другой раз не полезет.

— Молодец, баба!

— Надо отучить их хулиганить да насмехаться над нами, — сказала Марина, а то они...

Со звоном разлетелось стекло в боковом окне. Ка

мень, просвистев возле лица Марины, подпрыгнул на столе и сбил лампу. Свет погас. «Ай! Убьют ведь!» — раздались испуганные крики и визги женщин. Марина бросилась на улицу, но дверь оказалась припертой снаружи.

— Сережка! — крикнула она, стуча в дверь кулаками. — Открой, дьявол! В суд подадим — не поздоровится!

На улице как будто только и ждали ее голоса. Дверь распахнулась, несколько сильных рук схватили Марину и, как ни отбивалась она, вытащили наружу, бросили вниз — головой в сугроб.

— Снегу, ребята, набивай ей под шубу! Больше! Горяча больно, охолодить надо.

На крыльце скрипели остекленные морозом ступени. Оказалось Серега пришел не один, он только подал повод к расправе с артельщицами. Мужики хватали выбегавших на улицу испуганных баб, ставили их головами в сугроб и с похабным гоготом сыпали под одежду снег.

— Ой, дьяволы! — визжали бабы, когда снег попадал на голое тело.— Ужо дождетесь, самим глаза выцарапаем.

Собрание не состоялось. Разгон артельщиц был первым ударом по артели. После того как, натешась над артельщицами, мужики разбежались, Марина пришла домой в таком отчаянном настроении, точно все, к чему стремилась она, было навсегда потеряно. Тимофея в избе не было. Слепая свекровь, спустив ноги с печи, сидела на краю ее — страшная, с растрепанными волосами и шипела:

— Что, матушка, мало тебе? Добилась? Напороли хвосты-то? Выручать побежал Тимошка. Ох, и горе ты горькое наше!

Не отвечая ей, Марина разделась и легла на полати. Она плакала. Плакала беззвучно, содрагаясь всем телом.

V

После разгона артельного собрания пошел слух, будто с артелью теперь покончено. Какая отчаянная мастерица решится сдавать туда кружева. Заупря-

мишься, понесешь — недолго и до новой расправы. Но Марина не сдалась. Когда возбуждение немного улеглось, она снова назначила собрание артельщиц. На этот раз пришли только самые отпетые, в большинстве вдовы, не боявшиеся расправы мужей. И чему от всей души изумилась Марина — пришла Степанида, жена Сергея Хромого. Как бы то ни было — артель возродилась.

Зиму прожили, а к весне у артельщиц нашлись союзники и среди мужиков. Первым пришел Серега, из-за которого сыр-бор загорелся на зимнем собрании.

— По глупости, не от себя я тогда пришел, — оправдываясь в своем прежнем поступке, рассказывал он. — Архип, краснорожий черт, самогону поднес, пуд муки обещал... Одурел я. С табаком у него самогон-от был что ли? А что у калитки там дежурят — я не знал. Пришел только за Степашкой и не видел ничего, что после было. Как вышел на улицу — прямо домой.

— Теперь-то не подведешь?

— Я! — удивился Сергей. — Чтобы я заступал Архипа? Ни в жизнь! Это ему артель, как бельмо на глазу. За нынешнюю зиму Степашка моя втрое больше получила от артели за кружева, чем раньше, когда их Архип забирал.

Весной вступила в артель Нюшка Колобова.

Она, как и Марина, хваленая мастерица, а по роду приходилась племянницей Архипу Петровичу. До сего времени от артели она была в стороне. Ахнули в деревне, когда узнали о поступке Нюшки. Поговорили артельщицы, поспорили, но в артель ее приняли.

То, что не удалось прикрыть артель, вконец расстроило Архипа Петровича. Но разве возможно, чтобы он не перехитрил упрямых мастериц? Только бы отыскать щелочку, а там — и дубовый кряж развалится надвое.

Поползли слухи. Не известно, где начинались они.

...Архип Петрович обещает артели кредит.

...Архип Петрович дороже чем в кустарьсоюзе примет кружева.

...Если бы Архип Петрович помогал артели, тогда бы о!..

...Возьмется за артельские дела Архип Петрович, поставит артель на ноги.

Артельщицы волновались, спрашивали друг друга; никто не знал, как быть? Каждый искал свою выгоду. Были и согласные с тем, что надо артели договариваться с Архипом Петровичем, но Марина стояла на своем.

— Спустим кружево спекулянту, — сказала она, когда на собрании правления Нюшка Колобова предложила продать Архипу Петровичу часть кружев, — тогда всю нашу артель поминай как звали! Заодно с кружевами, он и нас слопает.

— Полно, не слопает.

— Артель — артелью, а выгода — выгодой. Нельзя нам только из одного рта смотреть. Это кустарьсоюз — он лопает наши «десяточки», — уколола Марину Нюшка. — Ты, Марина, ближе к союзу, бываешь там, может, тебе и есть выгода, а нам-то объедочки достаются.

— Выходит, одной рукой молись, другой за камень держись — так что ли? — ответила Марина. — Кто хочет сдавать кружева спекулянтам-нэпманам, тем нечего делать в артели.

Шумели до полуночи. Как ни отстаивала Нюшка Архипа Петровича, артельщицы, хотя и колебались, поддавшись ее обещаниям, все же, когда голосовали, не согласились с нею. Вместе с Мариной особенно горячо отстаивали самостоятельность артели Параня Мухина и Степанида. Из пожилых кружевниц тоже немногие смотрели в рот Нюшке.

С собрания она ушла недовольная, одна, не дождавшись конца.

VI

Прежде, когда гулял холостым, Тимофей Круглов считался женихом Нюшки. Колобиха приготовила уж и приданое дочери, не скрываясь, называла Тимофея своим зятем. И было из-за чего им теперь сердиться на Марину, перехватившую желанного жениха.

Нюшка осталась в девках.

Не могла она простить своей обиды сопернице.

— Как? Уломали председательшу? — открывая дверь дочери, когда та вернулась с собрания, спросила Колобиха. — Архип Петрович с вечера сидит у нас, дожидается тебя.

— Уломаешь, — огрызнулась Нюшка на мать. — У

такой жадюги, как Маринка, хоть кол на голове теши, она не почувствует.

На столе шумел самовар. Архип Петрович с постриженными в кружок волосами и гладко расчесанной бородой, благообразным видом своим напоминал церковного старосту. За столом сидел он в красном углу. В тот момент, когда появилась Нюшка, он, громко чавкая, жевал размокший в чае и еще не остывший баранок.

— А, крестница!— приветствовал он племянницу.— Счастье у тебя есть. Только мы с Катериной к самовару уселись, а ты тут как тут.

— Здравствуй, крестный!

Нюшка сняла с себя ватную кофту и повесила ее на гвоздь около двери. Подогнувшийся подол юбки обнажил испачканные, оплывшие икры. На щеках ее, после недавней ссоры в артели, еще горели багряные пятна.

— Ну, рассказывай, крестница! — дождавшись, когда Нюшка села за стол, сказал Архип Петрович. — Что вы там, у себя, в артели-то, нарешили, а мы послушаем.

— Ничего. Поругались и все, — ответила Нюшка.

— Чудеса! Что же это вы?

— А то, что скоро не только кружева, а и нас Маринка продаст в союз.

Сказав, Нюшка прихлопнула крышку на фыркавшем самоваре. Горячая крышка обожгла руку. Отдернув ее, Нюшка подула на ладонь. Архип Петрович, наблюдавший за крестницей, вдруг усмехнулся.

— Вот какие дела-то, Катерина, — повернулся он к Колобихе. — Мы с тобой старики, не понимаем нынешний народ.

Он налил в блюдечко чаю. Нюшка догадалась, что крестный хитрит, что за ласковой улыбкой его скрыто недовольство. Не смогла она привлечь на свою сторону мастериц, по-прежнему они держатся вокруг Марины. «Крестный-то, небось, рад за волосы оттаскать меня», — думала Нюшка, опустив глаза.

Колобиха, видимо, догадавшись о том, что тревожит дочь, и желая защитить ее, принялась ругать Марину.

— Маринка баб сбила, она это. И чего только нашли в бездомовнице? Дитёв не рожает, живет как сорока, пра-слово. Мужик у нее смирной, у другого не

бегала бы в город. Поучил бы непутевую как следует, прижала бы хвост. А Тимоха — что! Слова против нее боится пикнуть. Чем только она взяла его?

Архип Петрович пофыркивал с блюдечка чай. Лицо его не выражало и тени неудовольствия. Он как будто что-то надумал и заранее знал, что теперь ни артели, а тем более Марине, как бы ни выкручивались они, не сдобровать.

— На Тимоху-то зря ты, Катерина, — поставив на стол блюдечко и опрокинув на него пустую чашку, промолвил он. — Встретил его давеча... Страдает он от артельских делов. Мужик с понятием.

Сказав это, Архип Петрович покосил прищуренным взглядом в сторону Нюшки. Заметив взгляд крестного, она покраснела. Но Архипа Петровича словно бы и не интересовали больше дела в артели. Вспомнив о Тимофее, он похвалил еще раз мужика и заговорил о неудачах его в семейной жизни.

— Обижен Тимошка женитьбой, — высказал свое мнение Архип Петрович. — Жмется он, молчит, а я вижу: не ко двору ему Маринка. И свекровь, Домна-то Терентьевна, ох, недовольна! И то молвить, какая уж, к бесу, жизнь, когда мужик в дом, а жена из дому, по чужим делам подол треплет. На мой рассудок — развод надо брать Тимошке, другую привести бабу, согласную. Вот бы тебе, крестница, чем не жених Тимошка? Пара ведь из вас была бы, ей-богу!

— Что ты, крестный, как это можно?

Нюшка вскочила из-за стола, вильнула зрелыми бедрами и, стыдясь, начала передвигать что-то на комоде.

Колобиха всплеснула руками.

— Был жених Тимошка, не обегала я его, а как теперь-то? Венчанный он с Мариной, а что покрыто венцом, то не разорвешь. Без венца я не позволю дочери... Моя Нюшка — это не Маринка, не шлюха какая-нибудь.

— Полно, Катерина! — Архип Петрович остановил Колобиху. — Нынче законы простые, не то что прежде. Нынче, что венчан, что нет — один Христос. Развести Тимошку с Маринкой плевое дело, лишь бы согласие его было. А потом сходят они с крестницей в сельсовет, распишутся и — честь по-чести. Законный брак.

Нюшка стояла как опаленная. Слова Архипа Петровича открывали перед ней возможность унизить соперницу, втоптать в грязь, сделать ее разведенкой — посмешищем всей деревни. Архип Петрович спросил:

— Скажи словечко, крестница, как ты думаешь? Ну-ко, реши!

— Пусть он сам... Я в стороне.

— Было бы твое согласие, а женишок от нас не уйдет.

Архип Петрович простился. Нюшка подвинула было к свету пяльцы, потрогала коклюшки, но плести не стала. Колобиха, которой и нравилось предложение деверя и в то же время тревожило, подошла к ней.

— Страдаешь? — спросила у дочери. — Смотри, Нюшка, не ошибись! Как бы Маринка вдругорядь на след тебе не наступила.

— Ой, нет! — сказав, Нюшка подняла голову и посмотрела на мать. — Не мешай, мама! Хитра Маринка, а и я ведь не дура. Не положу в рот пальца, не укусит.

VII

Наступило время пашни. Кое-кто в деревне уже выезжал в поле. Земля просохла. На деревьях лопались почки. Как зеленой паутиной покрывались первыми листочками черемухи и березы. Утром Тимофей возился под навесом, собирая косулю[1]). Осмотрев ее, он обнаружил, что шип отвала — извернутой березовой доски — подопрел и вывалился из гнезда. Тимофей принес молоток и гвозди, стал прибивать отвал. Гвозди были ржавые, слишком толстые; при каждом неверном ударе они гнулись. Тимофею приходилось вытаскивать их, выпрямлять.

Сердясь, Тимофей сильнее стучал молотком, не замечая, что гвозди раскалывают сухую доску. Когда она, треснув, развалилась, Тимофей плюнул в сердцах, отшвырнул от себя молоток и крепко выругался.

Под навес заглянула Марина.

— Тимош, что случилось? Не руку ли разбил?

Тимофей, не зная на ком сорвать обиду за свою неудачу, закричал на жену:

---

[1]) Косуля — разновидность деревянного плуга; заменяла соху в северо-восточных и, частью, северо-западных районах России.

— Радуешься? Довольна, что в поле мне не на чем выехать? Вот, полюбуйся! — показал он на расколотый отвал. — Хоть руками теперь греби борозду.

В голосе его звучала злоба. Он кричал на Марину так, точно не сам он, а она виновата в его неудаче. Марина чуть заметно усмехнулась уголками губ и, стараясь избежать ссоры с мужем, сказала:

— На кого ты сердишься, Тимоша? Сам виноват.

— Сам! Люди в поле, а я дома буду сидеть... Смешно, бездельница!

Под навесом, где находились они, было сумрачно. С улицы доносилось мычание коров и голоса женщин, провожающих стадо. В углу, под решеткой яслей, рылись куры. Марина только что прогнала в стадо корову. Босые ноги ее покраснели от холодной росы.

— Опять ты за свое, Тимофей, — упрекнула она мужа.— Я работаю не меньше твоего, не стыдно попрекать меня?

— Работаешь! — выкрикнул Тимофей. Ноздри его раздулись, в сузившихся глазах засверкали желтоватые огоньки. — Не вижу твоей работы. Не на себя — на чужих людей ломишь. Дом-то для тебя, как пустой огород.

Он пинком перевернул косулю. Отлетевший стальной лемех зазвенел, ударясь о камень. Попавшийся под ногу Тимофею обломок отвала полетел в угол. Рывшиеся там куры с безумным кудахтаньем рассыпались в стороны.

Марина не тронулась с места. С побледневшим лицом и высоко вскинутой головой, она точно ждала, что Тимофей вот-вот ударит ее.

— Как очумелый хожу мимо людей, глаза поднять стыдно, — отступив немного, заговорил он. — В который уж раз честью прошу тебя, Маринка: брось чертову артель! От бездомовья что ли по чужим-то делам обивать пороги.

— Чудной ты, да разве я по чужим?

Солнце все ярче и полнее золотило крыши изб. Зазеленели первыми травами луга, на теплых обрывах раскрывались желтые одуванчики. Кружевницы выплетали последние «десятки», артель готовила к сдаче остатнюю в прошедшем сезоне партию кружев.

Марина получила письмо из кустарьсоюза: ее вызывали на собрание уполномоченных. Тимофей поворчал на жену, но все же вел себя так, словно примирился с ее работой в артели. Даже пошутил:

— Не забудь привезти гостинец из городу-то! Денег там, поди, уйму получишь.

— Привезу, — пообещала Марина.

VIII

Увидев проходившего мимо его дома Тимофея, Архип Петрович открыл окно и позвал:

— Тимош, остановись-ко! Словечко надо тебе молвить.

Тимофей, приподняв картуз, поздоровался:

— Доброго здоровья, Архип Петрович!

— По секрету надо молвить... Да ты не бойся, заходи в дом! Давно я собирался сказать, да не приводилось... Как нарочно, видишь, и самовар у меня на столе, за чайком-то и посидим.

Тимофей поднялся на крыльцо. Архип Петрович сам открыл ему дверь. Усадив гостя, он спросил:

— Может, перед чаем-то баночку поднести? Для хорошего человека я завсегда с удовольствием.

— Спасибо!

— Спасать будешь после, — засмеялся Архип Петрович. — У меня сегодня видишь какое дело — один я в дому-то. Бабы нет и домашние — кто в поле, кто на огороде. Твоя-то Марина тоже, слышал, в город уехала?

— Да.

— Ну и пусть себе погуляет, ей спешить некуда. Поди ведь в городу-то веселее, поди и знакомые есть, образованные...

— Не знаю. На собрание она уехала.

— Это уж всегда так говорится, Тимош. Грехи-то чем-нибудь надо покрыть, ну и собирают собрания, а после, вечерком, гуляй на полную волю! Давай-ко чокнемся! За хорошую жизнь выпьем.

— Насчет чего разговор будет, Архип Петрович? — выпив и обтерев губы, спросил Тимофей.

— Жалею я тебя, Тимош, от души это скажу,— начал Архип. — Парнем ты у нас рос на славе. Не знаешь,

поди, а ведь мы с матерью-то твоей, хоть и в дальнем, а все же в свойстве доводимся. Вот и хочу спросить: с бабой-то как — согласно живешь?

Лицо Тимофея потемнело. Голова у него немного кружилась, но рассудок не пропал. Не понимая, зачем Архип Петрович зазвал его и угощает как гостя, Тимофей держался настороже.

— Живем. Больших грехов покуда не было, — уклончиво ответил он.

— А маленьких хоть отбавляй! Понимаю, понимаю тебя. Ну, а все-таки, ежели по совести молвить: беда ведь жить с такими-то бабами, как твоя Марина. Она вот уехала может, с молодчиком в манишке ночи себе гуляет, а ты жди. Приедет — и не намекни ей на то, что думаешь. Ну-ко, еще баночку! — Архип Петрович придвинул Тимофею стакан с самогоном. — Ополосни, авось отляжет от сердца. Я бы на твоем месте с ней по-иному, — когда Тимофей выпил, продолжал Архип Петрович. — Баба она — баба и есть. Знай сверчок свой шесток, вот что. Не домовитая она у тебя.

То ли от выпитого самогона, то ли слова Архипа Петровича тронули за душу Тимофея, но он попытался было встать и тут же опустился на стул, на котором сидел.

— Камень тяжелый висит у меня на шее, Архип Петрович! — заплетающимся языком воскликнул он. — Вот она у меня где сидит, — он постучал себя по груди. — Иной раз так доймет, что взял бы да и пришиб.

— Это ни к чему, Тимош! Зачем так? Надо с умом. Хоть и худая она, а ведь и за худую отвечать придется. Ты бы лучше взял да и махнул от нее в сторону. Что тебе Маринка! Ты не коренник и она тебе не пристяжка.

— Возьмет тоска, так и убить не жалко, — продолжал изливаться в своей откровенности Тимофей. — На хозяйство у меня глаза не смотрят, руки ото всего отваливаются.

Слушая гостя, Архип Петрович сочувственно покачивал головой. Казалось, и в самом деле жалел он Тимофея. За все время как начался разговор о Марине, он ни разу не усмехнулся. Время от времени отщипывал кусочки сахара, клал их в рот и прихлебывал из блюдечка чай. Высказав свое горе, Тимофей замолчал.

Архип Петрович помедлил немного и посоветовал:

— Говорю, ты бы в развод с нею, Тимош, с Маринкой-то! Так бы следовало на мой взгляд. Ты ведь не старик... Сколько тебе годков-то?

— Двадцать шестой.

— Вот оно, видишь. И дитёв у вас нет. Холостая у тебя баба-то, ну и пусть ее живет, как хочет. Тебе о себе да о доме заботиться надо.

— Людей стыдно разводиться, — вздохнув, признался Тимофей. — Разведеной-то куда покажусь?

— Куда?! Да куда хочешь! Эх, Тимошка, Тимошка, хороший ты мужик, потому и жаль тебя, по свойству жаль, — стараясь показать душевное участие в судьбе Тимофея, промолвил Архип Петрович. — Была бы у меня дочка — отдал бы ее за тебя. Не бойся, найдутся тебе невесты. Не я буду, коли не найдутся, да еще какие — не твоей шлюхе чета, а из хорошего дому красавицы из красавиц. Только пожелай, не словом — глазом мигни, и сладим дело.

— Да нет, кто за меня пойдет? Мое дело кончено.

— Пойдут.

Хоть и пьян Тимофей, но ему почему-то стыдно было согласиться с предложением Архипа Петровича. На какое-то время представилась ему возможность иной жизни, когда в дому у него, вместе с новой женой появятся дети, поправится хозяйство. Но где уж! Это мечта, а она не птица, ее не поймаешь.

— Может быть, пойдет какая-нибудь бездомная, у которой ни кола, ни двора, ни рубашки на теле, либо вдова...

— О бездомной я не завел бы и разговора, Тимош, — сказал Архип Петрович. — Уж поверь мне, знаю, что говорю. Да хотя бы племянница моя, Нюшка Колобова... Девка умница, не вертушка. И дом хороший, и у Колобихи она одна дочь. Женишься — весь достаток пойдет с ней.

— Где уж...

— Только не спорь! Любит тебя Нюшка, сказываю, как на духу. Колобиха сама мне жаловалась. Из-за того, что любит, и замуж девка ни за кого не вышла.

Архип Петрович наклонился к Тимофею и снизил голос до шепота. От того, что сказал он, лицо Тимофея покраснело. Подняв глаза, он оглянулся, как будто

ждал, что откуда-нибудь сейчас появится перед ним Нюшка и, как бывало прежде, повиснет у него на шее. «Убрать надо Маринку», — вдруг вспомнил он. И такая неуемная злоба вдруг вспыхнула на Марину в его груди, что Тимофей готов был сейчас же вскочить, бежать домой, выкинуть все ее имущество и разделаться с нею так, чтобы больше никогда и нигде-нигде постылая не попадалась ему на глаза.

IX

Вернувшись с собрания уполномоченных, Марина — веселая, оживленная вбежала в избу и, увидев Тимофея, сказала:

— Вот я и вернулась. Здравствуй, Тимоша! Как ты без меня управлялся дома?

Тимофей сидел на низеньком стульчике у окна и чинил хомут. Не поднимая головы, он промычал что-то. Марина не поняла, но, по-видимому, не обратила внимания на нелюбезную встречу и на нахмуренное лицо мужа. Освобождаясь от платка, она говорила:

— Хорошие вести я привезла, Тимоша. На собрании уполномоченных нашу артель отметили, как образцовую. Представь себе, что из всех артелей только мы удержались от сделок с частными скупщиками кружев, весь товар полностью сдали в кустарьсоюз. За это, во-первых, нас премировали, а, во-вторых, нам открыли крупный кредит... Почему ты молчишь? Недоволен тем, что я говорю? Верно? — перебив себя спросила Марина.

— Что я скажу? — все еще хмурясь, отозвался Тимофей. — Артельные дела меня не касаются.

Марина подошла ближе. Тимофей продолжал свою работу и не обернулся.

— Тимош, — остановясь позади него, сказала она. — У меня есть и еще новость, желаешь послушать?

— Не глухой. А, может, побережешь новости для других?

— Тебе я хочу сказать... Моя новость тебя и меня касается, слушай... — Марина помолчала немного, ожидая, что муж, наконец, одумается и выслушает ее. Но он не произнес ни одного слова, только сильнее, с каким-то непонятным ожесточением продернул дратву.

— Меня выбрали членом правления кустарьсоюза, — медленно произнесла Марина. — Хоть это ты слышишь?

— Выбрали... Что это такое? — спросил он, приподымаясь. — Почему тебя?

— Должно быть работу мою оценили, если выбрали, — просто объяснила Марина. — Мне теперь много времени придется проводить в городе.

Тимофей взглянул на нее. И странно, в этот миг Марина показалась ему какой-то иной, чем была раньше. Она словно бы стала выше ростом, голова ее немного откинута назад, взгляд выражает упрямство и непреклонность. И, может быть, поэтому в груди Тимофея с новой силой вспыхнуло злобное чувство против жены. Ему захотелось унизить ее, сломать, заставить упасть на колени и просить у него прощения.

— Ты с ума свихнулась, Маринка, — отложив хомут, прошипел он.— От своего хозяйства да в чужие люди идти... Бобылка ты что ли?

— Не в чужие, Тимош, а на общественную работу.

— На дьявола мне сдалась твоя общественная! — сжимая кулаки, выкрикнул Тимофей. — Будет, побаловалась. Хороший мужик хозяйства не бросит, не только баба. Кто идет на общественную — лодыри, дармоеды. Выбрали тебя... Небось, сама напросилась. Легкой жизни захотела. Не позволю!

Выкрикивая гневные слова, Тимофей даже не подумал о том, что может оскорбить жену. В том, что он говорил, сказывалось чувство собственника, мужа, который властен во всем, что касается жизни и поступков стоящей перед ним женщины. Ведь если он отпустит Марину, не сломит ее гордости, то сколько, по его пониманию, придется после вынести ему сраму от людей. «Под башмаком у жены жил Тимошка», — скажут. Как в тумане припомнился недавний разговор с Архипом Петровичем, Нюшка... Ведь Архип сватал ее. Нюшка хороша и домовита, она не поступит так, как эта. Но чтобы Нюшка вошла в его дом, надо... Нет, пусть Маринка исчезнет, но не сама, как ей хочется, а когда он, муж, вышвырнет ее за порог.

Если бы Марина промолвила сейчас хотя бы одно ласковое слово, рассмеялась бы над тем, что сама насказала сейчас о выборах, это, может быть, и усмирило

бы бушевавшую против нее бурю в груди Тимофея. Но Марина молчала. Весь ее вид показывал, что нет у нее ни ласковых слов, ни покорности. В глаза Тимофею бросился лежавший на лавке молоток. Не рассуждая, Тимофей схватил его, замахнулся... Опоздай на одно мгновение Марина — упала бы она сейчас с разбитой головой к ногам мужа.

Заметив потянувшуюся к молотку руку Тимофея, Марина насторожилась. Она увернулась от удара, затем схватила мужа за руку. Между ними завязалась борьба. Не ожидавший сопротивления жены Тимофей растерялся. Марина обезоружила его и оттолкнула от себя. Теперь она стояла перед ним взволнованная и раскрасневшаяся от борьбы. Она чувствовала свою силу, превосходство над мужем и не боялась его.

— Что же, Тимош, убить ты меня хотел? — глядя прямо в лицо ему, спросила Марина. — Вот ты как!

— У-хо-ди! — хрипло вырвалось у него. — Уходи! Не жена ты мне больше. Возьмем разводную... Ноги чтобы твоей не было в моем доме, видеть тебя не хочу... Шлюха!

Марина отступила. К побледневшим щекам ее густо прилила кровь. Упрямое выражение, сверкавшее в ее глазах, стало еще тверже. В ней, видимо, боролись какие-то, может быть, и самой непонятные чувства, и она не сразу поняла то, что услышала от Тимофея. Но вот она бросила в темный угол молоток, который держала в руках, выпрямилась и сказала:

— Что я не шлюха, ты знаешь это, Тимош. И не сержусь на тебя... Не люба, не нужна тебе, так и не надо, не навязываюсь. На разводную я согласна. Хоть и много приняла горя от тебя, но зла не помню. Живи как хочешь!

Точно глубокая пропасть разделила их. Они стояли друг перед другом, и каждый из них словно бы не решался сделать первый шаг, чтобы разойтись в стороны навсегда.

Коктебель — Москва. 1928 г.

ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

I

ТОВАРИЩИ, на производственном совещании ткацкого корпуса рабочими было выдвинуто свыше тридцати рационализаторских предложений, — открывая совещание профсоюзного актива, сказал председатель фабкома Василий Корнеевич Комарков. — Времени с тех пор прошло достаточно, почти два месяца, а ни одно из предложений не реализовано. Хорошо это, спрошу я? Нет, товарищи...

Он помолчал, прочитал какую-то записку, которая лежала у него на столе и, подняв голову, посмотрел на собравшихся в фабкоме активистов с таким видом, как будто хотел спросить: что ему еще надо сказать?

— Ты объясни нам, товарищ Комарков, — нарушил молчание сидевший в стороне, возле открытого окна, молодой мастер-выдвиженец Саватеев, — кто виноват в том, что не реализуются предложения рабочих? Фамилии назови!

— Назову, — оживился Комарков. — Техническая часть виновата, администрация... Например, ты хотя бы, Иван Степанович, — Комарков вызывающе посмотрел на Саватеева. — Ты выдвиженец, мастер, а что сделал? Наберись смелости, выступи перед собранием!

Комарков говорил быстро, немного заикаясь. Одернув, как ему казалось, Саватеева, он попытался было закурить папиросу, но у него отсырели спички. Комарков чиркал их — они не зажигались. Две девушки, сидевшие ближе других к столу председателя фабричного комитета, о чем-то пошептались между собой. Одна

из них — в полосатой блузке и с коротко остриженными темными волосами — сказала:

— При чем тут Саватеев? Ты, Василий Корнеевич тоже ведь ничего не сделал. Администрация и техническая часть спят, а где был фабком?

— Ошибок фабкома я не отрицаю, товарищ Рагозина, — покосившись на упрекнувшую его девушку и как бы извиняясь перед нею, ответил Комарков. — Проморгали. Но я о другом сегодня: в технической части у нас бюрократы. Спрашиваю давеча нашего главного инженера Пяташева, что делается по реализации предложений рабочих, а он не знает. Молчит. Только руками развел. Вот я о чем. Старые инженеры не верят в способности рабочих, а администрация не принимает мер.

— Очень уж круто ты насчет инженеров, Василий Корнеевич, — послышался чей-то голос. — Не все ведь они одним гребнем чесаны.

— В прошлом году, когда «Пролетарская правда» смотр проводила, наша фабрика была не в последних.

— Дай мне словечко, Василий Корнеевич! — приподнялся член фабкома Волков. — Конечно виновата техническая часть, это необходимо со всей категоричностью нам подчеркнуть. Отстали мы, товарищи. Старыми успехами своими гордимся, а новые? Где они? Их нет. Маловато. Говорить-то мы мастера, а вот обидеть конкретные личности — голос теряем. Не по-рабочему это. Заступников много. Сейчас, когда Василий Корнеевич затронул личность мастера Саватеева, так у того сразу же нашлись адвокаты, — с последними словами Болков взглянул на девушку в полосатой блузке и продолжал: — А ведь все, что говорилось о Саватееве — правильно говорилось. Со всей категоричностью о том заявляю... На что же обижаться? Мы знаем Ивана Степановича, сами выдвигали его на ответственный пост; полагали, что там-то он и развернется как следует, покажет себя. Иван Степанович больше полугода работает мастером, а в чем сказались результаты его работы? Что-то не видно. Обиды от работниц ткацкой — это вот есть. Не совсем правильно ведет себя товарищ Саватеев. По-товарищески, со всей категоричностью говорю: надо ему подтянуться, бросить всякое там...

— В фабкоме то у вас все чисто? Забыл о себе сказать, Алексей Никитич.

— Мы сегодня не обсуждаем доклад фабкома, — уклонился от прямого ответа Волков. — Когда будем обсуждать, я скажу...

— Со всей категоричностью, — подсказала девушка в полосатой блузке.

— Да, товарищ Рагозина. Надеюсь, меня вы знаете.

Ответы Волкова внесли некоторое оживление. Кое-где прозвучал смех. В это время попросил слова Саватеев. Он поднялся и подошел ближе к столу.

— Я вот о чем, — заговорил он, — не слишком ли формально наш фабком подходит к вопросу о рабочих предложениях, когда пытается и существующие и все несуществующие вины свалить на других. И товарищ Комарков, и только что выступавший товарищ Волков говорили обо мне, вот я и хочу спросить их: интересовались ли они когда-нибудь работой выдвиженцев? Знают ли они о том, что мы делаем? Нет. Как и чем фабком помог нам? Об этом тоже что-то не слышно. Нами интересуются тогда лишь, когда надо на кого-то свалить вину. Помощи от фабкома мы не видим, а обвинений столько, что и не сочтешь. О себе скажу. Было время, когда и на собраниях и всюду меня хвалили как производственника, потом выдвинули на ответственную должность, а как выдвинули — и хвалить перестали. Начали бить и когда надо, и когда не надо. Как же тогда работать? Мы — выдвиженцы — нуждаемся в товарищеском отношении к себе, в поддержке. Производство мы знаем, но по части теории подкованы слабо. Нам надо учиться, осваивать новую профессию, а на нас смотрят вроде как на нахлебников. Откровенно скажу, руки от этого опускаются.

Саватеев умолк. Комарков с покрасневшим лицом и еще более заикаясь, чем всегда, спросил: кто желает выступать? Так как желающих не нашлось, он заговорил сам.

— С нас требуют факты, — сказал он, — что же — они есть...

Саватеев не слушал, что говорил Комарков. Неожиданно вспомнилось, как однажды, встретясь с ним на Набережной, Комарков остановился и заговорил о Дуне Рагозиной. Он сказал, что Дуня его невеста и что по-

этому никому не позволит увиваться за нею. На другой день, встретясь с Дуней, Саватеев поздравил ее с женихом. А когда Дуня спросила, кто у нее жених, он передал ей «новость», которую узнал от Комаркова Дуня рассердилась.

— Чтобы я да вышла за Комаркова — не-ет, лучше в Короть брошусь, чем пойду за него. Льнет он ко мне. как муха к меду, а посмотрю на его кривые ноги, на рыжие усики... Да ну его к дьяволу! Думать о нем не хочется.

Разговор с Саватеевым о Дуне Комарков завел, видимо, не случайно. Он заподозрил в молодом мастере своего соперника. Если до той поры Комарков благоволил Саватееву, называл его «мой выдвиженец», то после встречи на Набережной, положение изменилось. Комарков уже не хвалил Ивана Степановича, еле здоровался с ним, выискивал поводы к тому, чтобы показать Саватеева перед людьми с самой плохой стороны Так получилось и сейчас.

Дуня сидит впереди. Саватееву видно ее белую в черную полоску ситцевую блузку. Рядом с Дуней — ее подруга, Наташа Анучина. Наташа скромнее и застенчивее; она моложе Дуни. У нее очень красивое лицо и, в отличие от темных коротко остриженных волос Дуни, тяжелая, опускающаяся ниже пояса, белокурая коса. И глаза у них разные. У Наташи — серые, с зеленоватыми отблесками, у Дуни — совершенно темные. И во внешнем облике, и в характерах у каждой из них было что-то свое, это «что-то» не поддавалось простому объяснению; но во всяком случае, Дуня для Саватеева была только веселой, бойкой на язык девушкой, с которой приятно поболтать, посмеяться над чем-нибудь А Наташа? В этой было нечто непонятное Саватееву, может быть, то, что он не понимал, и влекло его к девушке.

Наташа держалась с ним как и со всеми, ничем не отличая его. Саватеев же постоянно думал о ней, смущался; оставаясь с нею наедине, становился неловким и молчаливым. Саватеев не мог бы сказать, что любит Наташу, нет! Он постоянно выискивал в ней какие-либо недостатки и сам не старался казаться перед нею лучше, чем был, но в то же время не мог и забыть ее.

Комарков все еще говорил. Когда он, разгорячась и потеряв самообладание, ударил по столу кулаком, едва не сбив при этом зеленый абажур с лампы,— Саватеев очнулся. Показалось, что предфабкома назвал сейчас его фамилию, угрожал чем-то. Выкрикнув последние слова, Комарков умолк. В комнате стало тихо. Саватееву запомнился торжествующий взгляд, каким Комарков посмотрел на своих слушателей. И оттого ли, что в комнате, где сидело много людей, было нестерпимо жарко, или потому, что Комарков выглядел победителем, у Саватеева застучало в висках. Дальнейший разговор о производстве, о предложениях рабочих, о выдвиженцах показался ему настолько сухим и ненужным, что больше не было терпения слушать.

Саватеев поднялся и молча исчез за дверью.

II

На улице темнело. На фабричном дворе, где, выйдя из здания конторы, очутился Саватеев, он достал папиросу и закурил.

— Эй, кто там курит? Брось папиросу!

От оклика Саватеев попятился к двери, из которой только что вышел. Неподалеку, у сваленных грудой пустых ящиков, блестела медная, ярко начищенная каска пожарного.

— Я не курю,— пробормотал он; смял папиросу и по-мальчишески сунул ее в карман.

— На дворе курить запрещается,— послышалось теперь более миролюбиво.

Напротив здания конторы пятиэтажными громадами поднимались корпуса фабрики. За ними тянулись к небу просмоленные от копоти и нагара высокие трубы. Полосы черного дыма без устали коптили пробегавшие мимо облака. Если ночью зайти с того берега Короти, то покажется, что и трубы, и искрящиеся огнями окон громады фабричных корпусов перевернулись верхом вниз и дрожащими силуэтами отражаются в воде реки.

Прежде фабрика носила название «Большая Порозовская мануфактура»,— после национализации ее переименовали. Слово «Большая» исчезло, фабрика стала называться просто «Красная звезда». Новое название

еще полностью не привилось, рабочие по-прежнему называли фабрику «Порозовка».

Со стороны поселка фабрика отгорожена высокой кирпичной стеной. Стена эта возведена около полустолетия назад разбогатевшим фабрикантом Порозовым. Своими угловыми башнями и бойницами она напоминала старинную крепость. Перед главными воротами; с мозолившими глаза колоннами, изъеденными ржавчиной полуосыпавшейся штукатурки, ограждающими подъезд, расположилась площадь. От нее, вдоль берега Короти, протянулась Набережная улица. От Набережной, в сторону от реки, ползли глухие щели немощеных переулков поселка.

Поселок вплотную примыкал к фабрике. Хотя фабрикантом в свое время и были построены корпуса «каморок» для жилья рабочих, однако большинство их предпочитало жить «на воле». В четырнадцатом году, когда началась империалистическая война, здания «каморок» заняли под склады, рабочие, жившие в корпусах, переселились дальше, за поселок, в село Коровники. За недолгие годы советской власти фабрика расширилась, производство ее выросло. На берегу Короти, рядом со старым поселком, в этом году заложили четырехэтажные жилые дома будущего рабочего городка.

Саватеев миновал ворота и вышел на площадь.

С угла Набережной, прямо против ворот, желтой полинявшей вывеской глазела на площадь «пивная-столовая Перекоп». По вечерам в этом заведении то и дело хлопали двери, выбрасывая в пустоту площади дымные волны пьяного гама. И только Саватеев перешел площадь, как из пивной навстречу ему вывалился коротенький, словно обрубленный сверху и снизу, пошатывающийся человек, в котором легко было признать старшего мастера Федышина.

Увидев Саватеева, Федышин остановился, раскинул руки и завопил каким-то чужим певческим басом:

— Иван Степанович! Золотой мой! Дозволь я т-тебя п-по-целую.

Федышин пел в церковном хоре. «Тебя поцелую» у него прозвучало так, что напоминало «господи помилуй».

Он обнял Саватеева, пахнув в лицо густым, как свиное сало, отравляющим запахом пивной перегари.

— Не надо, Федор Иванович! — отворачиваясь от пьяного, сказал Саватеев. — Идите домой!

— Домой?!

Федышин легонько свистнул. Фуражка у него сбилась на бок и еле держалась на лысой голове. Покачиваясь, но изо всех сил стараясь показать трезвый, независимый вид, он твердил:

— Я т-тебя уважаю, Ваня! Ты — герой! Орден красный у тебя... П-пойдем — угощу! Не хошь? Еррунда! В другом м-месте не п-пей, а со мной... Со мной, Ваня, можна, все можна.

Федышин уцепился за Саватеева. Как ни старался Иван Степанович отделаться от пьяного, это ни к чему не привело. Федышин не отставал. К тому же, после сегодняшнего совещания в фабкоме, расстроенный обидой, которую нанес Комарков, сводивший с ним, как казалось, личные счеты, Саватеев сдался. «Чего я в самом деле, боюсь их что ли? — подумал он. — Развлечься не могу?» — И поддерживая под руку Федышина, вместе с ним зашел в «Перекоп».

Под низким серым от пыли и копоти потолком плавал едкий туман махорочного дыма. Зальце пивной заставлено столиками, покрытыми вытертыми, какого-то совершенно неопределенного цвета, липкими клеенками. Резко пахло прокисшим пивом и потом. Насыпанные на полу опилки смешались с плевками, уличной грязью, превратясь в невообразимую осклизлую кашу. Федышин подтащил Саватеева к столу.

— Садись, Иван Степанович, садись, з-залатой мой, — говорил он.— Я угощаю!— Он хотел похлопать Саватеева по плечу, но покачнулся и чуть-чуть не упал, едва успев удержаться за попавшийся под руку стул. — П-по паре на брата! — крикнул он куда-то во мглу. — П-паскарей, Митя!

Половой принес бутылки с пивом, щелкнул пробками и привычным жестом обтер грязной салфеткой горлышки. Расплатившись за пиво, Федышин наполнил кружки, и когда Саватеев заикнулся было, что он не пьет, Федышин напал на него.

— Н-не нада, м-малчи, Иван Степанович! Ты — мастер, а п-передо мной — м-маладой ты, птенец!.. Загулял Федышин — не перечь!

Он ударил себя кулаком в грудь, придвинулся бли-

же к Саватееву и, все так же запинаясь и отплевываясь, продолжал:

— Мастер, Иван Степанович, должен порядок знать, ты слушай меня! Который ежели новичок на фабрике, то что ему делать? Слушаться нада мастера, уважать... Отца родного дороже мастер — понимаешь? Кричат вон: поднимай производительность, то да сё, а кто это сделает? Мастер. Всему он голова. Не захочу и... — Федышин поднял руку и проделал ею многозначительный жест в воздухе.— А ежели ты,— он перегнулся через стол и понизил голос, — бабу погладил... Не перечь! Мастер все может. Повела супротив носом, так была и нет на фабрике. Фьють! Как ветром сдунет.

Половой подносил еще бутылки. От выпитого пива, в особенности после «ерша», испробовать который уговорил Федышин, Саватеев захмелел. Теперь он уже не замечал фальши в словах Федышина, когда тот расписывал выгоды положения мастера. Саватеев чокался с ним и, не морщась, вливал в себя пенистую горьковатую жидкость.

Опьянение наполнило чувством необычайной легкости; словно подняли его высоко в воздух и мягко, как на гибких, но упругих пружинах, покачивали там, обдавая одуряющими парами. Похожее чувство бывает после качелей, когда наболтавшись до тошноты, сойдешь на землю и не знаешь — то ли продолжаешь еще взлетать в воздухе, или колышется под ногами земля. Потом на Саватеева навалилась тяжелая, безотчетная тоска. Явилось желание подняться во весь рост, расшвырять в стороны посуду, сидящих за столиками пьяных людей. Не помня себя, он зажал в руке стоящую перед ним пузатую кружку и с силой ударил о стол. Падая, зазвенели бутылки. Кружка разбилась. Острое стекло обожгло ладонь.

— М-маладец! — кричал Федышин. — Ухватка у тебя мая, Ваня! Э-эх, ты-ы!

Он тоже вскочил, попытался изобразить что-то похожее на пляску, но тут же опустился на стул.

— Граждане, в общественном заведении шуметь не полагается! Пожалуйте за бой целковый! — скороговоркой произнес половой; он словно вырос у столика. Указывая на окровавленную руку Саватеева, он добавил: — Завяжи, гражданин! Кровь льет, как из барана

Саватеев здоровой рукой достал скомканную бумажку и бросил ее на стол.

Половой взял деньги, подобрал на полу осколки стекла и ушел.

Федышин, склонясь к Саватееву, пьяно, ободряюще шептал:

—С умом, Ваня, можна, все можна!

Изо рта Федышина, когда он говорил, брызгали капельки слюны. Саватеев оттолкнул его. Заматывая платком пораненную ладонь, спросил:

— Ты о чем, Федор Иванович?

— Скажу... Только т-тебе, Ваня. П-по секрету. Наташку Анучину, т-ткачиху, знаешь?

— Ну!?

— Вот т-тебе и ну! Ог-гонь девка!

Он опять описал рукой замысловатый жест. Саватеев вспыхнул. Не сразу понял, что речь идет о Наташе, которую только что видел в фабкоме. Ему показалось, что Федышин совершил сейчас что-то грязное, до невероятности унизительное.

А Федышин шептал:

— Позовешь этакую девчоночку, как Наташка, вечерком... Скажешь, б-белье п-постирай!.. Сахар девчоночка, изюм в патоке!.. Она т-тебе ни полслова. С твоим-то лицом, Ваня, да знаешь ли — умирать не нада н-на фабрике.

— Перестань! Слышь, перестань! — прохрипел Саватеев.

Ему захотелось избить собутыльника, отшвырнуть его от себя. И как ни пьян был Федышин, все же он вовремя почуял опасность... Встал и, пробормотав что-то, отступил к выходу.

— Сволочь ты, Федышин! — крикнул вдогонку ему Саватеев. — Вежишь? Не попадайся в другой раз — шею сломаю!

За соседним столиком загоготали:

— Отпустил, не пощипал старичка.

— Всыпал бы, матери его, под печонку!

Курносый парень с чубом мелко вьющихся волос, в лихо сдвинутой на затылок кепке, подошел к Саватееву. Осмотрев его с ног до головы, он поощрительно произнес:

— Ты бы за шиворот его, тряханул бы!

Он сел на место Федышина, взял оставшуюся после него невыпитой кружку с пивом и крупными глотками вылил в себя.

— Видал, как Чурок пьет, — похвастал он. — Дюжину выпью, и ни в одном глазу.

Мрачное лицо Саватеева понемногу прояснилось.

Чурок, собрав пустые бутылки, позвал полового и, бросая ему через стол, крикнул:

— Лови, Митька!

Половой забрал их и через некоторое время принес полные. Саватеев вначале недоверчиво присматривался к новому собутыльнику, словно изучая его. Но скоро они подружились. Саватееву понравился этот разбитной парень. Бессмысленно улыбаясь, он смотрел на него и, как-то невольно, старался подражать ему.

После того, как пивную закрыли за поздним временем, они, обнявшись, вышли на улицу, шатаясь и напевая что-то, направились вдоль Набережной.

III

Проснулся Саватеев поздно. У него болела голова. Он лежал на кровати в том, в чем пришел: в пиджаке и в измазанных грязью сапогах. «Напился, как скотина,— вспоминая вчерашнее, подумал.— И с Федышиным поругался». Поднял раненую руку, пошевелил ею. Испачканный кровью платок присох к телу. В ладонь стрельнула острая боль.

— Встаешь, слава тебе господи! — услышал он голос квартирной хозяйки. — Где же это, Иван Степанович, угораздило тебя вчера?.. Явился домой, как из болота вылез.

— Не знаю... Ничего не помню, Катерина Филипповна.

Хозяйка протиснула в дверь рыхлое тело и, вытирая передником мыльную пену с покрасневших от мыла и горячей воды словно бы припухших рук, подошла ближе.

— Хорош ты был вчера! — укоризненно покачивая головой, продолжала она. — Думала, всю-то грязь с Порозовки на себе приволок. Поди ведь чаю хочешь?

— Спасибо!

— Сейчас принесу. Время то к гудку, небось.

Она вышла и через несколько минут вернулась со стаканом горячего чая.

— На-ко, выпей, прополощи вчерашнее-то!

Саватеев, обжигаясь и забыв размешать сахар, большими глотками выпил чай. Пока он мыл сапоги и приводил в порядок одежду, Катерина Филипповна говорила:

— Худо, Иван Степанович, одному-то. Вот и человек ты хороший, и положение есть у тебя, а будешь почаще таким-то, каким вчера явился, того и жди — головушку потеряешь. Некому остановить. Жениться надо тебе, Иван Степанович!

— Невесты нет, — чтобы как-нибудь отговориться от предложения хозяйки, сказал Саватеев. — И зачем?

— Вот тебе раз! — всплеснув руками, воскликнула Катерина Филипповна. — Маленький ты что ли, не понимаешь? При жене-то, поди, не пошел бы куда не следует! Уж она скрутила бы молодца.

— Куда не надо я и без жены не хожу, — не поднимая головы, ответил Саватеев. — Вчера... Расстроился я, ну и... Вышло как-то.

— Вот-вот, спервоначалу всегда с маленького приучаются, а потом, глядишь, и пойдет. Слава богу, шестой десяток годов на Порозовке живу, всякого насмотрелась.

В открытое окно вместе с утренней свежестью вливался запах цветущих лип. Всполошилась и пролетела мимо стайка воробьев. Саватеев привел в порядок одежду и, не ожидая гудка, отправился на фабрику.

У входа в проходную он столкнулся с Ивановым. Тот разговаривал о чем-то с вахтером. В руках Иванова был парусиновый портфель; Саватееву особенно бросилось в глаза то, что углы портфеля побелели и украсились бахромой. Саватеев поздоровался и хотел пройти мимо, но Иванов его остановил.

— С добрым утром, Ваня! — сказал он. — Ты что хмурый сегодня?

— Нездоровится... — смущенно ответил Саватеев, сердясь на себя за то, что не мог избежать встречи с директором.

— Если нездоровится, то зачем идешь на фабрику? — сказал Иванов. — Мог бы день-другой побыть дома.

— Ничего, — постарался улыбнуться Саватеев. — На фабрике лучше, скорей разгуляюсь.

— Ну, как хочешь! А я вот сегодня с утра на заседание в поселковый Совет, — сообщил Иванов, и в голосе его просквозила нотка уныния. — Хожу, заседаю в десяти местах ежедневно, от производства совсем оторвался.

Иванов и Саватеев — одногодки. Они вместе начинали работать на фабрике, вместе ушли добровольцами в Красную Армию и почти в одно время вернулись к станкам. В молодости Иванов отличался чрезвычайной застенчивостью. Он ни с кем не дружил, кроме Саватеева, но после гражданской войны вернулся на фабрику коммунистом и, неожиданно для всех, кто знал его раньше, проявил себя твердым и решительным человеком. Молчаливый в обыденной жизни, на собраниях и в деловых разговорах он говорил веско и убедительно. Он много читал, скоро завоевал себе на фабрике прочный и серьезный авторитет. Его выбрали секретарем партийной организации. На этом посту он сумел проявить так много инициативы, умения и изобретательности, что партийную организацию фабрики начали ставить в пример. Года полтора назад Иванова выдвинули на пост директора. В то время на жизни фабрики еще тяжело отражался груз старой «порозовщины», сказывались последствия гражданской войны; производство лихорадило из месяца в месяц, были постоянные перебои с сырьем, с топливом; старые кадры рабочих чуть ли не в большинстве рассеялись, пришло много новых — это, в свою очередь, тоже сказалось на производстве.

На новом посту Иванов проявил себя не только хорошим организатором производства, но сумел завоевать доверие рабочих, уважение их. Фабрика стряхивала с себя гниль «порозовщины». Каменные корпуса наполнялись непрерывной кипучей жизнью. «Наш директор», — говорили рабочие про Иванова, и это была правда. Среди рабочих он и на самом деле был своим человеком. Не расставаясь с потертым парусиновым портфелем, он поспевал всюду, умел как-то по-своему, внимательно подметить всякую бестолочь, каждое узкое место и устранять их.

Саватеев остался беспартийным. Работал он добро-

совестно, был на виду; полгода назад профсоюзная организация фабрики выдвинула его на должность мастера ткацкого корпуса. Новая работа явилась для Саватеева серьезным испытанием. Но если за полгода он не сумел проявить себя чем-то особенно значительным, то все же показал упорное стремление освоить профессию мастера. Тем унизительнее и обиднее было поэтому теперешнее отношение к нему Комаркова; судя же по тому, что говорилось вчера на совещании профсоюзного актива, Комаркова поддерживали и другие члены профсоюзного комитета. Саватееву казалось, что сегодня все, кого бы ни встречал он, смотрят на него как-то иначе, словно бы избегают его. Встреча с Ивановым тоже не рассеяла тревожного настроения мастера.

Миновав проходную, он не сразу пошел к себе, в ткацкий корпус. Ему не улыбалась перспектива очутиться сейчас в цехе под перекрестными взглядами ткачих. Грохот ткацких станков, вырываясь наружу сквозь занавешенные пыльными проволочными сетками окна, раздражал слух. На сетки в окнах ткацкого Саватеев до сих пор как-то не обращал внимания, не замечал их; они издавна были привычными его взгляду и как будто даже необходимыми. Но сейчас эти сетки в окнах темнели неприступной стеной между ним и тем громогласным миром, который скрывали они. Саватеев потер ладонью разгоряченный лоб и невольно поморщился от пришедшей в голову неприятной мысли. За одну ночь на фабрике, конечно, ничего не изменилось, и все же, как ни успокаивал себя, он чувствовал: что-то произошло. Было стыдно за то, что случилось вчера в пивной, стыдно за свою теперешнюю нерешительность, за ничем, кажется, необъяснимую робость, за неумение скрыть где-то в глубине своей совести память о поступках, выбивших его из привычной жизненной колеи.

«Разве не бывало с другими того же, что случилось со мной, — раздумывал он, стараясь себя успокоить. — И пьянствуют, и прогуливают, а явятся на фабрику — смотрят на всех так, словно совершили подвиг; шумят больше всех».

На чугунной лестнице звонко, как под колоколом, отдавались шаги, когда Саватеев поднимался на второй этаж. Но не вошел в цех. В последнюю минуту он

передумал: постоял на площадке перед дверью, вернулся обратно и зашагал в контору.

В полутемном коридоре конторы Саватеев встретил Алешу Солнцева, секретаря комсомольской организации фабрики. Тот издали еще, узнав мастера, крикнул:

— Иван Степанович, а я только что хотел идти к тебе... Понимаешь, какое дело... Вечером сегодня ты свободен?

— Я плохо чувствую себя, Алеша, — полагая, что Солнцев непременно попросит его выполнить какое-нибудь поручение, сказал Саватеев.

— Нездоров? — как бы удивясь тому, что услышал, спросил Солнцев. — Так чего же ты вышел из дому? Правда, вид у тебя сегодня нехороший, — решил он, присмотревшись к лицу Саватеева. — Валяй скорее в амбулаторию!

— Пройдет, — Саватеев кисло улыбнулся. — А какое у тебя ко мне дело?

— Беседу надо провести... Есть решение партийного комитета. Надо в цехах организовать группы ударников производства, развернуть социалистическое соревнование. Это ведь очень большое и важное дело. Работы будет много. Вот мы и думали тебя использовать, как организатора...

— Не могу сегодня, Алеша.

— Я не настаиваю. Раз уж ты болен, то, конечно, сегодня у тебя ничего не выйдет. Поправишься, тогда и поговорим. Думаю, это задание будет тебе по душе, ты с ним справишься.

IV

С Наташей Анучиной впервые Саватеев встретился в фабричном клубе. Это было зимой, как раз в то время, когда его только что выдвинули на должность мастера.

Молодежь фабрики готовилась к проведению антирелигиозного «рождества». В клубе репетировали пьесу. Наташа играла в ней девушку, которая живет в батрачках у попа и жестоко эксплуатируется.

Репетиция тянулась вяло. Когда Саватеев пришел в клуб, на сцене лохматый псаломщик, которого играл

Алеша Солнцев, и дородная попадья вели бесконечный разговор, время от времени прерываемый поцелуями.

Саватеев не участвовал в спектакле. В клуб он зашел случайно, потому лишь, что вечер у него был свободный, а на улице выла и стонала снежная метель. Идти домой одному в эту непогодь ему не хотелось.

Но вот, по ходу пьесы, на сцене появилась батрачка. Она так естественно и непринужденно выбежала из-за кулисы, с такой неподражаемой простотой сообщила о зашибленной ноге коровы Краснухи, что Саватеев, заинтересовавшись, с любопытством стал следить за игрой новой актрисы.

В то время Наташа только начинала работать в ткацкой. Там она была такой скромной и незаметной, что Саватееву казалось, будто сегодня он увидел ее впервые. И кто бы мог предположить, что именно эта девушка разбудит в нем какие-то новые, никогда прежде не пережитые чувства. В ней не было ничего, что до сих пор ему нравилось в девушках.

У Саватеева были темные волосы и темные глаза, смуглая кожа. За это мальчишкой его звали цыганенком. До того вечера в клубе Саватеев и не сомневался в том, что если ему понравится девушка, понравится по-настоящему, так, что тесно станет сердцу, то она будет темноволосой и смуглой, как и сам он. А вот у Наташи волосы до того светлые, что, увидев ее, вначале он счел их за парик. Лицо у нее тоже белое, на щеках, когда она улыбалась, появлялись чуть приметные, круглые ямочки. Глаза... В тот вечер Саватеев сколько ни смотрел, так и не мог понять, какие у нее глаза.

Увидев ее, Саватеев перестал скучать. Он просидел в клубе до конца репетиции. А выходя, как бы нечаянно, на лестнице, он увидел «батрачку». Девушка быстро пробежала мимо него, но внизу задержалась, словно поджидая кого-то. Саватеев спустился с лестницы. Наташа, увидев его, чему-то смутилась, опустила глаза и, не задерживаясь больше, исчезла за дверью.

— Куда вы спешите? — последовав за нею, сказал Саватеев первое, что пришло в голову. — Нам, может быть, по-пути?

— Не знаю, мне в Коровники.

Он пошел с ней рядом. Вьюга не унималась. Мороз-

ный ветер, дувший из-за Короти, резал лицо. Легкое осеннее пальто, к тому же очень поношенное, надетое на девушке, стужа прохватывала насквозь. Серый вязаный платок на голове Наташи был завязан концами назад, по-старушечьи. Но ни мороз, ни вьюга, ни неприглядность одежды своей спутницы не отпугнули Саватеева. Он видел Наташу такою, какой она только что была на сцене. Ему даже не пришло в голову, что девушка может продрогнуть на ветру. Он чувствовал себя как-то очень легко. Молчаливый по натуре, в тот вечер он много говорил, говорил, не стесняясь, о всяких пустяках. Было ему тогда весело и хорошо. Он даже жалел о том, что сам не участвует в клубной работе, что он уже стар для того, чтобы стать комсомольцем. Вспоминая сегодняшнюю репетицию, он, как умел, не ища каких-то особенных выражений, хвалил игру своей спутницы.

И все вокруг было для него в тот вечер таким хорошим, что Саватеев и не заметил, как прошли Порозовку, миновали пустырь и очутились в Коровниках.

Наташа больше молчала. Кажется, она не вымолвила ни одного слова за все время пути. Но вот она остановилась. Напомнив, что сегодня очень холодно, что ей надо скорее быть дома, она простилась и бегом, не оглядываясь, исчезла в снежной мгле улицы.

V

Пустырь, отделявший Коровники от Порозовки, густо зарос крапивой, гигантскими репьями и осотом. На месте его когда-то были огороды. В пятнадцатом году тут построили временные военные склады и бараки. Строили наспех, сколачивая стены из дюймовых досок. Стены скоро поползли в стороны. А в двадцать первом году, занявшись от неизвестной причины, пустовавшие уже тогда постройки сгорели дотла. С тех пор местность, отделявшая Коровники от Порозовки, превратилась в изрытое ямами и канавами, усыпанное обломками кирпича и разного хлама, глухое, дикое место.

По ночам жители Коровников опасались ходить через пустырь в одиночку. Жуткое место словно подстерегало прохожих, пугая их своими шорохами. Работ-

ницы ходили толпами, а если которой приходилось задержаться в Порозовке и идти одной, то она летела через пустырь, как вихрь. Немощеная дорога каждые осень и весну становилась непролазной. В нынешнем году поселковый Совет начал было мостить дорогу, но работы остановились и пока снова все оставалось так, как было.

Донки белых кучевых облаков, золотистыми румяными сайками подгорая с краев, плыли в небе. Нависшее над борами за Коротью солнце, казалось, вот-вот сорвется сейчас, коснется темных вершин бора и, спрятавшись в них, потухнет.

В это время с фабрики возвращалась смена. Дорога на пустыре, точно в лесу, терялась в зарослях пустотравья.

— Ох и молодежь нынче,— притворно возмущаясь, говорила тетя Даша. — Бывало, идем со смены, так нас за десять верст слышно, а жили на воде да на хлебе. Нынешние девчонки, ну как кисель несоленый! При жали хвосты, слова от них не услышишь.

— Да, ну?!— смеялись вокруг.

— Вот вам и ну! Раскисли, матушки!

— Тетя Даша, тебе жалко молодости?

— Жаль?— вопросительно протянула ткачиха.— Чего ее жалеть! Молодость с молоком не хлебают. Тете Даше сорок годов стукнуло, а дай волю — она еще лю бую из вас перепляшет.

После дождя улицы Коровников сверкали лужами и разливами черной грязи. Работницы осторожно про бирались по доскам, набросанным кое-где около домов. Наташа услыхала, как позади нее кто-то сказал:

— Саватеев придирался сегодня, как бешеный.

— Что с ним? Скромный-то какой парень был.

— Был, а теперь не подступись.

— Наташа! — окликнули девушку. — Ты, говорят, виновата?

— В чем?

— Саватеев-то лютует.

— Так я-то при чем?

— Вот тебе раз — при чем. Из-за тебя ведь голову он потерял. Увивался, увивался за тобой, смотрел на тебя, как баран на пшенную кашу, а ты мимо. Признака не подала.

Наташа покраснела. Было неловко, но все же и приятно слышать то, о чем, хотя и в шутку, говорили ей. С тех пор как она познакомилась с Саватеевым, думы о нем не покидали девушку. Она убеждала себя, что ничего не случилось, что ей нет дела до мастера, который иногда, если случалось выходить вместе, шел с нею. Между тем, всякий раз она испытывала какой-то радостный трепет, когда встречалась и говорила с мастером. Замечала она и то, что в разговоре с нею парень смущается, а иногда казалось, что он словно бы избегает ее.

В последнее время на фабрике все чаще и чаще передавали нехорошие слухи о Саватееве. Говорили, будто он связался с Васькой Чурком; каждый вечер их можно застать в пивной на углу Набережной, а ночью пьяные бродят по улицам.

— Страшно мимо пройти,— рассказывали Наташе товарки о ночных похождениях мастера. — С Чуркомто свяжется, так и святой согрешит. Вот он, погляди-ка,— рассказчица показывала в сторону Саватеева.— Видишь, красный весь...

И правда, Саватеев, этот рослый и красивый парень, недавно еще всегда чисто выбритый, застенчиво опускающий глаза при встрече с девушками, теперь сутуло покачивался при ходьбе. Разговаривая с ткачихами, он, хотя, как прежде, и опускал глаза, но теперь это было у него не от застенчивости, а потому что боялся, как бы не увидели в глубине их что-то нехорошее, в чем ему, трезвому, стыдно признаться. И все же, несмотря ни на что, Наташа не осуждала Саватеева. В последнее время они почти не разговаривали. Наташа догадывалась, что Саватеев чувствует себя виноватым перед нею, и это лишь усиливало ее беспокойство. Ночью, ложась спать, она закрывалась с головой одеялом и, притворясь, что уснула, подолгу думала о Саватееве, об его поведении, о том, что ей делать. Кажется, не будь он мастером, а работай, как раньше, у станка, она сама подошла бы к нему и сказала всё, что о нем думает. Но он мастер, как он примет ее откровенность? «Сама навязывается»,— скажет.

Однажды, промаявшись ночь, под утро Наташа заснула. И приснилось ей: стоит она будто бы на зыбком мху где-то посреди гиблого болота, на котором ничего

не растет кроме жидких сосенок и тощей клюквы. Пелена мха при каждом движении девушки колыхалась под ногами, готовая вот-вот прорваться. А вокруг, обрамляя шаткую опору, блестят чистой водой глубокие, словно бездонные озерки. Наташа хотела бежать, но вдруг почувствовала, что ноги ее вязнут. А около — нигде ни души. Девушка вскрикнула от испуга и проснулась.

— Дочка, не спишь что ли?— услыхала она голос матери.

— Нет, не спится, мама,— ответила Наташа.— Сон нехороший я видела, и голова болит... Тяжелая, как налитая.

— То-то, голова, — заворочалась и заворчала мать.— Всегда вот так-то в твои-то годы. Смотри, как бы вместо головы другое что не наболело.

VI

С той памятной ночи, когда Саватеев, поддавшись уговорам Федышина, зашел в пивную, он словно переродился. Едва наступал вечер, как его неудержимо влекло в затянутое дымным туманом махорочного дыма помещение на углу Набережной. Идя туда, он опасливо озирался по сторонам, стараясь не попадаться на глаза встречным прохожим. Очутясь среди пьяных людей, он опускался в омут какой-то бесшабашности и пил, стараясь заглушить все, что мучило и терзало за день.

Сегодня Чурок опоздал; он пришел позже, когда Саватеев стоял перед прилавком буфета и, размахивая руками, кричал:

— П-почему нельзя подавать? Мне? Знаешь, кто я?..

Чурок, подойдя к нему, взял его под руку, подвел к столику, стоявшему в углу, усадил на стул и сказал.

— Сейчас мы все утрясем, Иван Степанович.— Подозвав полового, он приказал:

— Неси, Митька, полдюжины!

Половой усмехнулся, выслушав требование Чурка.

— Вам можно, пожалуйста, хоть дюжину! Вы трезвый.

Чурок подвинул стул ближе к Саватееву и, пока ожидали пиво, говорил ему:

— Напрасно ты, Ваня, шумел тут. Зачем? У них свои правила, а нам на ихние правила наплевать! Мы с тобой сегодня так кутнем, что после душе жарко будет.

Из пивной они выбрались поздней ночью, когда их «вежливо» попросили освободить заведение. Чурок повел Саватеева глухими переулками. Они долго кружились в темноте, пока не очутились перед калиткой покосившегося домишки, на окраине поселка.

Чурок постучал в окно. Послышалась суетня, скрипнули половицы.

— Кто там?— прошамкал старушечий голос.

— Это я...

— Да кто ты-то? Сказывай!

— Я... Чурок. Не узнала, бабка?

— Не признала, Вася,— послышалось за калиткой.— Совсем не признала.— Да это с кем ты? Незнакомый будто?

— Ничего, Антиповна. Это дружок-приятель мой. Посидим у тебя, вот и познакомишься.

Гости вошли в комнату.

— Садись, Ваня! У бабки Антипихи будь как дома!— по-хозяйски распоряжался Чурок.— Сейчас она настоечкой собственной фабрики нас угостит.

— Какая тебе настоечка у меня, Вася,— притворно рассердилась старуха.— Шинкарка я что ли?

— Ну, ну, Антиповна, не ломайся!

Поломавшись, Антипиха сдалась. Она сходила в чуланчик и принесла бутылку «вишневой настойки», как она называла мутную, чуть подкрашенную, пахнущую крепкой сивухой жидкость. Поставив на стол настойку и стаканчики, она сообщила:

— Последняя, Вася. К именинам своим берегла, да уж ладно, отдам для хороших гостей. Кушайте на здоровье!

Выпили. После третьего стакана Саватеев размяк.

— Эх, Ваня,— воскликнул Чурок,— не научился ты пить. Крепка настоечка-то! А спать здесь не годится, развеселить тебя надо. Антиповна,— крикнул он кряхтевшей за перегородкой хозяйке.— Фенька где?

— Где же ей быть — дома. Спит.

— Разбуди и пошли сюда! Скажи — мастер, Иван Степанович Саватеев просит... Понимаешь?

— Сейчас... Разбужу. Ох, осподи!

На следующий день, как в тумане, Саватееву вспоминались обрывки вчерашнего вечера у Антипихи. Пили «настойку». Потом шумел и на что-то ругался Чурок. Ласкалась опьяневшая Фенька... А что потом было? Смутно-смутно помнится, будто бы он изорвал на Феньке платье, лежал с ней рядом. Она смеялась, а он целовал ее смеющийся рот. Она даже не отбивалась от него. Потом, когда Чурок ее ударил, Фенька сидела в углу и плакала, кутая в Антипихин полушалок голые плечи.

Саватеев не пошел на фабрику. На душе у него было мутно. Все тело ныло, как после побоев. Голова от налившейся в нее тяжести, казалось, еле-еле держалась на плечах.

VII

Фабком организовал «вылазку» на «Княжий двор». На высоком берегу Короти, километрах в пяти от фабрики, в старом сосновом бору находились развалины старого городища. Живописные окрестности городища привлекали туда экскурсантов.

Нагруженные узелками и баульчиками участники «вылазки» собирались на площади, перед воротами фабрики. Солнечный день звенел молодым смехом. Баянист Степа Коняев, слесарь из инструментального, неповоротливый, напоминающий тюленя, сидел на чугунной тумбочке около въезда в ворота и перебирал лады своего «туляка». Около него образовался круг, в середине которого «откалывал русского» Алеша Солнцев.

— На фабрике бы тебе так-то,— смеясь, сказала Дуня, когда Солнцев, вытирая пот, отошел в сторону.— А то, как ни увижу тебя, всегда-то наш Алеша в курилке.

Солнцев озорно прищурил глаза. Он повернулся и вдруг звонко шлепнул Дуню ладонью по лопаткам.

— Не ленись, ударница!

День стоял теплый и ясный. Из-за фабричной стены доносился грохот ткацкого корпуса. Работала первая смена. Фабрика жила своей непрерывной гремучей

жизнью. Не останавливаясь, шумели шкивы и трансмиссии, щелкали челноки, ловко увертываясь от грохочущих берд.

Саватеев сегодня отдыхал. Утром он взял было книгу, но читать не мог. Мысли прыгали, вертелись, колотились увертливым челноком. Вспомнился недавний вечер у Антипихи, и вдруг вместо Феньки ему померещилась Наташа. Девушка смотрела на него строгим и в то же время изумленным взглядом.

Потянуло на улицу. Саватеев быстро оделся и вышел.

Было рано и, казалось, идти некуда. Над крышами домишек поселка, сверля безоблачную синеву, ныряли ласточки. В палисаднике цвела акация. К желтому цветку на кончике ветки присосался золотистый шмель. Он быстро перебирал лапками, стараясь глубже вонзить хоботок в сердце цветка. Саватеев встряхнул ветку. Почуяв опасность, шмель настороженно приподнял брюшко и, распустив крылышки, полетел.

Под обрывом у Набережной, на пришвартованных к берегу дровяных плотах, расположились удильщики. Они внимательно следили за замершими на воде поплавками. Саватеев постоял на краю дамбы. Когда-то, в детстве, он страстно любил так же вот сидеть у реки с удочками. И сейчас ему захотелось спуститься на плот, забыть преследующие его мрачные мысли, терпеливо выжидать и ловить взглядом легкое култыхание поплавка. Он уже собрался сойти вниз, но в это время на Набережной, со стороны фабрики показалась пестрая толпа. Саватеев сел на край дамбы. Когда участники «вылазки» скрылись за поворотом улицы, позади Саватеева неожиданно прозвучал звонкий голос:

— Иван Степанович, что же вы в одиночестве?.. Пойдемте с нами!

— Дуня?!

Он быстро вскочил. Дуня, отстав от товарищей и теперь догоняя их, немного запыхалась. В глазах Саватеева рябило голубое холстинковое платье девушки. Оно плотно облегало ее фигуру. Дуня пристально, с каким-то задорным вызовом смотрела в лицо Саватеева.

— Куда пошли ребята? — стараясь казаться равнодушным, спросил Саватеев.

— На «Княжий двор», — ответила Дуня и почему-то засмеялась. Ей сейчас было так весело, что она без смеха не смогла бы сказать ни одного слова. — Пойдемте' Скорей, ну!

Догнав экскурсантов, Саватеев увидел Наташу. Ему показалось, что девушка чем-то встревожена. Она держалась в стороне и, как всегда в последние дни, не приближалась к нему. И оттого ли, что прошло первое возбуждение, вызванное быстрой ходьбой, веселым смехом Дуни, или его обидело неприветливое отношение Наташи, но настроение испортилось. Саватеев даже пожалел о том, что согласился с Дуней и вместе с нею пошел сюда.

Поднявшись на холм у старого городища, участники «вылазки» сделали привал.

Старая сосна, рассевшаяся двумя седловатыми раструбами, накренилась над обрывом Короти. Алеша Солнцев взобравшись на нее, любовался с высоты живописным видом, раскрывшимся перед ним. Противоположный низменный берег реки зарос мелким кустарником; немного дальше виднелась, словно нарочно посаженная тут, березовая рощица. Сквозь играющее на солнце зеленое пламя ее просвечивали белые руки деревьев. За рощей простиралась волнующаяся от ветерка, спокойная ширь поля, за которым темнели, прячась в лиловой дымке, избы деревни. Но спокойное созерцание было не в характере Солнцева. Не даром про него говорили, что он ни минуты не может посидеть спокойно. Вот и сейчас его внезапно осенила интересная мысль. Спускаясь, он крикнул:

— Товарищи! Кто есть желающие?.. Предлагаю играть в горелки или по-нашему, по-порозовски, в «задние колеса». Кто желает, становись в пары!

Он спрыгнул вниз. Чтобы найти хоть какой-либо выход своей удали, перевернулся через голову и принялся тормошить девушек:

— Девчата! Что же вы? Стыдно! Расселись на травке, как купчихи...

Несколько в стороне от молодежи, в группе более солидных рабочих сидел Комарков. Пригнув к себе сосновую ветку, он обрывал с нее мягкие смолистые иглы и говорил:

— Неблагополучно получилось у нас с выдвиже-

нием рабочих на ответственные посты, товарищи. Я всегда говорю...

— Ты про кого, Василий Корнеевич? — перебили его.— Выдвиженцы у нас хорошие ребята, хотя бы вот Иванов... Чем плох?

— Что Иванов! — Комарков уставился взглядом на говорившего. — Иванов хорош, да нельзя же им все дыры затыкать. Иванов на месте, я других имею в виду.

— Ну и говори, кого имеешь!

— А хотя бы Саватеева, — Комарков оглянулся вокруг и добавил тише: — Выдвинули мы парня, надеялись на него, а он... Что поделаешь, голова закружилась. Свихнулся.

Сидевший рядом с Комарковым пожилой рабочий вынул изо рта трубку, которой дымил, погладил пальцами кончики усов и сказал:

— Мало ли что про кого говорят, Василий Корнеевич! Саватеев — парень молодой, живет один, холостой... Ну, погулял маленько, так с кем этого не бывает? А работник он неплохой, но вот в руки его взять надо.

— Попробуй, возьми!

— Возьмем. Фабком не сможет, на бюро партийной ячейки молодца вызовем... Подберем к нему ключик. Не может быть, чтобы не почувствовал. Рабочая-то косточка в нем есть.

— Он же беспартийный, товарищ Макаров, бюро не станет им заниматься, — сказал Комарков.

— Ну и что из того, что беспартийный! Парень, можно сказать, вырос на фабрике, гражданскую войну прошел, говорят, неплохо воевал за советскую власть; после на фабрике — все знаем — хорошо он работал. Такого паренька, как Саватеев, можно исправить. Стыдно будет, если не сумеем этого сделать.

— Разложился он, — не сдавался Комарков.

— Заладил одно — разложился... А хорошо ты его прощупал? Так-то, знаешь, махнешь с плеча, ну и загубить человека можно.

... Алеша Солнцев расшевелил молодежь. На окруженной соснами поляне, вытягиваясь гуськом, становились пары. Солнцев встал впереди и крикнул:

— Задние колеса катитесь, передние остановитесь! Раз, два, три!..

Готовый сорваться с места, он отставил ногу и немного пригнулся. Задняя пара разорвалась, выбежала вперед, обогнув выстроившихся впереди; прежде чем эта пара соединится вновь, Солнцев должен настичь девушку, перехватить ее. И тогда он встанет с нею в передний ряд, а парень, потерявший девушку, выйдет наперед, крикнет, как только что кричал Алеша, и попытается составить новую пару.

Бежали Наташа и Степа Коняев. Солнцев пустился наперерез Наташе. Она, избегая его и не желая уступить в скорости бега, все дальше и дальше описывала дугу, приближаясь к самой опушке. Лицо Наташи раскраснелось, платок, покрывавший ее волосы, слетел на землю. Степа отстал. Наташа бежала подобрав платье, изредка поднимая руку, чтобы откинуть растрепавшиеся и падавшие на лицо волосы. Но Солнцев настигал. Еще миг, и он, раскинув руки, схватил ее за талию. Некоторое время они стояли так, словно бы обнявшись, прижавшись друг к другу.

Саватеев не принимал участия в игре. Он следил за Наташей. Когда Солнцев догнал ее и обхватил руками за талию, Саватееву показалось, что этой минуте не будет конца.

«Нарочно поддалась, — с горечью подумал он. — Нарочно. Так вот кому она вешается на шею, а я, как дурак, хожу и издали смотрю на нее. Не то что притронуться — слово боюсь сказать. Знаю теперь, что делать, а то чуть с ума не спятил из-за девчонки. А чем она лучше других? Да и не люблю я ее вовсе! Дуня... Это вот девушка! Эта не позволила бы обнимать себя при всех...»

Саватеев переживал такое чувство, словно ему нанесли неожиданную и самую жестокую обиду. Не хотелось ни с кем говорить, не хотелось никого видеть. Он встал и углубился в лес. Продираясь сквозь чащу выбрался к какому-то оврагу, спустился в него. Внизу, у поблескивавшего сквозь нависшую зелень кустов ивы, черемухи и ольшаника прозрачного ручейка, было свежее. Солнечные лучи не проникали сюда. Поднявшись по крутому склону на другой берег, Саватеев попал в густые заросли орешника. Преодолев их, он очутился в старом сосновом бору. Выбрав полянку, опустился на мягкий мох.

Воздух здесь полон душистой смоли. Откуда-то издалека доносился стук дятла, куковала кукушка. Саватеев пытался разобраться в своих чувствах, но чем больше он думал, тем острее поднималось в нем недовольство собой, недовольство всем окружающим. Ему казалось, что все, что делал он, было ошибкой, никому не нужной... Да и кому сам-то он нужен?

Над головой гудели сосны. Стройные стволы их высоко поднимали зеленые шапки: все здесь дышало величием и могучим простором.

Тишину леса нарушили голоса под обрывом, у реки. Уставшие после игры ребята шли купаться. Кто-то пел «Комсомолочку». Голос певца то звучал громче, то замирал, теряясь в шуме сосен.

За кустами орешника, неподалеку от Саватеева, послышался шорох. Чье-то светлое платье мелькнуло сквозь зелень. Потом некоторое время было тихо, но вот снова, будто ломающиеся льдинки, хрустнули сухие веточки.

— Иван Степанович! А я уж думала, вы сбежали домой.

Цепляясь платьем за кустарник, Дуня вышла на открытое место и остановилась против Саватеева.

— Чего же вы в одиночестве?

— А с кем мне быть? — спросил он в свою очередь и замолчал, не зная, что еще сказать?

Разговор не клеился. Саватеев снял с рукава рубахи зеленую гусеницу, положил ее на ладонь и, словно бы любуясь ею, следил за движением нежного изгибающегося тельца. Как всегда, оставаясь наедине с девушками, он мучился от своего неумения говорить. На пути сюда Дуня сорвала несколько веточек спелой земляники и теперь, поднимая их к влажным губам, медленно скусывала красные ягоды.

— Пойдемте к нашим, Иван Степанович, — позвала она.— Ну! Вставайте!— протянула ему руку.

Голоса ребят, купающихся под обрывом, за соснами, вдруг удалились куда-то, затих и гул сосен. Голубое холстинковое платье Дуни заслонило собою все. Девушка попыталась отнять руку, но Саватеев, не отпуская, крепче сжал ее.

— Пошли! Нас будут искать, — прошептала Дуня

Они стояли так близко друг к другу, что Саватеев

чувствовал упругую теплоту груди девушки, волосы ее щекотали ему лицо. И точно испугавшись этой близости, Дуня закрыла глаза. Когда Саватеев обнял ее, она вся подалась вперед, ближе к нему, обвила руками его шею. Полуоткрытые влажные губы девушки хранили на себе темно-красный густой сок пьяной земляники.

Вокруг пахло сосновой смолью и мягким лесным мхом.

VIII

Саватеев зашел в фабком, чтобы поговорить о новых нормах выработки, которые обсуждались общественностью фабрики. В фабкоме он застал Комаркова. Размахивая длинными, похожими на крылья ветряка, руками, он, стоя, разговаривал с находившимися тут же двумя рабочими.

— Мы, товарищи, немедленно обсудим ваше предложение, — услыхал Саватеев его голос. — Будьте спокойны! Приспособление к челноку изобрели ребята, — вместо приветствия, он повернулся и сказал Саватееву, когда тот подошел к столу. — Обсудим, проверим, и если то, что вы сделали, заслуживает внимания — дело ваше утрясем.

— Мы, товарищ Комарков, представляли наше предложение в техническую часть, но никакого толку не добились. Там забраковали.

— Понимаю. Бюрократы, не желают прислушаться к голосу рабочих, — возмущенно выкрикнул Комарков. — Все это я знаю, дорогие товарищи. Но не в том дело. Вам надо было свое предложение сразу передать в фабком или доложить его на производственном совещании. Правильно я говорю, товарищ Саватеев? — Комарков снова обратился к мастеру и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Идите, товарищи, вашему предложению мы дадим ход.

Рабочие вышли. Комарков на некоторое время словно бы забыл о Саватееве; он перебирал бумаги, лежавшие перед ним.

— Товарищ Саватеев, — захлопнув папку и отложив ее, наконец, произнес он. — Слушки-то про тебя все еще нехорошие идут. Говорят... — он передохнул

и пристально посмотрел в лицо мастеру. — Надеюсь, ты понимаешь, о чем я?..

— Нет, — передернул плечами Саватеев. — Откуда мне знать?

— Дело сурьезное, насчет твоей пьянки и прочее.

— Ну и что же? Разве только за мной этот грешок?

— Может быть, но до других нам сейчас нет дела, — внушительно, усаживаясь на свое место, произнес Комарков. — Другие сами за себя ответят, а о твоем деле уже говорили на партбюро. Ты — мастер, выдвиженец, герой гражданской войны, тебе, Иван Степанович, непростительно. То, что ты пьянствуешь и нехорошо ведешь себя, это вредительство с твоей стороны и подрыв производства.

— Зачем громкие слова, Василий Корнеевич! Причем тут вредительство? И почему другим, которые ведут себя, может быть, не лучше, чем я, ты ничего не говоришь? Придираешься ты ко мне.

Спохватясь, что он может наговорить Комаркову более неприятных слов, Саватеев повернулся и хотел уйти, но Комарков задержал.

— Постой, Иван Степанович, надо тебе еще сказать... Предупредить тебя. Что ты пьешь — ладно, твое дело, черт с тобой, но зачем ты вскружил голову Рагозиной? Это дело ты брось! Не трогай ее!

— А тебе она что? Сестра что ли? — спросил Саватеев.

— Не сестра, а, может, больше сестры. За нее я...

— Что сделаешь?

— Ничего не пощажу, понимаешь это? — угрожающе выкрикнул Комарков. — Не отдам.

Саватеев посмотрел на него и, странно, вдруг почувствовал какое-то удовлетворение оттого, что вызвал гнев Комаркова и заставил его высказаться откровенно. После того, что случилось в сосновом бору на берегу Короти, он не встречался с Дуней и избегал этих встреч. То, что Дуня пришла к нему, а он не смог удержать себя, воспоминание об этом, казалось теперь, навсегда отдалило его от Наташи. И чего ждать, если она любит Алешу Солнцева. Этого Саватеев раньше не предполагал. Как странно все же: почему девушка, которую любишь, не хочет слова сказать; встретится — пройдет мимо, словно не видя, опустив глаза.

— Я никому не навязываюсь, головы никому не кружил и не собираюсь кружить, — сказал он Комаркову. — Дуня Рагозина мне такая же родня, как и все девушки на фабрике.

Нахлобучив на лоб фуражку, Саватеев, выходя, так плотно прикрыл за собою дверь, как будто опасался, что Комарков не отстанет, побежит за ним.

IX

Иванов пережил крупную неприятность. У него рожала жена, а в прядильном цехе во время работы ночной смены вышел из строя новый, только что установленный банкаброш. Машина привезена из Германии. Во время пробного пуска и в первые недели работы она шла без перебоев, но вот сегодня...

В пять часов утра Иванову позвонили с фабрики.

— Товарищ Иванов, несчастье... — прошипело в телефонной трубке и оборвалось.

— Что, что? — крикнул Иванов, но в ответ трубка хрипела и трещала, слов разобрать нельзя. Иванов позвонил сам, но аппарат должно быть испортился. Рассердясь, Иванов с силой бросил трубку и схватился за голову.

Из-за двери в соседнюю комнату доносились крики и стоны страдающей жены, они перемежались с ровной воркотней акушерки, успокаивающей роженицу. Иванов подозревал, что роды идут неблагополучно... На фабрике, видимо, тоже что-то случилось. Не придумав ничего лучшего, Иванов выбежал из комнаты, накинул кое-как на плечи пальто и, забыв запереть дверь, помчался на фабрику.

Около умолкшей машины, окруженный работницами, хлопотал молодой сменный инженер. Не слушая объяснений, которые пытался делать инженер, Иванов накричал на него, обвинил в том, что если ничего не понимает в машинах, то нечего и оставаться одному в смене. «Почему вы не поставили в известность главного инженера, что работать не можете?» — спрашивал он. Но упрекая инженера, Иванов знал, что упреков его молодой специалист не заслуживает, что не виноват он в аварии, но никак не мог остановить себя.

— Зайдите ко мне — поговорим! — сказал он в заключение.

После этого, выйдя из цеха, Иванов попытался позвонить домой, но телефон все еще не работал. И роды жены, и авария в цеху — все это так цепко переплелось в какой-то колючий клубок, что казалось, нет из создавшегося положения никакого выхода.

Через некоторое время сменный инженер зашел к нему.

— Вы сами знаете, товарищ директор, — сказал он, объясняя причину аварии, — что положение у нас трудное. Всего лишь месяц назад мы поставили к станкам полторы сотни новых и, прямо скажу, очень слабо подготовленных рабочих. Люди еще не освоились с делом. Я могу заверить, что в сегодняшней аварии нет ничьей злой воли. Что бо́льшая доля вины падает на меня — тоже верно; я не сумел осуществить надлежащий инженерный надзор. Но сами понимаете, как это трудно при наших условиях. Сегодняшняя авария мне показала...

Первая вспышка раздражения свалившимися на него незадачами у Иванова прошла. Когда он шел на фабрику, то ему казалось — выбыл из строя и надолго весь прядильный цех. Растерянные лица инженера и всех, кто был около машины, умолкший визг веретен поразили его. А тут еще неотступная мысль сверлила мозг: а что сейчас происходит дома?.. Прошло немногим больше часа. Оказалось, что авария незначительная; повреждение уже исправлено и машина пущена.

В конце речи инженера затрещал телефон. Иванов взял трубку. Теперь он ясно расслышал голос акушерки. Она сообщила, что роды прошли хорошо и поздравила его с сыном.

Он положил трубку. Улыбка на его лице, никак не вязалась с тем, что говорил ему инженер. А Иванов будто сейчас лишь вспомнил о том, что он не один, что его собеседник волнуется, пытаясь объяснить положение в цехе. Иванов постарался было напустить на себя серьезность, но у него ничего не получилось. И когда инженер замолчал, ожидая, что скажет директор, Иванов взглянул на него и, вместо ответа по существу, совершенно неожиданно пробормотал виноватым тоном:

— Знаете, какое дело, у меня только что вот сейчас сын родился; звонила акушерка, поздравила.

Лицо инженера удивленно вытянулось.

— Вот как, — растерянно произнес он. — В самом деле неожиданное событие.

— Да, да, верно, событие. Вы извините меня!

X

За окном голубел рассвет. Время идти на фабрику. Саватеев встал, потянулся, разминая одрябшие члены, оделся и вышел на улицу. В утренних сумерках окна фабричных корпусов ярко пылали молочным светом электрических ламп. Доносившийся грохот ткацкой напоминал отдаленный гром орудийной канонады. Станки работали, как живые чудовища — ритмично и четко Между ними сновали работницы. Работали — каждая — на шесть станков. При входе в ярко освещенный зал цеха, сначала поражало взгляд грохочущее безлюдие. Синие халаты ткачей и ткачих неприметно терялись. Казалось, что тут нечего и делать людям.

Каждый раз, входя сюда, Саватеев испытывал неловкость и в то же время им овладевало чувство какого-то приятного человеческого торжества. Согласованность каждого процесса, ритм грохочущего водоворота направлялись разумной волей.

В грохоте ткацкой люди говорили широко открывая рты, полуоглохшие, пригибаясь друг к другу.

— Иван Степанович, можно вас...

Саватеев стоял в проходе, образовавшемся между стеной и кипами суровья. К нему подошел недавно прибывший на фабрику техник-практикант.

— Вам что?— спросил Саватеев.

— Мне бы... Поговорите с директором, Иван Степанович! Полторы недели живу на фабрике, а до сих пор не видел как следует производства, сижу в конторе.

— Вам надо обратиться к главному инженеру. Это его дело,— ответил Саватеев и тут же подумал: «Тоже специалист! Посидел год над книжкой и воображает...»

Саватеев, как и все мастера, испытывал неприязненное чувство к практикантам, отбывающим на фабрике учебную практику. Практикантов здесь почему-то называли «цветочными инженерами». Установилось

огульное подозрение, что они являются на производство затем лишь, чтобы заполучить бумажку о прохождении практики, а интересы производства, предполагалось, им не доступны. Практикантам никогда не доверяли серьезного дела. К станкам их тоже не посылали. В глазах технического персонала и администрации, да и большей части рабочих, практиканты — это нахлебники, которых приходится терпеть по нужде.

— Вы, может быть, замолвите за меня. Я очень хочу понять производство, товарищ Саватеев,— не отступался практикант.

— Я уже сказал вам, что не могу,— оборвал Саватеев паренька, рассердясь на его назойливость.— Это не мое дело, и меня никто не послушает.

Он повернулся и отошел. Не ожидавший подобного невнимания к себе от молодого мастера практикант безнадежно посмотрел ему вслед.

Очутившись среди станков, Саватеев прищурил от яркого света глаза. Продвигаясь по проходу, он увидел Наташу. Девушка возилась около молчавшего станка, видимо, исправляя какое-то повреждение. Саватеев приблизился к ней. Наташа как будто смутилась, лицо ее вспыхнуло. Саватеев вспомнил, что сегодня видел ее во сне. Ему захотелось сказать что-нибудь девушке, и пусть она думает что хочет; пусть даже передаст то, что он скажет Солнцеву,— все равно.

— Иван Степанович!— обратилась к нему девушка.— У меня третий номер хлопает, уток рвет...

— А-а... Сейчас!

Он подошел к умолкшему станку, молча исправил ослабевшие шпинделя, проверил ход челнока и пустил. Станок задрожал привычным трескучим ритмом. Наблюдая за его работой, Саватеев стоял рядом с Наташей. В груди его, как звонкая песнь, звучала радость от ее близости. Он забыл все, о чем только что хотел говорить, даже боялся взглянуть на нее. Но стоять молча неудобно, а у Саватеева не было сил двинуться с места. Кое-кто из ткачих уже оглядывался в их сторону.

— Мне надо поговорить с вами, Наташа,— вымолвил он.— Очень надо... Я прошу... После смены буду ждать на бульваре.

Он видел, как у Наташи поднялись брови. «Не при-

дет, струсит и не придет»,— промелькнула мысль. И оттого что Наташа молча смотрела на него, он еще больше смутился; засунул зачем-то руки в карманы пиджака, но сразу же вытащил их. Он готов был повернуться и отойти, чтобы не слышать ответа, но в это время Наташа сказала:

— Хорошо, я приду...

XI

Перед тем как идти на бульвар, Саватеев зашел в пивную на углу Набережной и выпил пива. Сначала он думал, что выпьет кружку «для смелости», даже не собирался садиться за столик. Но выпив одну, он ничего не почувствовал, поэтому спросил еще. Когда вышел на улицу, голова у него кружилась. На Набережной он спустился вниз, под откос, и присел на бревенчатый выступ дамбы. «Если придет, что сказать ей?» Наташу он считал совсем не похожей на других девушек, с ней нельзя держать себя так, как с другими. С ней нужно говорить как-то по-особенному тепло и красиво. Саватеев, пожалуй, был бы даже рад тому, если бы девушка закапризничала и не пришла.

Из ворот фабрики выходили запоздавшие работницы, они торопливо перебегали площадь и исчезали в темных щелях переулков поселка. А Наташи все не было.

«Не придет!»

Саватеев вытягивал шею, всматриваясь издали под арку ворот. С каждой минутой беспокойство его усиливалось. Может быть, Наташа прошла мимо, замешавшись в толпе работниц, а он не заметил ее? Саватеев сердился на себя за свою неловкость, за то, что не сдержал себя и первым заговорил с девушкой. Если б у нее не остановился станок и она не стояла бы близко, рядом с ним, он даже и не подумал бы о свидании с нею. Саватеев посмотрел на реку. Вечером вода в ней выглядела темной и сама река поэтому казалась бездонной. Стоявшие недавно у берега пригнанные сюда плоты дров исчезли. Дрова выгрузили. На песчаной отмели, дальше, за откосом, темнеют длинные штабеля поленниц.

Саватеев поднялся наверх, собираясь уходить, ког-

да из ворот показалась Наташа. Она перешла площадь; увидев ожидавшего ее Саватеева, подошла к нему и сказала:

— Я... Задержалась немного.

Они пошли рядом. Здесь, вдоль берега реки, по дамбе, отбрасывая ломкие тени, стояли полузасохшие березы и тополи. Это и был бульвар. Деревья посажены еще при деде последнего фабриканта Порозова, когда на месте теперешней мануфактуры, сверкающей огнями трех пятиэтажных корпусов с многочисленными надстройками, складами, собственной железнодорожной веткой, стояла прядильная фабричка, на пять тысяч веретен. На бульваре, кое-где между старых деревьев, торчали тонкие стебельки молодых липок. Липки уже не один год подсаживали здесь каждую весну, справляя праздник древонасаждения. Делалось это торжественно. На посадку выходили с красными флагами, произносились речи. Но после праздника липки неизменно почти полностью погибали, обглоданные козами.

— Наташа, вы совершенно не знаете меня,— говорил Саватеев девушке.— Про меня на фабрике ходят разные сплетни, и такой-то я, и этакий... Я не оправдываюсь, не все хорошо в том, как я живу, но много говорят лишнего. Я вырос на фабрике, потом в годы гражданской войны был в Красной Армии. После войны снова вернулся сюда. У меня нет друзей, которым можно было бы доверить свою душу. Когда-то дружили мы с Ивановым, но... Я остался беспартийным, а Иванов — наш теперешний директор. Мы здороваемся, разговариваем, но прежней дружбы не стало. Я хочу личного счастья, а его-то никогда и не знал. Когда я был рядовым рабочим, то чувствовал себя во много раз лучше, чем теперь, став мастером. Выдвинули меня и все смотрят так, как будто я должен сделать что то особенное, а я не могу.

Наташа шла, опустив голову. Ей хотелось сказать Саватееву, что он неправ, когда говорит об одиночестве. Просто выбился человек из колеи и не знает теперь, как быть.

— Вы сами наговариваете на себя,— воспользовавшись тем, что Саватеев замолчал, сказала она.

— Нет, я говорю то, что думаю. Одинокий я чело

век и всегда чувствую это. На меня смотрят, как на мастера, даже вы...

— Я?!

— Да, и вы. Разве не так? Вы избегаете меня, а ведь мне казалось...

Они прошли Порозовку. На пустыре, в сгустившемся вечернем тумане темнели кусты крапивы. Стало прохладно.

Показался мостик, перекинутый через пересохший овраг. Днем сюда бегали ребятишки. Они рыли в склонах оврага пещерки, жгли костры. У моста отщеплялась от дороги узенькая тропинка, которая терялась в зарослях. Она шла через кочкарники высохшего болота: по ней в сухую пору ходили работницы, сокращая путь в дальние, откинувшиеся от реки переулки Коровников.

На мосту Саватеев остановился. Он достал папиросу и, закурив, оперся локтями о перила.

— Вы не пойдете дальше, Иван Степанович?— спросила Наташа, удивленная тем, что Саватеев остановился здесь. Он ведь еще ничего не сказал ей.

В обступившей их мгле Саватееву показалось, что лицо Наташи побледнело.

— Куда вы торопитесь?

— Мне домой пора.

— Что же... Вы боитесь меня?

— Вас?! Чего мне бояться?

Они свернули на тропинку. Кусты высокой крапивы и репейников скрыли их.

— Я хочу спросить вас, Наташа,— начал Саватеев, придвигаясь ближе к девушке и наклоняясь к ней.— За что вы сердитесь?

— Нет, на что мне сердиться? Ведь вам неинтересно со мной, другие есть, лучше.

— Неправда. Я бывал с другими, но потому лишь, что мне казалось... Казалось, что у вас есть человек, которого вы любите.

— Шутите вы, Иван Степанович.

— Разве не так?

Где-то, далеко за Коротью, прокричала сова. Крик ее, похожий на голос плачущего ребенка, отдался эхом в вечерней тишине. Наташа испуганно вздрогнула.

Заметив, что девушка дрожит от испуга, Саватеев,

как бы защищая ее от опасности, тихонько обнял и ласково произнес: — Наташа!

Она не ответила, но не отошла. Вдруг почувствовала на своей щеке горячее дыхание парня, близко от себя увидела его широко открытые глаза.

— Наташа, Наташенька! Милая!— шептал он.— Ведь я люблю тебя...

Он так сильно сжал девушку, что она невольно простонала от боли. Попыталась освободиться от его рук.

— Пустите! Не надо!

— Зачем? Никуда я не пущу. Ты любишь Солнцева, я знаю... Пусть! Теперь ты со мной...

Руки Саватеева налились, стали тяжелыми, как чугунные гири. Не выдержав их тяжести, девушка все ниже и ниже клонилась к земле. Холодная от росы рука Саватеева скользнула по ее колену.

— Ваня!.. Иван Степанович! Пусти! Как не стыдно!..

— Наташа, милая... Я люблю тебя, понимаешь, люблю. Никому тебя не отдам. Завтра же мы распишемся... Наташенька!

Наташа обессилела. Ужас сковал ее. Вокруг на пустыре темно и безлюдно. Если бы она крикнула, голоса ее все равно никто не услышит. Ах, зачем она поверила ему и пошла с ним? И то чувство, которое она таила в себе, все, что она раньше думала о Саватееве — исчезло. Сейчас она его ненавидела. Ей казалось, что он способен задушить ее своими поцелуями. В эту минуту ей был противен и он, и кислый запах пива, который шел от него, и все, все...

— Уйди! Как ты можешь? Ой, какой же ты подлец!

— Молчи!— задыхаясь, прошептал Саватеев.— Молчи! Ты мне еще милее, когда вот такая... Злая. Все равно нас никто не увидит...

...Ночка темная
д'я боюся,
проводи меня
д'ты, Маруся!—

Кто-то запел на тропе от Коровников, приближаясь к мосту. Саватеев на минуту замер, потом быстро вскочил, послушал и скрылся в высоких зарослях.

Наташа поднялась, поправила разорванное платье.

— Трус!— повторяла она дрожащим от волнения голосом. Она больше не плакала. Сейчас она даже забыла о том, что бы с ней мог сделать Саватеев, если бы не помешал кто-то, оказавшийся в этот час на тропе. Было противно и гадко вспоминать грязную попытку Саватеева. И как она могла раньше любить его?

— Здравствуйте, барышня! Что это вы в одиночестве, без кавалера на пустыре прогуливаетесь? Разрешите проводить?

В подошедшем парне Наташа узнала Василия Чурка. Он лихо сдвинул на затылок кепку и добавил:

— Да вы не бойтесь, я не укушу, а с такой красивой барышней, как вы, мне интересно пройтись.

Наташа дрожала, но испугалась она не того, что встретила Чурка, а, подумав, что он, может быть, видел то, что сейчас здесь происходило. Если так, то завтра узнает о том вся Порозовка. Наташе хотелось сказать, заверить Чурка, что Саватеев ей ничего не сделал, что он просто-напросто трус — убежал, оставив ее одну на пустыре. Но вместо этого промолвила:

— Мне пора домой, Вася.

— Не нужно кавалера? А я ведь не знал, что вы спесивая. Ну, ничего, после погуляем.

Шутливый тон Чурка и то, что он трезвый, успокоили Наташу; она даже рассмеялась.

— У тебя свои есть, куда уж мне!

— Ничего, я подожду, когда сама позовешь,— продолжал Чурок. Но вдруг лицо его стало серьезным.— Завтра становлюсь на работу, Наташенька,—заявил он.— Будет, погулял. Встретил давеча нашего Иванова, остановил он меня и говорит: «Чего же ты, сукин кот, квалифицированный ткач, а баклуши бьешь, не идешь на фабрику? Мы, говорит, новичков обучаем, а тебе как будто и дела ни до чего нет». Ну и не выдержал я — согласился. Приду вот в ваш цех да и встану рядом с тобой к станку — не рассердишься?

— Нет.

— Договорились, но уж ты слова своего не меняй!

Чурок помахал ей на прощание рукой и, отправляясь дальше, снова запел:

...Ой, девчоночки, д'ой, беда —
рубашоночка худа,
изорваные, д'ой, бока —
ухожу из кабака...

XII

Взлохмаченный, с опухшим лицом, Саватеев сидел в своей комнате. После вчерашнего кутежа голова его, казалось, была наполнена ржавым железным ломом; при каждом движении в ней что-то стучало и скрипело.

Прогудел фабричный гудок.

— К черту, не пойду!— выругался он и, не раздеваясь, вытянулся на кровати.

Он кутил всю неделю, но ни разу за все это время не встретил Чурка. Кто-то сказал ему, что Чурок бросил пить и работает на фабрике. Это рассердило Саватеева. «Выслуживается корявый черт, сапоги лижет начальству»,— думал он.

Саватеев, пожалуй, и пошел бы на фабрику, но после того, что случилось на пустыре, он боялся встречи с Наташей; совестно было смотреть в глаза людям. Все время представлялось, что о поступке его знают все на фабрике. Саватеев ругал себя, считал погибшим и покинутым всеми. Захваченный своими думами, он не слыхал, как в комнату кто-то вошел.

— Здравствуй, Ваня! Говорят, болеешь ты?..

Узнав голос Иванова, Саватеев вскочил.

— Павел Андреевич!— пробормотал он.— Не ждал... Беспорядок тут, у меня...

— Хочу поговорить с тобой, Ваня. Спросить хочу, по-дружески, откровенно: намерен ты когда-нибудь бросить свои похождения?

— О чем ты говоришь, Павел Андреевич? Я не понимаю.

— Брось, Ваня, ты прекрасно знаешь, о чем идет речь. Я знаю тебя, как своего фронтового друга, с которым вместе дрались с белыми. Воевал ты хорошо, честно, хорошо работал и на фабрике. Тебя выдвинули на должность мастера; я и сейчас уверен: если захочешь, то сумеешь работать. На фабрике ты не чужой человек. Тебе, как выдвиженцу, фронтовику, надо было показывать пример, а ты что делаешь? Пьешь, прогулы у тебя. Если бы на твоем месте был кто-либо другой, то откровенно скажу — выставил бы такого работника, лишнего дня не дал бы ему коптить у нас небо.

— Много врут про меня, Павел Андреевич.

— Может быть, кое-что и врут, но больше говорят

правды. По-моему, так: если ты свой человек, то должен с особенным вниманием относиться к своим поступкам. И ты, и я — выдвиженцы. Представь себе, что все мы начали бы пьянствовать, чваниться своим положением. Геройства в этом ведь никакого нет. А кому на пользу? Нашим врагам. За подобного рода проступки бить нас следует, и крепко бить.

— Знаю, Павел Андреевич,— сказал Саватеев, вытирая платком вспотевший лоб.— Но что я могу сделать? Так сложились у меня обстоятельства.

— Никаких обстоятельств у тебя нет, выдумываешь ты их,— закурив папиросу и подвинувшись ближе к Саватееву, произнес Иванов.— А если и были, то что они — смола что ли? От товарищей, от друзей своих ты оторвался, вот что. Сидишь здесь, как в норе, и занимаешься чепухой, выдумываешь разные несуществующие обстоятельства. А подумал над тем, чего мы стоим, если взять нас поодиночке? Дешево стоим, честное слово! В одиночку каждый из нас пропадет, как клоп. Мы сильны рабочим коллективом, когда у всех у нас впереди ясная цель — мы строим социализм. Все это ты знаешь так же хорошо, как и я. Ты человек с головой. Подумай, брось свои «обстоятельства», встряхнись, приведи себя в боевой порядок! Ну, что ты скажешь?

— Не знаю...

Встретившись взглядом с Ивановым, Саватеев смутился и замолчал. Если бы Иванов сердился, ругал его — это было бы легче, но Павел Андреевич говорил просто, говорил, как со старым товарищем. На брань Саватеев нашелся бы что ответить, но теперь, подавленный и молчаливый, он слушал упреки друга.

— Так как же, согласен со мной, Ваня? — спросил Иванов.

— А если нет? — Саватеев вызывающе повернулся к Иванову. — Уволишь с фабрики что ли?

— Может быть, и уволю. Рука у меня легкая, — усмехнулся Иванов.— Безобразий на производстве — не допущу. Решай сам, что для тебя лучше: поднимать производство, авторитет рабочего-выдвиженца, или топтать все в грязь, даже свое доброе имя. Ты думаешь, мне легко? Нет, брат. Трудно бывает. У меня вот недавно сын родился, горластый парень!.. Ну, мне

пора,— взглянув на часы, прервал себя Иванов.— Подумай над тем, о чем говорили мы сейчас и... Поправляйся скорее!

XIII

В зрительном зале фабричного клуба густо накурено. На сцене, за столом, у которого во время собраний обычно находится президиум, Алеша Солнцев и Волков играли в шахматы. У задней стены, около входа, группа работниц окружила тетю Дашу. Красный платок на ее голове сбился на сторону. Волнуясь, то и дело поправляя платок, она рассказывала:

— Я ему, дьяволу, на другой день чуть бельмы не выцарапала. Пришел это он да потихоньку и шепчет мне, будто новость какую несусветную: «За керосином-то, говорит, сегодня очереди... Дотору нету. С завтрашнего дня, говорит, Дарья Мартимиановна, керосинчик по карточкам будут давать: в месяц по литру на едока. Я уж, говорит, ведерка два призапас, да еще вот иду, продают покуда». А я-то расчувствовалась: «Спасибо тебе, Трофим Тарасыч! — сказала это и кланяюсь. — Не зайди ты — прозевала бы». Вот ведь какая оказия! Тут я сразу девчонку на ноги и сама с ней — обе в очередь побежали. Посуду захватили, какая побольше: ведро чистое, молочную тарку, кастрюлю суповую... Кастрюля-то медная у меня, лужёная; в девятнадцатом годе у Марфы, которая прежде жила в кухарках у управляющего, за фунт сухарей выменяла. Всю посуду запоганили керосином. Вечером — вонища в квартире, а я, дура, сижу и радуюсь. Слава те господи, удалось, мол, захватили. В позапрошлом годе с сахаром этак-то было... Люди бежали в очередь, пудами запасали, а я не поверила — запасла два кила да и всё. Квартерка у меня маленькая— одна комнатка. Встала утром, а от керосиновой-то вонищи голова пухнет; ломит ее, и хожу-то, как пьяная. Вышла на улицу, иду мимо лавки, а керосин все еще дают и безо всяких карточек. Ну, думаю, что-то нескладно дело. Заглянула в лавку: что же, говорю, граждане, разве положено народ обманывать? Как, спрашивают меня, в чем вас обманули? — Да вот с керосином-то, — говорю. — Вчера сказали, что с сегодняшнего дня по карточкам выдаваться будет, на

едоков, а у вас продажа, как и была. Когда, спрашиваю, будут карточки, с завтрашнего дня что ли? Вижу, и продавец, и публика некоторая смеются. — Ну, говорят, тетка, попалась ты на злостный слух, поверила. Карточек на керосин нет — и не ожидаются. Бегу я домой, и не поверите — ноги подкашиваются. Не знаю теперь, куда деваться с керосином. У Трофима Тарасыча — у него хуже получилось, чем у меня. Не только всю посуду, а ванная есть у него в квартире, так он и ее керосином залил. Утром из пожарной охраны к нему приходили... Из ванной-то весь керосин он в уборное место вылил; слышно, штраф будет платить.

— Кто это у вас Трофим Тарасович? — спросили тетю Дашу.

— Лавочник... Лавочку прежде он содержал в Порозовке. Рядом, где пивная нынче, была у него торговля. Дома теперь он. Спекульнет чем ни есть, тем и живет.

Собрание профсоюзного коллектива должно было начаться через полчаса, а людей в клубе уже полно. Пришла Наташа. Она работала сегодня в ночной смене, а до этого решила послушать, о чем будут говорить на собрании. Кутаясь в платок, она села на заднюю скамейку. В последние дни девушка заметно осунулась и побледнела.

К ней подсел Чурок.

— Здравствуй, Наташенька! Что-то исхудала ты? С милым что ли не поладила? А слышала, какие дела намечаются на фабрике? Соревноваться будем, и знаешь с кем?

— Нет.

— «Пролетарка» вызвала на соревнование нашу «Красную звезду».

— «Пролетарка»?! Не под силу нам будет.

— Почему не под силу? Чем мы хуже?

— Не хуже, а производство у них лучше.

— Это еще посмотрим! Кровь из носу, а не сдадим.

— Ты, Вася, настоящим ударником стал, — усмехнулась Наташа.

Чурок подвинулся к ней, наклонился и сказал так, чтобы кроме ее никто не слышал:

— Ты за этого ударника выходи замуж, Наташа, не пропадешь.

— Брось шутить, Вася!

— Я не шучу. Я от всей души тебе... Хочешь, встану вот сейчас туда, — Чурок показал глазами на сцену, — и при всем народе скажу: товарищи, я люблю Наташу Анучину. Красивей ее нет на Порозовке у нас девушки...

После события на пустыре Наташа на самом деле считала, что ей нет больше никакого дела до Саватеева. В первые дни ее мучил стыд. Казалось, что Чурок видел ее с Саватеевым и раззвонит о том. Но Чурок молчал. Он так быстро вошел в рабочую жизнь, точно и не бросал никогда фабрики, всегда только и жил ее интересами. Встречаясь с Наташей — не поймешь — в шутку или всерьез он ухаживал за нею.

Наташа остерегалась его, но не отталкивала. Под внешней грубоватостью лихого парня, она угадывала в его шутках какую-то скрытую ласковость. Вот и сейчас, словно бы ненарочно прикоснулся к ее руке. Наташа промолчала, но руку убрала.

...Иванов выступал с заключительным словом, когда в клуб вошел Саватеев. Точно испугавшись множества людей, он остановился у входа. Залитый светом зал, разгоряченные лица сидящих на скамьях рабочих и работниц, их настороженное внимание к тому, что говорил директор, показывали, что собрание проходило бурно и прения, видимо, были горячие.

Саватееву почудилось, что едва он вошел, как со всех сторон на него устремились насмешливые взгляды.

Неподалеку где-то прозвучал шепот:

— Саватеев, смотри — Саватеев.

От напряжения на лбу Саватеева выступил пот. Он неловко переступил с ноги на ногу. Руки его тяжелым грузом обвисли вдоль тела.

— Тут говорили,— уловил Саватеев слова Иванова, — что с рационализацией производства и переходом на семичасовой рабочий день увеличится безработица. Нет, товарищи! Мы в дальнейшем будем иметь не безработицу, а недостаток рабочей силы. Наша промышленность развивается такими огромными темпами, что мы все больше и больше станем нуждаться в кадрах квалифицированных рабочих. Поэтому уже сейчас надо нам смелее и шире вводить в практику учениче-

ство. Старые, опытные рабочие и работницы должны готовить себе достойную смену...

Каждое слово Иванова пощечиной отдавалось в ушах Саватеева. Он не тронулся с места. Когда Иванов закончил свое выступление и затих шум всполошившихся хлопков, Комарков принялся читать резолюцию. Читал он торопливо, особенно подчеркнуто произнося слова: «быстрые темпы», «индустриализация», «рабочий класс», «партия», «план производства»... И, может быть, поэтому — всё, что читал он, Саватееву казалось делом давно известным, заученным и, пожалуй, не требующим обсуждения.

После голосования, когда многие из находящихся в зале потянулись к выходу, Комарков поднял руку:

— Товарищи, не расходитесь! — надрываясь, кричал он. — Собрание еще не закрыто. В фабкоме есть заявление группы работниц, надо обсудить его на общем собрании. Внимание, товарищи!

— Не задерживай, Комарков! Люди вопрос о социализме решали, а ты с заявлением!

— Надо обсудить, товарищи! — не унимался Комарков. — Группа ткачих жалуется на грубое обращение мастеров. Пишут о притеснениях, неправильных расценках, о том, что мастера не дают прохода работницам, пристают к ним, как было в старое время, при Порозове...

— Ладно, давай уж, читай! — кто-то поощрил Комаркова. Но шум в зале не утихал. Саватеев чувствовал себя так, будто вылили на него сейчас ушат холодной воды и потом втиснули в жарко натопленную баню. Говоря о мастерах, Комарков, как показалось Саватееву, смотрел на него.

— Ты ясней говори, Василий Корнеевич! На кого жалуются? Нельзя же так, на всех огулом.

— Можно, все они одинаковы, — послышался другой голос. — Помоложе работница да посмазливее, так и норовят к ней...

— Жалуются на Федора Ивановича Федышина, — сообщил Комарков. — Говорят, когда он выпивши, то проходу от него нет.

Федышин, красный, как кумач, вскочил с места.

— Товарищи, вот уж второй месяц, как я капли не видал спиртного,— крикнул он.— Я не виноват, коли

у меня запои. Пошалить, бывало, я пошалю, побрешу языком, но чтобы... Этого у меня никогда. Никто не может сказать.

— Жалуются и на Ивана Степановича Саватеева,— продолжал Комарков.

— О-о!..

— Саватеев грозил увольнением ткачихе Рагозиной...

— Неправда! — не сдержавшись, громко выкрикнул Саватеев. — Кто это написал? Ложь это.

— В самом деле, кто писал заявление? Есть подписи?

— Есть, — ответил Комарков. — И о том, что я сказал о ткачихе Рагозиной, были слухи...

— Ты не о слухах, заявление читай!

— А тебе, Саватеев, горько стало? — Комарков оборвал мастера. — Рабочей самокритики испугался, увильнуть хочешь?..

— Я прошу, товарищи, спросить ткачиху Рагозину, пусть скажет, когда я грозил ей?

— В самом деле... Дуня! — поднявшись и осматриваясь вокруг, крикнул Чурок.

— Нет ее, ушла. Она в ночной смене.

— А зачем ее спрашивать? — заявил Комарков. — Может, Рагозина запрется, не скажет правды, а люди говорят...

— Нельзя обсуждать то, о чем только говорят, товарищ Комарков, — поднялся и сказал Иванов. — Скажут, например, что я вот фальшивые деньги делаю, а ты мне в этом помогаешь, так что же — нас немедленно и надо судить? Я, товарищи, прочитал заявление ткачих, — Иванов повернулся к залу, — о Рагозиной там ничего нет.

— А если Саватеев грозил кому увольнением, так за это и надо под суд, а сегодня обсуждать нечего. Фабкому следует заняться этим делом, выяснить все как следует, тогда вот и будет обсуждение.

XIV

После собрания Комарков зашел в ткацкий корпус. Он отыскал Дуню. Она, словно не замечая его, наклонилась к станку. Комарков постоял молча, щелкнул

пальцами и отошел. Но через некоторое время вернулся обратно.

— Ты что сердитая, Дуня? — стараясь пересилить голосом грохот ткацкой, спросил он. — Сегодня, в конце собрания, заявление разбирали на Саватеева... Он так перетрусил рабочей самокритики, что сбежал со стыда.

— Слышала, — отозвалась Дуня. — Доволен теперь ты, Василий Корнеевич, ошельмовал человека! А мне некогда, не хочу с тобой разговаривать.

...Саватеев вышел на улицу. Моросил дождь. Под ногами хлюпала грязь и липла к подошвам. Фабрика гудела, как живая. Фонарь, мерцающий у ворот, качнулся от ветра и словно бы насмешливо подмигнул мастеру. Саватеев направился через площадь и скоро исчез за углом Набережной.

Он забыл в клубе или потерял фуражку. Дождь смочил волосы, вода с них струйками стекала за воротник.

«Нельзя больше возвращаться на фабрику», — тяжело ворочалась мысль. Широкая улица, по которой он ходил много лет, вдруг превратилась для него в непролазное болото; он почувствовал, как в этом болоте вязли его ноги, как их засасывало в глубокую тину. Хотелось уйти о мучивших его мыслей, скрыться от них, отдохнуть. Было даже неприятно вспоминать, что недавно еще он искал утешения в дымной пивной. Кажется, его стошнило бы, если б сейчас он очутился там.

Прошел Порозовку. Раздвигая голыми руками кусты крапивы и не чувствуя ожогов на покрывшихся волдырями руках, не разбирая дороги, он пробирался без цели, не зная куда. На пути то и дело спотыкался о камни и обломки кирпичей, оступаясь, падал в какие-то канавы. По исцарапанному лицу его вместе с дождевой водой струилась кровь. Как чужая, болталась на теле изорванная одежда.

Шел он спеша, словно его кто-то преследовал, и не заметил даже, как очутился за новыми стройками, на краю обрыва у Короти.

В темноте чуть-чуть поблескивала внизу стальная чешуя воды. Отсюда, с обрыва, она казалась твердой и упругой; иди по ней — не погнется и не шелохнется.

Вдалеке, за мостом, яркими точками сверкнули огни паровоза; оттуда донесся протяжный гудок. Паровоз, точно предупреждая кого-то, мчался по стальной дороге.

Не отрывая глаз от его огней, Саватеев стоял на краю обрыва. Поезд проскочил по мосту и снова загудел. Теперь гудок его прозвучал громко, торжествующе. И как будто не поезд, а сама жизнь промчалась мимо Саватеева, выбросив его под дождь, на заросший крапивой и репьями пустырь.

Потянуло к реке. Темная — она манила к себе своим покоем, тихим и каким-то жадным сиянием. Саватеев даже не подумал о том, что он делает. В последний миг вспомнилась Наташа, ее испуганные наполненные слезами, умоляющие глаза. Стиснув зубы, Саватеев шагнул вперед; беспомощно взмахнув руками — покатился под обрыв.

...Утром, придя со смены, Наташа выпила наскоро чаю и легла спать. Как и всегда, несмотря на тревожные переживания, она спала крепко. Когда ложилась— открыла окно и опустила занавески, отчего в комнатке был полумрак.

Ничто не тревожило крепкий сон девушки. Она проснулась, когда стоявший на комоде будильник показывал двенадцать.

Под окном, на улице, громко разговаривали. Наташа потянулась и сбросила одеяло. Босая, в одной рубашке подошла к открытому окну и, стоя за колыхавшейся от ветра занавеской, прислушалась.

— Догулялся, вот тебе и Иван Степанович! Подумать только... Жизни решить, ну-ко!

— Всегда, милая, так. Начинается с маленького, а не удержится человек, оно и дойдет до большого.

— Сам упал, аль, может, помог кто?

— Неизвестно. Говорят, сам. Дело-то ночью было, темно. Может, и подтолкнул кто... И зачем он только пошел на пустырь, да еще к самой реке?

У Наташи защемило в груди. Вспомнила, что Саватеев пытался сделать с нею у моста на пустыре и, странное дело, не почувствовала, как раньше, ни обиды, ни горечи. «Травили его,— подумала девушка,— ругали. Один Комарков чего не наговорил вчера. А вдруг все это случилось из-за меня?»— Наташа закры-

ла лицо руками. «Что я наделала! Избегала его, старалась не говорить с ним... Что он обо мне думал?»

Разговор под окном затих. Охваченная тревогой и горем Наташа металась по комнате. До этих страшных минут она даже и не подозревала, что так вот сильно, всем сердцем своим любит Саватеева. Он нравился ей — это она знала, но сердилась на его поведение, на невнимательность, даже ревновала... Да, ревновала к Дуне. Теперь он погиб. И Наташе казалось, что будь она чуточку внимательнее к нему, может быть, он и не подумал бы жить так, как жил, и в чем обвиняли его люди.

Вдруг ей захотелось увидеть его. Каков бы он ни был теперь, все равно, только бы увидеть. Наташа вскочила, кое-как набросила на себя платье и вышла. С непокрытой головой, не успев причесать волосы, а только кое-как уложив их в косу, не замечая встречных, она мчалась к домику Катерины Филипповны. Ей все время представлялся Саватеев, каким он лежит теперь. Руки его, как лед, застывшее лицо серое, осунувшееся, на губах мертвая страдальческая улыбка.

Катерина Филипповна гладила белье, когда в комнату вбежала Наташа. Запыхавшись и забыв поздороваться с хозяйкой, девушка с трудом вымолвила:

— Иван Степанович... Где он?

Катерина Филипповна с изумлением посмотрела на гостью. Она не могла понять, что с нею случилось? От оставленного на столе раскаленного утюга задымилась ткань. Запах горелого привел Катерину Филипповну в чувство. Она схватила утюг, переставила его на канфорку и только тогда спросила:

— Ты откуда, девушка, прибежала-то? Чего тебе?

— К Ивану Степановичу... Где он?

— Да где же ему быть — дома, у себя вон,— Катерина Филипповна показала на закрытую дверь.— Полюбоваться хочешь? Иди, иди, полюбуйся! Увидишь, какой он красавец.

Наташа открыла дверь. Саватеев лежал на спине. Ноги его, вытянувшиеся поверх одеяла, казались неестественно длинными, лицо в кровоподтеках и ссадинах; под левым глазом темнела припухшая синева.

— Иван Степанович! Ваня!— подбежала к нему Наташа.

Саватеев вздрогнул и открыл глаза. Он, видимо, сразу узнал девушку. Появление ее здесь, в его комнате, было так неожиданно, что он не мог поверить этому. А она стояла, опустив руки, не зная, что делать и, кажется, больше всего испуганная тем, что видит его живым.

— Наташа,— прошептал он и, опираясь на руки, приподнялся на кровати.

Девушка отступила от него. На побледневшем лице ее выступил яркий румянец.

— Вот полюбуйся на красавца!— проговорила, войдя в комнату, Катерина Филипповна.— Что он учудил-то вчера. По пустырю бегал, а потом взял да с обрыва в Короть... Добро бы пьяный был, так ведь тверезый. Хотел, говорит, убить себя, а когда упал — память отшибло. Вошел в сознание — умирать-то и не захотелось. Рассвело уж, как явился на квартиру.

Слушая попреки Катерины Филипповны, Саватеев смотрел то на нее, то на Наташу и виновато улыбался. Он казался сейчас таким робким, таким беспомощным, что Наташа не выдержала и рассмеялась.

— А ведь мне сказали, насмерть убился. Поверила я...

— То-то прибежала ты, и, гляжу, лица на тебе нет. Я и утюг забыла, наволоку чуть было начисто всю не сожгла. А на него, на Ивана-то Степановича, милая, узды нету, вот он и бунтует. Возьмись-ко вот, образумь молодца! Нас-то, старых, он не слушает.

— Не знаю, Катерина Филипповна, где уж мне...

Она подошла к Саватееву и потрогала его голову. Он осторожно, точно боясь прикосновением своим причинить боль, взял руку девушки и прижал к своему лицу.

Ильинское—Москва. 1929 г

ВОЛЧЬИ ПЕТЛИ

I

ВЕЧЕРОМ Семен Бараков задами пробрался на хутор к Пухову. Расстояние от Слободы, где жил Бараков, до хутора около километра. Стоит он за перелеском на берегу речки Черной, в стороне от дороги на Калинкино.

Войдя в избу, Бараков распахнул суконный — на меху — теплый пиджак, вытер ладонью мокрый от пота лоб и, не здороваясь с сидящими у Пухова за столом гостями, сказал:

—Что же это, мужики! Никакой ведь жизни не стало. Прав голоса лишили, руку на собраниях, значит, не поднимай, а налог — наше вам с кисточкой! Вези за полдеревни. Не вымолвить, сколько насчитали с меня... Последний хлеб собираются выгрести.

Голос его звучал возмущением и обидой.

На столе шипел самовар. Натоплено в избе, как в бане. Пахло мясными щами. Керосиновая лампа, подвешенная под самым потолком, горела тускло; огонек ее, вытягиваясь желтым язычком, дрожал, словно бы готовясь вот-вот погаснуть. Пухов сидел на хозяйском месте, у самовара. Синяя с белыми крапинками рубаха, надетая на нем, рябила в глазах. Кроме хозяина, за столом сидели еще двое слободских мужиков: отрубщик Вьюшин, приземистый, безбородый, с изрытым оспой лицом, и продавец кооперативной лавки Арсений Пантелеич, известный в деревне по прозвищу Хорек.

— А, Семен Митрич, добро пожаловать!— как будто ничего не случилось, приветствовал Баракова Пу-

хов.— Садись к столу! Счастье у тебя есть — только по первой чашке налили.

— Не до чаю мне, Павел Николаевич!— усаживаясь рядом с Хорьком, сказал Бараков.— Мишка Зарубалов, ячеешник, сельсовет наш, заявился ко мне сегодня... Хлеб велел везти по индивидуальной норме, как обложили.

— Богат ты, Митрич, сколько ни накладай на тебя — все вывезешь,— не то в шутку, не то чтобы позлить Баракова, сказал Хорек.

— Погоди, Арсюша, придет срок, и до тебя доберутся,— обидясь за насмешку, выкатил на него глаза Бараков.— В сусеках пощупают, да и под прилавок в лавке заглянут. Известно — своей махорочкой, а не от кооперации торгуешь.

— У меня?— Хорек вскинул вверх редкую рыжую бороду. Высокий, худой, в залатанном пиджаке, видом своим он никак не напоминал богатея.— У меня, Семен Митрич, в лавке все шито-крыто, хлеба тоже нет. Сколько себе да скотине надобно, чтобы зиму перезимовать, то и в сусеке. Я ведь состою на общественной службе, жаловаться имею полное право.

— Право-то имеешь, а интересно знать, кто тебя послушает?— засмеявшись, отчего перекосилось и неприятно задергалось его рябое лицо, подал голос Вьюшин.— Пожалуешься с полным-то правом, ну и снимут с тебя лишние портки.

— Что же, по-твоему, Егор, сдавать хлеб и голоса не поднимать?— спросил Бараков Вьюшина.

— Зачем? Чудак ты, Семен Митрич! Я, братец мой, загодя знал, что так обернется, продал хлебец, а что осталось — у меня не найдут.

— В прошлом году нашли. Помню, при мне с подполу в амбаре выгружали,— оборвал хвастовство Вьюшина Арсений Хорек.

— Не нашли бы и в прошлом годе, да, небось, друзья-приятели шепнули. Как на положенное пришли ячеешники с понятыми.

В избе, кроме беседующих, никого не было. Домашние Пухова, должно быть, спали где-то в другом помещении. При последних словах Вьюшина Пухов поставил на блюдечко пустую чашку; ноздри его раздулись, на лице выступили багряные мадежи. Сжав кулак так,

что на пальцах щетиной поднялись жесткие волоски. Пухов опустил его на стол и промолвил, словно выдыхая слова:

— Шомпольем мало пороли шпану... В девятнадцатом годе, когда наши тут были... Не знали тогда, что так вот, как нынче-то, обернется.

— Ты-то потрудился, Павел Николаевич,— отозвался на слова Пухова Вьюшин.— Не знают они, а то бы...

Пухов выдвинулся из-за самовара. Во взгляде, каким он окинул своих собеседников, казалось, давным-давно отстоялась да так и застыла холодная оловянная муть.

— И потружусь,— вымолвил он.— Привел бы только господь!..

— Мишку Зарубалова — вот кого не жалко бы придавить,— высказал заветное желание Бараков.— Ячеешник. Вся смута из-за него.

II

На сход мужики собирались нехотя. Рассаживались как попало: на взъезде пожарного сарая, на стоявших около дрогах, с колес которых давно слетели ободья, а кое-кто и просто, по-домашнему, бросив под себя на землю сухое полено.

День стоял ведреный, но холодный. Время близко к Покрову. Небо серело редкими шмотьями убегающих куда-то за дальние поля быстрых на ветру облаков. Солнце, показываясь из-за них, светило немощно, не согревая. На ветлах, у пруда за пожарным сараем, перепархивали воробьи. Они то падали на пожухшую траву, то с шумом взмывали ввысь, лепились к полуоголенным корявым ветлам.

До открытия схода мужики вели себя степенно, разговаривали о домашних делах, обменивались новостями. Около взъезда, где народ столпился кучнее, на прилаженной вместо скамьи подворотне, сидел Тихон Казанков. Последние пять лет подряд Тихон нанимался в Слободе на пастушню.

— Что я скажу, мужики,— говорил он.— Есть нынче правильный пастуший закон. С места не сойти, коли совру — есть. К примеру молвить, прошлое лето я у вас вроде задарма скотину стерег, словесно мы догова-

ривались, а по закону требуется договоренность на бумаге писать. Нынче, на передбудущий год, не обегаете меня ежели, то весной договариваться будем письменно и договорчик форменно, в сельсовете отметим.

— Так, Тиша, выкладывай! Какие у тебя условия будут?

Тихон огляделся. Для чего-то снял с головы вытертую баранью шапку, помял ее в руках и снова надел

— Будут условьица,— снова заговорил он.— Хочу я, чтобы и мне ладно было, и вам чтобы без обиды. Перво-наперво — полста рублей деньгами; второе— чтобы по килу хлеба с коровы и по полкилу с телен ка,— высчитывая, Тихон загибал пальцы.— В-треть их — квартера чтобы мне была постоянная, а не по дворам по очереди, как прежде; в-четвертых, значится, мальчонку в подпаски дать и одёжу чтобы справную, какая положена на лето: рубашку, две пары лаптей с портянками, портки, плащ чтобы парусиновый...

Слушая пастуха, мужики снисходительно улыбались. По всему видно было, что они не принимали всерьез того, что он говорил. Скотину Тихон пас добросовестно, в деревне его за это любили. Нетерпение проявлял только Вьюшин. Он сидел неподалеку от пастуха и, пока тот говорил, все время беспокойно ёрзал на месте. Порываясь что-то сказать, он словно бы трусил открыть рот, не зная, как отнесутся к его словам соседи. Наконец Вьюшин не выдержал. Как только Тихон умолк, он оглянулся на мужиков и вымолвил:

— Считай, Тиша, все считай! Вроде ты у нас прежним барином Беклемишевым хочешь стать. Может, прикажешь новую избу о четыре окна, под тесом, тебе выстроить?

— Я по закону, лишнего не прошу.

Пришел Зарубалов. С его появлением разговоры затихли. Мужики насторожились, ожидая, что скажет председатель?

Михаила Зарубалова председателем Слободского сельсовета выбрали прошлой зимой, невдолге после нового года. До него председателем был Алексей Орешкин, мужик смирный, покладистый и совершенно безвольный. Может быть, благодаря именно этим его качествам, Орешкин неоднократно переизбирался председателем. Человек беспартийный, любил он со всеми

жить в мире. А что особенно отличало Орешкина, так это всеми признанная представительная наружность. Было в нем что-то роднившее его с теми особенностями русской деревни, которые навязывают ей некоторые не в меру усердные почитатели кондовой старины. Так, волосы он стриг «в кружок», носил пышную, гладко расчесанную русую бороду. Борода его была даже заметнее, чем у прежнего волостного старшины Животова. Орешкина отличали и в волости и в уезде. Его выбирали в президиумы съездов и совещаний, включали в различные «делегации», когда нужно было показать «настоящего мужика». Как председатель сельсовета Орешкин, с кем бы ни говорил, всегда во всем соглашался, поэтому многие считали его человеком рассудительным и, что еще важнее, отзывчивым к чужой нужде. Начнется, бывало, спор на сельском собрании, Орешкин непременно постарается, чтобы не разбушевались страсти. «Перестаньте, мужики,— скажет. Голос у него громкий, слова звучали весомо и так, словно бы ни у кого и мысли не могло возникнуть о том, что председатель не прав, что ему можно возражать.— Чего нам делить? Все мы одним дерьмом мазаны.— При этих словах он улыбался и гладил ладонью свою пышную бороду.— Клин-то забить промежду нами легко, а поползем врозь —нам от того и хуже будет».

С Пуховым и другими богатеями Орешкин не дружил, но «попить за компанию чайку», если доводился случай, никогда не отказывался. Чай он пил подолгу. И если Пухов в разговоре начинал намекать на что-нибудь такое, о чем можно сказать только в близком кругу, Орешкин не возражал,— он только понимающе ухмылялся и старался дать понять, что подобные разговоры его не касаются. С его помощью хозяйства хуторянина Пухова и отрубщика Вьюшина стали называться образцовыми культурными хозяйствами.

Осенью, перед новыми выборами в Советы, собрание бедноты, на котором верховодил единственный в Слободе коммунист Зарубалов, постановило лишить права голоса кулаков Пухова, Вьюшина, Баракова и Арсения Хорька. Орешкин был на этом собрании. Как и всегда, он выступал за то, что не надо заводить «склоку» в деревне, что кулаков нынче нет, что «все

мы одним дерьмом мазаны». На этот раз его не послушались. После, на пленуме сельского Совета, опять-таки по настоянию Зарубалова, было утверждено постановление собрания бедноты. А на выборах — ни одна рука не поднялась за Орешкина.

Сейчас, открывая собрание, Зарубалов сказал, что сход нынче общий, на него приглашены и граждане лишенные права голоса.

— По какому поводу собрание-то, Миша?— прервал Зарубалова чей-то голос.— Налог что ли какой?

— Сейчас объявлю, граждане,— ответил Зарубалов

В отличие от Орешкина, Зарубалов не носил бороды. Волосы у него немного вились и на висках густо отливали сединой. Вместо картуза он — по-городскому — носил кепку, а так как она была тесна ему, то, казалось, что еле-еле держалась у него на затылке.

— Хлеб надо везти, граждане!— сказал он.— По плану с нашей деревни положено вывезти двадцать тонн, а вывезено на сегодняшний день меньше пяти. И вывезли те граждане, кои нуждаются сами, у которых до нови в самый что ни на есть в обрез осталось хлеба. Павел Николаевич,— Зарубалов обратился к Пухову,— тебе по индивидуальному обложению нужно вывезти две тонны. Урожай у тебя был хороший, хлеб убран, но ты еще ни одного зерна не вывез. Граждане Вьюшин, Бараков, Арсений Николаевич — у вас тоже индивидуальные планы, и тоже ничего не вывезено Когда думаете начать?

Пухов стоял несколько в стороне, прислонясь к углу сарая. На вызов Зарубалова, он выдвинулся вперед и заявил:

— Я, Михайло Михайлович, не отказываюсь везти, только ведь не вытяну столько, сколько наложено на меня по индивидуальному. Нет у меня столько излишков. Сеял я нынче поменьше, чем в прежние годы, должишки кое-какие хлебом пришлось покрыть. Сам не знаю, как перебьюсь до нови. Пудиков тридцать на скребу... Это не задолю, вывезу.

— Ай-ай, Павел Николаевич, что же ты христарадным-то прикинулся?— сказал тощий высокий мужик Никанор Патраков.— Мое хозяйство против твоего — куда-а! Рядом не ставь, а столько, как ты предлагаешь, я вывез.

— Хитрит он. Засел на своем хуторе и думает — никто не достанет его там,— поддержал Патракова его свояк Иван Криванцев.

— Не знаю, откуда, Патраков, у тебя завелось столько хлеба,— развел руками Пухов.— Урожай, может, у тебя особый, а я не вытяну. И за что меня индивидуальным обложили, тоже не знаю. Хозяйство у меня культурное, как можно его разрушать? А что хлеба мало, так это уж как желаете. Можете приходить и сами у меня досмотреть.

— Досматривать покуда мы не пойдем, Павел Николаевич,— сказал Зарубалов.— Ни к тебе, ни к другим гражданам. А вот если кто не вывезет в срок — наложим пятикратку.

Зарубалов говорил медленно. Каждое слово его четко отдавалось в ушах. Когда он напомнил о пятикратке, Пухов поморщился, но не закричал, не зашумел, как бывало; сказал как бы с сожалением:

— Воля ваша, граждане, а только всего, что наложено на меня, хоть самого продать, и то не смогу вывезти.

Если Пухов вел себя сдержанно, прикидываясь неимущим, словно бы не понимая, за что хозяйство его подпало под индивидуальное обложение, то молчавший после стычки с Казанковым Вьюшин неожиданно вскипел. Он затопал ногами и, размахивая кулаками, подступил к Зарубалову.

— Ты, Михайло, смотрел у нас в сусеках-то?— крикнул он.— Смотрел, прежде чем обкладать? Председатель тоже!.. Голоштанник, навязался на нашу голову! Ты вот сперва сам, свой хлеб свези, а потом и наваливайся на других. Ты что ли в поле-то работал за меня.

— Правильно,— поддерживая Вьюшина, подал голос Бараков.— Я требую, граждáны, пускай Зарубалов первым везет хлеб. Сколько свезет, пусть столько же и на других накладает. Сколь положено с деревни— на все дворы разложить по едокам. Земля по едокам разделена, и хлеб везти по едокам надо.

— Договорился ты, Семен Митрич!— прервал Баракова Криванцев, кося на богатея своим одним глазом.— Ты да Вьюшин народ только сбиваете с толку криком, а ведь и права голоса у вас нет. Понятно?

Криванцев во время службы в армии был унтер офицером, командиром взвода. Глаз он потерял после ранения в бою на Стоходе, тогда и прозвище свое получил. В поведении его и в том, как он говорил, по старой привычке, проскальзывали у него начальнические нотки.

— Мы не имеем голоса?— пуще набросился на него разошедшийся Вьюшин.— Ты что мне — комиссар? Одна коровенка на дворе, а он командует... У меня их четыре, как лебеди. У кого больше права на голос? Ну-ко, скажи! Сегодня мы не в Совете. Здесь собралось земельное общество, все голоса одинаковы.

— Т-ты это видал?— подскочил с кулаками к Криванцеву Бараков.— И ты, Зарубалов... Не имеете права лишать нас голоса, не имеете и — все.

Произошло замешательство. Вьюшин и Бараков напирали вперед. Кое-кто из мужиков, чтобы от «греха подальше», потянулись к домам. Что-то говорил Зарубалов, но в разгоревшемся шуме голоса его не слышно. Кажется, не миновать бы драки, если бы неожиданно не вмешался Пухов.

— Стой!— выскочив вперед, крикнул он.— Обсуждали дело, ну и обсуждай! Чего разорались?— метнул он злой взгляд на оказавшегося рядом с ним Вьюшина.

— Как же, Павел Николаевич, как же молчать-то?

— Дураки! В драку, при всем-то собрании...

Пухов и Вьюшин отошли в сторону. Следом за ними засеменили Бараков и Хорек. Собрание продолжалось без них. Вьюшин, недовольный тем, что Пухов своим вмешательством поддержал Зарубалова, говорил отрывисто, стараясь не смотреть на дружка.

— Мишку-то ячеешника почему ты заступил, Павел Николаевич? Уж не на его ли сторону перемет нулся?

— Я знаю, что делаю, и нечего тебе фыркать, Егор. Скажи спасибо, что остановил, а то вы с Бараковым наломали бы дров.

— Неужто молчать, так всем и плясать под Мишкину дудку?

— И молчи! Шалабашка у тебя туго варит, Егор,— убеждал Вьюшина Пухов. — Договорились ведь — убрать Мишку, и надо сделать это таким манером, чтобы

комар носу не подточил. Намека чтобы на нас не было, а вы, ничего-то невидя, в драку, как вороны разинули рты...

III

Ночью, в самую глухую пору, накануне Покрова, по подмерзшей дороге к хутору Пухова подъехали три подводы. Прикрывая полой фонарь, хозяин встретил гостей и, даже не обогрев их, сразу же повел к сложенным за двором ометам соломы.

— Поостерегись, Паша,— в темноте не видно было, кто сказал это, но по голосу приехавшие мужики узнали Аксинью, жену Пухова.— Поедут полем, как бы не нарвались,— предостерегла она.

— Ничего,— ответил Пухов.— Лучше сегодняшней ночи не выберешь. Подмерзло крепко, следу не будет, и праздник завтра, никто не пойдет досматривать.

— Смотри, как знаешь.

— Все обдумано, не беспокойся ты, спи! Зарубалов хотел прижать меня, а я под носом у него хлебец свезу. Явится Мишка на хутор, а хлебец-от в городе, у Карпа Евгеньевича. Вот они и излишки, ищи да свищи! Завтра двух коров зарежу, мясо сам отвезу в город. Пятикраткой вздумал мне грозить... Не-ет, погоди. Грозить-то грози, да прежде умойся!

Наталкиваясь друг на друга, приезжие мужики грузили мешки. Когда подводы отъехали от хутора, Пухов постоял на улице, послушал. Дождавшись, пока затих стук колес, он вернулся в избу; загасив огонь и сняв шапку, он широко, с облегчением перекрестился.

...В Слободе Покров — престольный праздник. На этот день в редком дому не запаслись самогоном. Церковь с весны еще стояла закрытой и службы в ней не было, поэтому «праздник» начался с утра. Пухов Покров не справлял; он отложил даже убой коров, решив, что везти мясо в город лучше на другой день праздника, когда слободские будут отсыпаться с похмелья. Около полудня пошел в Слободу. Он еще раньше условился с дружками, что в праздник придет к ним в гости.

На дороге, только миновал он лесок и вышел в слободское поле, навстречу ему попался Зарубалов.

Узнав его, Пухов струхнул, подумав, что председатель сельсовета направляется к нему на хутор. Сняв шапку, издали поздоровался.

— Куда это на празник-от глядя, Михайло Михайлович?— спросил он.— Аль ты по-нонешнему, не празднуешь?

— Некогда, Павел Николаевич, дела. Да и праздник этот — пережиток, чего же его праздновать?

— Верно, Михайло Михайлович, но ведь деды наши праздновали святой Покров; тебе-то власть, аль там ячейка партейная, может, воспрещают, ну, а нашему брату слободно. Ты не на хутор ко мне?

— Нет, в калинкинские хутора да в Починок надо заглянуть, а потом в волость... Собрание сегодня.

— Делов у тебя много, Махайло Михайлович,— посочувствовал Зарубалову Пухов.— Люди гуляют, а ты, небось, допоздна в волости-то?

— Что же делать, я привык,— ответил Зарубалов.— Хлеб начал возить, Павел Николаевич?

— Позавчера ссыпал воз, а завтра опять в город собираюсь.

— Не задерживай! Старайся вывезти вовремя.

Они расстались. Пухов, придя в Слободу, первым делом наведался к Арсению Хорьку, потом они направились к Вьюшину. Улицей шли обнявшись, пошатываясь и натыкаясь на палисадники; по-пьяному, нестройными голосами, заунывно тянули:

Хорошо да было детинушке
сыпать ласковы да слова...

Но едва вошли в избу, как тут же протрезвились. Поздоровавшись с хозяевами, Пухов сел на лавку и вытянул ноги.

— Хватит, Арсентий, повыли, — сказал он Хорьку. — Добро еще хоть лбы себе не разбили.

Вьюшин с изумлением смотрел на гостей. Когда они приближались к его дому, Вьюшин и на самом деле принял их за пьяных, а теперь оказалось, что ни у того, ни у другого — ни в одном глазу.

Других гостей он сегодня не ждал и не звал никого. Если кто еще и подойдет, так только Бараков. Может зайти пастух Тиша, но тому поднести стаканчик самогона, с тем его и можно сплавить. Тиша не любит си-

деть в одном дому, он, по своей привычке, обойдет всю деревню, как поп со «славой».

— Вы что это, мужики? Я ведь считал, вы и на самом деле хлебнули?

— Хлебнули, да ума не оставили,— ответил Пухов. — А ловко это мы с тобой, Арсентий, шли-то, Егор и тот поверил... Чужих никого нет в дому? — спросил он, осматриваясь.

— Нет. Ребята гуляют, баба вон дома, самовар ставит.

— Слово надо сказать.

— Ну?!

— Чужие бы уши не услыхали?

— У меня в дому — что сказано — могила, Павел Николаевич. Ты меня знаешь, — похвастал Вьюшин. — Никто ничего, ни тим тилилим. Анна!— крикнул он.

— Чего надо?

Из-за перегородки показалась Анна и поздоровалась с гостями.

— Иди постереги на крыльце! — велел ей Вьюшин. — Чтобы не вошел кто нечаянно.

— При мне-то не желаете говорить? — понимающе усмехнулась Анна.

—Можно бы и при тебе, Анна Ивановна, да зарок у нас, постеречь надо,— сказал Пухов. Лицо его в мутной полутьме избы почему-то казалось Анне зеленым.

Она вышла в сени, прихлопнула дверь, но не сразу направилась куда надо, а потопталась на месте, скрипя половицами, прислонила щеку к дверной щели, послушала. Говорили тихо. Как Анна ни напрягала слух, разобрать что-нибудь путное она не смогла. Говорил Пухов. Приглушенный голос его гудел, как улей. Вот он, кажется, помянул Зарубалова, начал рассказывать что-то про калинкинские хутора. Анна плотнее прижалась щекой... В это время только бы понять ей, о чем идет разговор, скрипнули ступеньки крыльца. Анна шмыгнула к выходу. Едва успела открыть калитку, навстречу ей показался Бараков.

— Ты не одна ли дома-то, Анна Ивановна? — несколько удивленно спросил он, поздоровавшись. — Мне сказали, что у вас...

— Гости сидят, наши, — не дав ему закончить, по-

торопилась ответить Анна. — Скушно мне с ними, посижу, думаю, на свежем воздухе. А ты заходи, Семен Митрич!

— Спасибо! — поняв, что нет нужды долго здесь разговаривать, поблагодарил Бараков и на цыпочках, словно шаги его мог услышать еще кто-то, кроме Анны, исчез в сенях.

Проводив его, Анна вздохнула, перевязала на голове платок и, поджав щеку, села на скамейку

IV

Калинкинские хутора образовались в тысяча девятьсот двадцатом году, когда рассыпалась коммуна, просуществовавшая около двух лет на землях калинкинской усадьбы помещицы Беклемишевой. В двадцатом году «коммунары» поделили между собой землю и имущество коммуны. Председатель ее, Григорий Овчинников, бывший эсер, до революции известный в волости кооперативный деятель, получил после раздела участок самой усадьбы. В него входил и старый помещичий парк, занимавший весь пологий склон от поля до реки Воронки. Он поставил дом на месте сгоревшего в восемнадцатом году барского жилья, создал благоустроенное хозяйство и зажил помещиком.

Зарубалов на пути в волость побывал у Овчинникова, но не застал его дома. Жена Овчинникова сказала, что хозяин в Починке; ушел туда после обеда, а вернется поздно вечером. Зарубалов спросил: вывозит ли Овчинников хлеб? Она ответила, что отправлены две подводы. Наказав, чтобы поторопились с вывозом, так как при просрочке будет наложена пятикратка, Зарубалов ушел. С хутора, по пути в волость, он побывал в Починке. Овчинникова там не встретил: был, сказали ему, с утра, но собирался идти на праздник к вам, в Слободу.

Собрание в волости затянулось. Говорили о предполагавшихся в скором времени административных изменениях: об упразднении губерний, уездов, волостей и организации краевого управления, а также округов и районов. Говорили долго. Когда Зарубалов отправился домой, было около полуночи.

К ночи подморозило еще крепче. Луны не видно,

но редкие звезды, сверкавшие в просветах облаков, сияли в темном небе особенно ярко. Шагая по замерзшей и крепкой, как камень, дороге, Зарубалов спешил Его беспокоило опасение: благополучно ли прошел сегодняшний день в Слободе? Было, конечно, много пьяных, а в таком случае всего можно ждать! Он даже пожалел, что пошел сегодня в волость.

Вспоминая о том, что говорилось на собрании, Зарубалов, по правде говоря, не понимал ясно значения нового административного деления, да и на собрании никто этого толком не смог объяснить. Но как ни старался Зарубалов деловыми размышлениями отогнать от себя тревожное чувство, беспокойство не исчезало. Почему-то сегодняшняя ночь напоминала ему другие такие же холодные осенние ночи далеко отсюда, на Западной Двине, когда он вместе с другими солдатами дрог в окопах. Так же вот тревожно слушали они приближающееся гудение стальных шмелей. Если вражеский снаряд разрывался неподалеку, они плотнее прижимались к стенкам окопа, пачкались в липкой земле и потом с недоумением оглядывались друг на друга, как бы удивляясь тому, что живы, что смерть только напугала их.

Сегодняшнее тревожное чувство напоминало ему то, какое переживал он тогда, на войне.

От Воронки дорога идет в гору, возле беклемишевского парка. Отсюда до Слободы около трех километров. Приближаясь к реке, Зарубалов собрался было заглянуть еще раз на хутор к Овчинникову и пройти туда не дорогой, а прямиком, через парк, но, спустившись к мосту, передумал: пошел домой.

Хутор остался направо. В парке шумели оголенные березы и липы, а налево простиралось поле. Впереди, там, где обрываются насаждения, стало видно темный силуэт старой сосны. Около нее, подступая к самой дороге, разросся густой сосенник.

Вблизи Зарубалову почудилось, будто кто-то осторожно, пригибаясь к земле, выскользнул из парка и притаился в соснах.

— Кто прячется? — остановившись, крикнул Зарубалов. — Я видел, выходи!

Глухо, монотонно шумят деревья. Зарубалов послушал и рассмеялся про себя над тем, что ему почу-

дилось. В самом деле, кому охота бродить в эту пору в глухом парке. Но подойдя еще ближе, он снова позвал:

— Эй, кто там?

— Я, — раздалось из сосновой заросли. — Тебя дожидаемся.

Голос показался знакомым. Зарубалов не смог ни понять того, что случилось, ни крикнуть что-либо, как его схватили сзади; в ту же секунду — он ясно увидел — темная тень старой сосны качнулась и со страшным шумом обрушилась на него. Звезды, молчаливо сверкавшие в вышине, свились вдруг в плотный невообразимый клубок, который, сверкнув перед глазами, с треском рассыпался длинными огненными стрелами. Потом стало темно. Все исчезло. И как будто приподнявшись от земли, Зарубалов погрузился в эту всеобъемлющую, охватившую его со всех сторон, липкую и незримую пустоту.

V

Председатель починковского комитета взаимопомощи Павел Кирсанов и сосед его Трифон Хвостов на двух подводах еще затемно выехали в Рублево, на прокатный пункт. Им надо было получить там триер и клеверотерку. Вчера днем, когда в Починок заходил Зарубалов, он сказал, что эти машины в Рублеве есть; со своей стороны обещал написать от сельсовета просьбу помочь комитету.

— Печать я не захватил с собой, а то бы здесь же и написал, — сказал он. — Но вы завтра выезжайте пораньше, крюк в Слободу не велик — заберете бумажку. В Рублево ехать километров пятнадцать — обыдень вернетесь.

Перед утром выпал снежок. Дорога слегка белела, и, кажется, оттого именно была она сегодня особенно колотковатой, так что и на пустых подводах приходилось ехать шагом.

Проехали мост через Воронку. В гору лошади пошли медленнее. Несмотря на постоянные толчки, ехавший впереди Кирсанов то и дело клевал носом — его клонило ко сну. Хвостов, тот, видимо, держался бодрее; он что-то негромко мурлыкал и время от времени покрикивал на лошадь.

В предутреннем тумане деревья в парке покрылись легкой корочкой серебристого инея. Поэтому и парк и все сегодня приобрело непривычный вид: казалось свежее и чище после мозглых дней осени.

Неожиданно лошадь Кирсанова остановилась.

— Н-ну, чего там! — очнувшись от дремы, Кирсанов дернул вожжи.

Лошадь топталась на месте, фыркала, словно боясь переступить через какое-то препятствие. Кирсанов сдвинул налезшую на самые глаза шапку, посмотрел вперед. Поперек дороги что-то темнело.

— Какой черт балуется? — выругался про себя Кирсанов и стал спускать с облучка ноги.

— Перебег отпусти, Паша! — крикнул сзади Хвостов. — Подтянул, видать, высоконько, не берет конь в гору...

— На дороге кто-то лежит... Человек вроде.

Захватив на всякий случай топор и придерживаясь за оглоблю, Кирсанов стал продвигаться вперед.

— Человек? — переспросил Хвостов и тоже спрыгнул с телеги. — Пьяный что ли? Поди, у Покрова вчера погулял.

— Да нет... Что-то не так, Трифон,— отозвался Кирсанов, в голосе его слышался испуг. — Мертвый вроде человек-то... Вот оказия! Покойник.

— Замерзающий, — сказал Хвостов, подходя ближе.

— Может, и замерзающий... Холодно сегодня, — согласился Кирсанов. — Чего он на хутор-то к Овчинникову не добрался, рядом тут...

Мужики стояли перед распростертым поперек дороги неподвижным телом. В первую минуту у обоих мелькнула мысль: объехать подальше от греха. Но объехать трудно: дорога узкая, с той и другой стороны ограждена канавами. Замерзшее тело лежало ничком, занимая всю ее ширину.

— Паша, поглядим! Может, знакомый кто? — И так как Кирсанов не ответил, Хвостов подождал немного и добавил: — А вдруг он живой?

— Тронь, после не оберешься делов.

— Да что ты, не наш грех.

Мужики говорили шепотом. Было неловко и стыдно проехать мимо мертвеца, но опасно тронуть. А вдруг человек-то убит! После суд. Примажут что-нибудь, че-

го и умом не думали. Наконец Хвостов не выдержал. Он наклонился над телом и, беря его за плечи, сказал:

— Помоги, Паша, перевернем!

— Полно, Трифон, не тронь!

— Убивец, — рассмотрев замерзшую под головой лужу крови, сообщил Хвостов. — Ну-ка, давай!

Он справился с первой нерешительностью и, словно бы вспомнив о том, что во время войны служил санитаром в госпитале, действовал теперь решительно.

Когда тело перевернулось, Хвостов, наклонившись над ним, внезапно выпрямился, взглянул на Кирсанова и произнес:

— Паша, да ведь это...

— Кто? — спросил Кирсанов. — Узнал?

— Наш Зарубалов... Он, погляди!

— Да как же?.. И в самом деле... Он. Вчера ведь у нас был. Контры это, Трифон. Узнать бы кто, ноги на двух березах мало разодрать сволочи.

В блеклой мгле холодного рассвета отливавшее синевой лицо Зарубалова казалось каменным. Усы и подбородок около рта обмерзли кровавой слюной. Вытянувшись, покойник казался необыкновенно длинным. Одежда на нем не тронута, видимо, били по голове; и напали на него раньше, чем выпал снег. Вокруг незаметно никаких следов.

— Вот, — увидев валявшуюся на земле около канавы двухфунтовую гирю, поднял ее Кирсанов. — Вот чем ударили. Старая гирька. И гляди-ко, пол-ушка отбито. Заметная.

— В милицию отдадим,— осмотрев гирю, сказал Хвостов. — Может люди ее видали, признают. Сейчас я Михайла-то посмотрю... На фронте, бывало, найдешь человека, думаешь конченый, пропал, а он еще живой... Выхаживали таких.

Говоря это, Хвостов снял рукавицы, сбросил с себя ватный пиджак, расстегнул одежду на Зарубалове и потрогал тело. Потом, словно не веря себе, приложил ухо к его груди. Оторвавшись, быстро застегнул одежду.

— Живой он, мать честная! Право-слово, живой, Паша. У меня там постилка есть на телеге — неси ее. Завернем. Застыл он. Сено, какое есть у тебя, давай на мою повозку... В больницу бы его надо, да боюсь везти

экую даль. Дорога дьявольская! Не попадись мы с тобой — сгинул бы мужик, и концов бы не найти после. Я, значит, повезу его домой, перевязку, как смогу, сделаю, отогрею, а ты, Паша, гони в больницу, доктора скорей вези... Обратно мимо милиции поедешь — забеги, скажи, что и как. Гирьку эту отдай!

Уложив Зарубалова, Хвостов поехал в Слободу. Старался он ехать объездами, по лужкам. Кирсанов завернул лошадь и хлестнул ее кнутом. Удаляющаяся телега загрохотала колесами.

На месте, где лежал Зарубалов, осталось замерзшее кровавое пятно.

Ветер шевелил деревья в парке, и они, встряхиваясь, осыпали вниз тонкие блестки инея.

1929 г.

ФИЛАТ

НЕБОГАТО жил Филат Воронин. В молодые годы был он подручным или, как называли его, «коморником» на мельнице Игнатия Макеича. Мельница у Макеича — на два постава. Воды в Серебрянке — была бы плотина в исправности — даже излишек. Круглый год, не считая времени весеннего половодья, не останавливались жернова. Работал Филат так исправно, что мельник во всем полагался на него.

В германскую войну Филата призвали в армию Дважды мужик был ранен в боях, но легко. После революции он не вернулся в деревню — сначала сражался с белой армией генерала Миллера, побывал на обороне Петрограда; закончил войну на фронте против Врангеля. Вернувшись домой, Филат не пошел в услужение к Макеичу — попробовал завести свое хозяйство. Но какое уж хозяйство, когда всё обзаведение вокруг кола обернешь. Года через полтора, когда мельница на Серебрянке «перешла» от Игнатия Макеича к комитету взаимопомощи, Филата попросили вспомнить старую его профессию. Он согласился. Но пришел теперь на мельницу не подручным, не «коморником», как прежде, а первым лицом.

Мужик он видный — высокий, ширококостный, с могучими, немного сутулыми плечами и тронутым оспой лицом. Силой тоже не обижен. Как сухие поленья, кидал осьминные пузатые мешки.

— Двухпудовкой перекрещусь,— под горячую руку хвастал, бывало, Филат.— Любой рукой возьму гирьку и перекрещусь.

Брал он двухпудовую гирю и, как игрушку, подкидывал ее вверх.

С годами сила его завяла, но все же и теперь мало находилось охотников поспорить с ним.

Зимой, когда схлынул большой осенний помол, мельница остановилась на ремонт. Надо было сменить истершиеся «пальцы» деревянных шестеренок. Ремонт несложный — на неделю времени. Воду поэтому не спускали; она в полную струю напирала на закрытые ставешки и обессиленными ручейками просачивалась по желобу к наливному колесу. Непривычная тишина в амбаре нарушалась лишь глухим стуком топоров и голосами плотников, доносившимися из-под пола. Пользуясь тем, что мельница стоит без дела, Филат решил как следует «выковать» жернова. Подняв на попа верховод, Филат, подобрав под себя ноги, уселся на нижний камень, часто и непрерывно принялся бить по нему отточенным молотком, вырубая ровные проточни. Выкованные места камня рябили в глазах. Филат спешил, чтобы к часу, когда плотники исправят шестеренки, не задержать пуск мельницы.

Занятый своим делом, он в полумраке амбара не заметил, как с улицы к нему заглянул Игнатий Макеич.

— Бог-помощь, Филя! Жерновки куешь?— окликнул Макеич мельника. — Шел мимо, слышу — тюкаешь. Дай, думаю, загляну к старому дружку.

— Кую, — не приостанавливаясь, отозвался Филат. — К сроку поторапливаюсь.

— Вот как, а я предполагал, сроки-то у тебя с собой.

— Так-то оно так, Игнатий Макеич, только затянем ремонт — с помолом после не справимся. Мельницы нынче наперечет, кои поломали, кои вчистую нарушили, а у нас она справная. Со всей округи зерно везут.

— Доход, значит, имеешь?

— Есть. Прибыль дает мельница.

— Ишь ведь какое дело, голова! Горяч ты на работу, Филя, другой бы на твоем-то месте давно хоромы себе поставил, а ты, как жил, так и живешь. Не соблюдаешь свой интерес.

— Как не соблюдаю? Люди на меня не в обиде.

— То-то вот и есть — не в обиде. На чужую кашу спину ломишь.

Игнатий Макеич обошел вокруг жернова, потер ладонью его шершавую поверхность, словно желая удостовериться в исправности ковки, и громко высморкался.

— В колхоз-то вступать, Филя, имеешь намерение?

— Не знаю, не решил еще.

— Ну?! А я ведь думал...

Колхоз в Илюшине организовался недавно, перед новым годом. Объединились в нем двенадцать дворов. Три недели прошли с тех пор, число дворов за это время увеличилось вдвое. Филат пока держался в стороне, выжидал; но спокойствия у мужика не было. Он присутствовал на памятном первом собрании. Крепко подмывало его тогда поставить и свою подпись на листе с фамилиями учредителей, но сделать это он не решился. Оробел, страх сковал руку. Прежняя жизнь была понятна ему, знакома вся, до последней мелочи, будто нагая перед глазами, а новая?.. Что-то она принесет? На словах вроде бы и хорошо всё, красиво, но ведь из слов шубу не сошьешь, из доброго желания избу тоже не выстроишь. Невелико хозяйство, а все же оно есть; нарушить легко, а собрать?.. Нужда Филату знакома, не сладко с нею кумиться. Попробовал говорить с женой — куда тут! На всю деревню подняла крик: не пойду — и весь сказ. Пользуясь случаем, Филат решил посоветоваться с Игнатием Макеичем.

— Ты-то, Макеич, сказывают, вступил в артель?— осторожно спросил Филат.— Ничего, способно?

В глазах у Игнатия Макеича поиграли огоньки, но, блеснув, они тут же погасли.

— На народе коли молвить, то способно,— ответил он.— Мое дело, Филя, особое, я бумагу имею от медицины о непригодности к тяжелому труду. На мельнице, скажем, вроде тебя, это я могу, а в поле или еще где — там уж я не работник.

Филат опустил молоток; опираясь на его рукоятку, поднял глаза на бывшего своего хозяина и сказал:

— Не разберусь что-то, о чем ты говоришь, Игнатий Макеич?

— Чудак ты, голова, право!— воскликнул Игнатий Макеич. Он подошел ближе к Филату, склонился к нему.— Лучше скажи, что иначе-то мне делать? Меня нужда погнала в колхоз, вот и вступил я.

— Нужда?— изумился Филат.— В твоем-то хозяйстве нужда?

— А как думаешь, голова? Нужда форменная. Не вступлю в колхоз — закулачат, как пить дать... Из дому выселят. Мое дело такое, что уж все равно.

— Да-а,— протянул Филат и, как бы сочувствуя Макеичу, вздохнул.— А я вот не знаю, как быть? Сам-то, пожалуй, вступил бы, а баба у меня —ни в какую! Жизни решусь, так, прямо, и заявила. Как ты посоветуешь — вступать?

Игнатий Макеич ответил не сразу. Он посмотрел на Филата, окинул взглядом мучной амбар, постучал пальцами по поднятому камню жернова, около которого стоял, и, наконец, медленно, не повышая голоса, промолвил:

— Твое дело — не мое горе, Филя. Будь я на твоем-то месте, да разве бы я согласился? Нет. Не стал бы людей смешить.— Сказав это, Игнатий Макеич присел боком на камень, рядом с Филатом, и продолжал:— Твоя жизнь, Филя, в единоличности во сто разов лучше колхозной. На что тебе волю свою терять? По деревне ты состоишь в бедноте, тебе, значит, и государство помогает, и заработок на мельнице имеешь хороший. Все у тебя свое. Раскинь-ко умом, что лучше-то? В единоличности — сам ты себе во всяком деле хозяин а в колхозе что? С твоим здоровьем... Да там воду на тебе возить станут. Мужик ты смирный, не поперечишь. Баба твоя, говоришь, противится, а по-моему, с умом она действует. Твою Настасью я знаю — не дура. На твоем-то месте, доведись меня, да я за тридевять бы земель не подошел к колхозу. Как хочешь суди, а только я от души, по-дружески тебе говорю: не поддавайся! И хозяйство не сгубишь, и уважения не потеряешь.

Раздумье навалилось бревном. После разговора с Игнатием Макеичем Филат окончательно не знал, что ему делать? Казалось, всю жизнь правильно шел он, не оступался вроде, а тут очутился на распутье. Все перемешалось. Как будто в зимнюю вьюгу стоит он один в поле. Дороги замело, злой ветер яростно свистит в ушах. До того растерялся Филат, что и в себе не

волен, и на людей начал смотреть волком. На мельнице каждый день полно народу. Пристают к нему мужики с разговорами, а он одно:

— Ну вас к ляду! Некогда мне.

Как и прежде, кидал Филат пузатые мешки. Насыпая в ковш зерно, он видел, как, переливаясь, блестит золотистая кожура сухой ржи. Точно жалко было ему чужого зерна, исчезающего в круглом зеве стремительного в своем беге жернового камня.

Днем, когда был на людях, Филат все же чувствовал себя лучше. Ночью же, как ни старался заснуть, мучился в бессоннице. Забудется немного, потом снова навалятся на него думы. Как тут быть? До утра еще долго, а Филат уже на ногах. Осторожно, стараясь не разбудить жену, «искал» он в темноте одежду, собираясь на мельницу. Перед тем, как уйти, окликал:

— Настасья! Ухожу я... Запри калитку!

— Куда рань-то этакую?— зевая спросонок, спрашивала жена.— Чаю бы выпил. Чего пойдешь голодный-то.

— Там позавтракаю. Хлеб с собой взял.

К мельнице он спускался задами, мимо огородов. Под ногами звонко хрустел снежный наст. После душной избы на свежем холодном воздухе зимнего утра грудь дышала легче. Это немного успокаивало. И людей никого не видно. Спустившись к реке, тропа некоторое время тянулась меж обындевелых кустов хрупкого на морозе ольшаника. За ними полянка. Дальше от реки, на возвышенности, крытая соломой изба для помольцев. Крыльцо у нее развалилось, в узких запыленных окошках еле-еле поблескивает желтоватый свет. У реки, на самом берегу, мельничный амбар; он поставлен на сваях. Постройка старая; прослужит, может быть, год-другой, и придется амбар перебирать заново.

Филату хочется думать о том, как он будет целый день возиться с мешками, засыпая зерно, будет пробовать на ощупь и на вкус сладкую, теплую струю муки. «А сейчас надо затопить в конторке чугунную печь-времянку»,— думал. Но где бы он ни был, чем бы ни старался отвлечь себя, мысль о колхозе его не покидала.

«Почему мне хуже там будет?— спрашивал себя

Филат.— Может, врал всё Игнатий Макеич, с пути сбивал? Не жизнь, право, а телега немазанная! Не знаешь, с какого конца к ней и пристать!»

Бывало не раз горели уши у Юшки Завилова от ласковой руки Игнатия Макеича. Бегал тогда Юшка подпаском в Илюшине. Игнатий Макеич, встретясь с Юшкой, не упускал случая лишний раз позубоскалить над парнишкой. Заступиться за Юшку некому; рос он без отца, а мать — бобылка Маремьяна,— с тех пор как сбила ее на дороге лошадь якушинского маслодела Столярова,— еле таскала ноги.

Подзовет к себе Макеич Юшку, возьмет за уши, приподнимет.

— Ну-ко, голова, хе-хе! Погляди на Москву!

В другой раз зажмет в жесткую щепоть Юшкины вихры и велит:

— Вывернись!

Слезы на глазах у Юшки. Сжав кулачонки и стиснув зубы, крутнется он, как юла. Больно, но Юшка не хныкнет. Как волчонок, исподлобья взглянет на Макеича. А тот доволен.

— Молодец! На, ешь баранку!

Иной раз Юшка и брал баранку, но чаще убегал от шутника-мельника и долго потом старался не показываться ему на глаза.

Юшка вырос. За уши его уже не поднимешь. В позапрошлом году поступил он на курсы трактористов. Учился прилежно, а окончив учебу, стал работать в совхозе, в Заболотье,— километрах в двадцати от Илюшина.

Работа была ему по душе. Маремьяна лет уж, небось, пять прошло, как отдала богу душу; другой родни в Илюшине не было у Юшки, но все же парень нет-нет да и заглянет туда. Ни дому, ни лому не осталось у него в деревне, а родные места, видать, не вытряхнешь из сердца.

Настала весна. Снег согнало почти весь. Бушевавшая водою Серебрянка вошла в берега. Во время ледохода Филат спустил воду, и мельница пока бездействовала. И хотя работы мельнику не было, Филат не пропустил ни одного дня, чтобы не наведаться к жерно-

вам. Нет дела, а при желании оно всегда найдется Филат починил развалившееся крыльцо у избы для помольцев, в самой мельнице тоже нашлись кой-какие упущения и недоделки. Сегодня, явившись в амбар, мельник принялся строгать новые рогатки, с помощью которых насыпают в мешки муку из ларя. Оказалось, что и лопатки для захвата муки тоже истерлись.

В совхозе к этому времени закончили ремонт тракторов, и Юшка отпросился в Илюшино. Вышел он рано утром. Побывав в деревне, решил заглянуть на мельницу. С детских лет осталось у него к Филату хорошее чувство; ведь только Филат, бывало, и заступался за него перед Макеичем.

Филат осколком стекла выглаживал рогатку, когда пришел Юшка.

— Наше вам, дядя Филат!— поздоровался он.— Как живешь?

— С приездом, Юша!— откликнулся Филат, поднял глаза на парня.— А ты, гляжу, молодец-молодцом вытянулся, по-прежнему-то и звать тебя вроде уж неспособно. Не Юшка, а Ефим Кондратьевич стал. Как орел.

Филат невольно залюбовался на видного парня. Своих детей у него с Настасьей никогда не было, Юшка — сирота, и, может быть, поэтому Филат всегда относился к нему как-то по-особенному, ближе, чем к другим. И в самом деле, парень, который стоял перед ним сейчас, мало чем напоминал прежнего подпаска. На ногах у него кожаные сапоги, на самом — клетчатая рубашка, на плечах — внакидку — овчинный пиджак. Из-под серой кепки пушатся на лоб темные колечки волос, на груди — красный значок, с красивыми буквами «КИМ»...

— Ты, Юша, совсем барином стал в своем совхозе,— сказал Филат.

Юшка рассмеялся. Чудной Филя! И все такой же, как прежде, большой и неуклюжий.

— Нету бар нынче, дядя Филат, давно их отменили,— отозвался Юшка.

— Знаю, а я так, к слову молвил.

— Ты все, как прежний, гирьки-то еще поднимаешь?

— Поднимал, Юша, а нынче не пробую. Сдавать стал,— ответил Филат.

— Неужто? Вот уж не думал.

— Ничего не поделаешь, годы не вперед идут. Ну, а коли правду молвить, так и жизнь тоже не очень-то красит. Разбивка у меня.

Сказав это, Филат подошел к пустому ларю и, словно бы ища в нем чего-то, наклонился.

— В колхоз-то вступил, дядя Филат?— спросил парень.

— Чего?— будто недослышав, поднял голову мельник.

— В колхозе ты, спрашиваю? Зимой-то ведь упрямился.

Филат ответил не сразу, словно ему неловко было сказать правду зашедшему на мельницу парню.

— Нет, Юша, не вступил,— промолвил, отводя глаза.— С чем я туда пойду?

— Да что ты?!— удивился парень.— Такому-то, как ты, в колхозе первое место.

— Первое?!— недоверчиво ухмыльнулся Филат.— Какое уж там, к ляду, первое! Лошаденки у меня и той нет.

— Ну и что?— сказал Юшка и подошел ближе к Филату.— Беднота в колхозе — как бы тебе объяснить?.. Ну, вроде как хребет у человека. Вся сила колхозная на ней держится.

— Нет, Юша. На пустом колу не привьется яблонька. Что сила в бедноте — сказки ведь это. Принесешь в колхоз один горб, так с горба и спросят. Ты лучше вот что мне обскажи: Игнатия Макеича, мельника нашего, помнишь?

— Еще бы, не забыл.

— В колхозе он нынче. Сдал скот и другое какое там есть имущество, да ведь у него добра не выберешь. Не велел он хоть сказывать, но от тебя я не таю: предлагает мне купить вроде у него сбруйку выездную и еще там разное имущество. Денег сейчас не просит. Семян тоже дает на посев, а в колхоз он никак не советует мне идти. Как ты скажешь — брать у него добро?

— Это уж ты сам решай, дядя Филат.

— Я бы не против,— продолжал рассуждать Филат,— ну, а вдруг, думаю, потребует он у меня за все по полной цене? Сбруйку-то у него знаю, видел, хоро-

ша, но мне-то она к чему? Себя что ли в нее запрягать? Вот и раздумываю: вроде бы взял, а вроде и страшно.

— Ты бы поменьше дружил с Макеичем-то, дядя Филя,— высказал свое мнение Юшка.— Мало что ли ты на него гнул спину или без этого и жизнь тебе не мила? Пролез Макеич в колхоз, а душа у него, как была кулацкая, такой она и осталась. Выгнать его надо да раскулачить. Я вот сегодня же поговорю об этом с Синьковым. А тебе с Макеичем никак уж не по пути, дядя Филат, не по пути!

После разговора с Юшкой Филат еще больше разбился мыслями. Что делать? Не привык он жить сухим пеньком в лесу, а теперь вот — куда ни кинь — нет выхода. Хотел было сходить к Синькову, посоветоваться с ним, но передумал.

С Михеем Синьковым они одногодки. Вместе росли, вместе были в Красной Армии. До прошлой зимы жили они приятелями, а теперь дружба их рассыпалась. Синьков — председатель в колхозе. дельный ли совет от него получишь?

Однажды, когда никак уж не ожидал этого Филат, поздним вечером Синьков сам заглянул к нему в избу. Погода в тот день выдалась ненастная. За окошками выл ветер; в непроглядной тьме казалось, что это не ветер, а беспросветная ночь сама шумит своими черными крыльями. В избе Филата слепо мигала скупая лампа, пугая дрожащим светом прячущихся в пазах тараканов. Филат, вернувшись с мельницы, только что снял лапти и сидел на лавке, сматывая вокруг ладони оборы.

— На сапоги пора сменить обужу-то, Филя,—поздоровавшись с ним, пошутил Синьков.— И на лаптях-то у тебя, вижу, пятки протерлись.

— Ношу покуда,— хмуро буркнул Филат.— Я-то что, мне не перед кем щеголять. Ты вот чин, председатель, а сапожки на тебе, как и мои — берестяные.

— Придет время — хромовые обуем,— рассмеялся Синьков,— а пока и так хорошо. Я, Филя, по делу к тебе — как ты, надумал в колхозную-то жизнь?

— Ты об этом? Думаю, Михей, да не знаю — с руки ли? С чем я пойду?

— Вот тебе рупь двадцать — с чем? Руки у тебя есть?

— Есть, а чего они стоят?

— Много. Упрямишься ты, вот что,— в голосе Синькова прозвучал упрек.— Не ждал я, Филя, что ты, дружок мой, и вдруг в контрах останешься. Игнатия Макеича и того подмыло, а ты... Чего ты мудришь, скажи на милость! На тебя-то глядя, и другие-которые тоже упираются.

— За других меня не вини, Михей! Я не агитирую и на вожжах никого не держу. А Макеич... Он ведь не дурак, зря не полез бы. Интерес у него.

— Интерес?— повторил Синьков.— На что ты намекаешь?

— Не намекаю, а говорю то, что надо. Закулачили бы его без колхоза, а теперь он полноправный,— вспомнив недавний разговор с Макеичем, сказал Филат.

— Может, и так оно, о Макеиче еще будем говорить, а сегодня у меня к тебе дело. Мельница наша от комитета взаимопомощи в скором времени отойдет к колхозу. Решение в районе об этом уже состоялось. Так вот я о чем тебе: был сегодня у меня, в правлении, Игнатий Макеич, говорил со мной. Знаешь, о чем он просит?

— Нет. Не святой я, чтобы знать,— снова нахмурясь, проворчал Филат.

— Да, верно это, что не святой. В мельники просится Игнатий Макеич, на твое место. На напольную работу или на что другое, говорит, не гожусь, бумагуде имею от медицины, а на мельницу — идет с удовольствием, готов хоть завтра.

— А меня на улицу, Михей? Спасибо!

— Вот чудной! Ты не член колхоза, а на колхозной мельнице наемных рабочих не положено. Макеич знает это.

— Он может, а я нет?

— Никто не обегает тебя, Филя, сам ты не хочешь. Посуди вот, был ты человек, как человек, советскую власть кровью своей защищал, и вдруг... Язык не поворачивается сказать: уперся, будто контра какая. Макеич и тот говорит, что уговаривал он тебя... Разбогател ты что ли на мельнице? Может, жирком оброс?

Лицо Филата побагровело. Он открыл было рот, но только промычал что-то и умолк. Синьков повернулся, словно собираясь уйти, а вместо этого подошел к столу и сел на лавку. Взглянув на растерянную фигуру Филата, он сказал так, будто и не замечал волнения мельника:

— Настасьи-то нет дома? Не вижу ее.

— Нету. В Мартьянково ушла, мать проведать.

— То-то домовничаешь ты... Садись-ко, Филя! Да успокойся ты, поговорим по-дружески, по-настоящему. Мне нечего от тебя скрывать, да, кажется, и тебе тоже нечего бы таиться. Заходил ко мне сегодня Ефим Завилов. Знаешь его — хороший парень, комсомолец. Говорил ты ему кое-что про Макеича?

— Ну и что же?

— А то и выходит, что Макеич округ пальца обвел тебя. Язык у него без костей. Выкладывай-ко, на что он тебя сбивал? Что он обещал тебе да советовал? Я прямо, по душе скажу: в одной компании с ним тебе не по пути.

Засиделись за полночь. Когда Синьков уходил, Филат сказал ему:

— Завтра я зайду к тебе, Михей. Ежели что, так я уж на тебя надеюсь.

— Что может быть? Приноси заявление и — точка. В воскресенье у нас общее собрание, там, кстати, поговорим и о Макеиче. Пора вывести его на чистую воду

На общем собрании членов Илюшинского колхоза обсуждали вопрос о готовности к первому колхозному севу. О том, что надо сеять — никто не спорил, но вот предложение организованно провести смотр готовности неожиданно вызвало возражение колхозников. Особенно горячо настаивал на отмене смотра Игнатий Макеич.

— Ни к чему нам этот смотр, голова,— говорил он.— Толку от него никакого, зря только людей и лошадей станем мучить. Придет время пахать, безо всякого смотра выедем. Не впервой.

С ним соглашались, поддакивали.

— Правильно! На кой бес выдумали какой-то смотр! Маленькие мы что ли — в игрушки играть?

— Городскому начальству, ему это надобно, а не нам. Не видали люди земли, да как с плугом по ней ходят, ну, и подай! А наше дело крестьянское, испокон веков своим потом земельку поливали — чему еще-то нас будут учить? Опять же насчет ударников у меня есть словечко,— продолжал доказывать свое Игнатий Макеич.— Это что же такое? Какие у нас могли народиться ударники? Мы все одинаковы. Любому дай хорошую лошадь да плуг, так вот он, голова, и ударник. Прозвания у нас любят давать.

Игнатий Макеич знал, что говорил; расстроил мужиков. Колхозники-то они колхозники, но еще не привыкли жить артелью, у каждого, почитай, своя единоличная седалина больно терла ногу. Никому нет охоты работать лишнее, да особенно еще когда не ясна цель того, что делаешь. Закончив речь, Игнатий Макеич с таким самодовольным видом окинул взглядом собрание, точно всю землю подмял под свои ноги. Он даже не заметил, как у стола, рядом с Синьковым, очутился Юшка Завилов.

— Товарищи,— громко выкрикнул Юшка, заглушая звонким молодым голосом начавшиеся было среди колхозников посторонние разговоры. Услышав его голос, Игнатий Макеич от неожиданности даже привскочил на месте.— Все знают меня в Илюшине?— спросил Юшка.

— Еще бы не знать,— откликнулся кто-то.— В каждом дому у тебя пито-едено.

— Так вот, послушайте, что я скажу,— продолжал Юшка.— Игнатий Макеич складно говорил, не спорю, но мне после речи его кажется что ведет он всех нас на веревочке, будто телят на ярмарку. Это дело ему знакомое. Привык он впереди-то всех быть. Не знаю, найдется ли тут, на нашем собрании, человек, которому не доставалось бы от Макеича на каленые орехи? Не найдется, по-моему. Я нынче в совхозе на тракторе работаю, место свое настоящее нашел в жизни: революция и партия наша большевистская меня вывели в люди, а прежде... Как с худым щенком обращался со мной Игнатий Макеич, за человека меня не считал. Теперь он в колхоз пролез, петухом поет, а место ли ему среди нас? Чем он занимается, будучи в колхозе, как вы думаете — чем? Бедноту он колхозом пугает...

— Заедаешь, Юшка!— перебивая Завилова, крикнул Игнатий Макеич. Он покраснел, даже плечи его дрожали от возмущения.— Не член ты колхоза! Голоса не имеешь на нашем собрании, не желаем и слушать тебя.

— Имеет, свой парень...— перебили Макеича возбужденные голоса.— Говори, Юшка!

Было видно, что не один Юшка Завилов на собрании не согласен с Макеичем, многие думали так же, но сказать вслух против недавно еще первого мужика в деревне — язык не ломался.

— Скажу, — подняв руку, выкрикнул Юшка. — Не постесняюсь. Не сват мне Макеич, и в родню к нему я не набиваюсь. О чем он говорил: смотра готовности — не надо, ударников — к черту! А разве это по-колхозному? Не нашу, не колхозную линию гнет он, а свою, кулацкую. Спрятался от раскулачивания в колхоз, а дума у него одна: поссорить колхозников, развалить изнутри колхозное дело. И еще вот, в колхозе он, руку поднимает, а сам имущество свое распродает да на сохранение дружкам своим сваливает. Есть здесь люди — знают о том. Он всё продаст; переждет трудное время, накопит силенок, так, пожалуй, и колхоз вчистую ликвидирует. Гнать его надо...

— Да ты... Ты... Как ты смеешь, щенок? Кто тебе позволил врать на меня?— затопал ногами Игнатий Макеич. — Да мне сама советская власть...

— Советская-то власть, поди, теща тебе родная? — подал голос сидевший позади всех Филат.

— Родная, — словно обрадовавшись тому, что услышал, выкрикнул Макеич. — И насчет того, будто я имущество, какое сдать в колхоз было нужно, не сдаю, а продаю на сторону, пусть скажет этот щенок, кому я что продал?

— Филату продавал,— показывая на Филата, сказал Юшка.— Все обзаведение ему предлагал, только не вступай-де в колхоз. Вот какой ты благодетель. Мало потрясли тебя. Предлагаю, граждане, исключить из колхоза Макеича, как злостного кулака, и имущество его конфисковать, по закону.

— Выслать его, как якушинского Столярова.

— Правильно.

— Чего правильно? Нету закона, чтобы выслать.

— Есть. Не место кулаку в колхозе. Пиши, Синьков, на выселение!

— Уж и попил Игнашка нашей кровушки. Ведь страх-то какой у всех был перед ним — слова не могли сказать супротив.

Шум невообразимый. Кричали все, стараясь перекричать друг друга. Ничего нельзя было разобрать. Было похоже, что подняли над землей большую сковороду и без устали бьют и бьют в нее железными молотками.

Филат встал, протолкался ближе к столу. Глаза у него сверкали гневом. Казалось, понял он сейчас что-то большое и до крайности важное и хочет о том, что понял, сказать людям. Выйдя к столу, он снял шапку. Серый от въевшейся мучной пыли пиджак его, с протершимися локтями, распахнулся и при каждом движении хлопал полами, как крыльями.

Увидев сейчас Филата, Игнатий Макеич съежился и словно бы потускнел весь. А Филат стоял молча. Очутившись лицом к лицу перед собранием колхозников, он оторопел, забыв то, о чем хотел говорить.

— Товарищи, тише! — призывал Синьков. — Дайте сказать Филату Воронину! Да помолчите же!

— Не умею я, граждане, говорить складно-то, — когда улеглась самая бурная волна шума, начал Филат. — Юшка Завилов правду открыл давеча собранию об Игнате. Все праведно. Приходил ко мне Макеич, не раз и не два, а частенько заглядывал; время он выбирал, когда у меня на мельнице народу не было. Вот он что говорил: куда тебе, Филя, в колхоз! С твоими вшами нечего тебе делать там. Ты ведь и без того беднота, а это-де нынче самое милое дело. Государство бедноте помогает. И бранил меня Макеич: дурак ты, говорит, дурак! Вся мельница в твоих руках, а ты свой интерес не соблюдаешь. Значит, худо делаю, что воровать не научился. А я, граждане, чем хошь побожусь, горсти муки ни у кого не украл, никто про меня не скажет. А тут вот Синьков... Поругался я с ним. Контрой он обозвал меня. Не знаю уж, как и стерпел я, а вот стерпел. Да что там, через эту обиду свет увидел. Православо! При нем, при Синькове, это скажу. Чтобы я да в контру, за кулака чтобы... Не-ет! — Филат постучал себя в грудь. — Не бывало этого. И про Макеича выска-

жу. Сбруйку выездную да всякое другое имущество мне совал. Хорошо, что отвело меня, не поддался. И сейчас он тут, на собрании, пел: не по-нутру всё ему. Может колхоз пахать вешницу? Макеичу наплевать на это. Об ударниках молвили... Так он и разговора такого не хочет иметь, видеть их не желает. Да что же это? Какой он после этого колхозник, к ляду! Метлой его! Я вот первый желаю в ударники, только дозволение мне дай! Не струшу.

Филат тряхнул перед собой тяжелым кулаком и добавил:

— А от контры место в колхозе надо очистить.

...Дома, у крыльца еще, Филата встретила заплаканная жена.

— Чего ты наделал-то!— заголосила она.— Со свету сживет теперь нас Макеич.

Филат поднялся на крыльцо и, как бы не решаясь сразу войти в избу, оглянулся. На улице, через дорогу, бежал к нему Юшка. Филат усмехнулся и, успокаивая жену, сказал:

— Без Макеича проживем, Настасья! За милую душу... Да ты не хнычь! Видишь, парень в гости бежит, зови в избу! Он помог гниду вычесать из колхоза... Молодец! И мы с тобой не хуже других, тоже не последними будем.

СЫН

ПЕТР Степанович Кожин, конюх колхоза «Красный путь», пришел домой поздно. Он молча разделся, бросил на полку картуз, налил в ковш холодного квасу и залпом выпил его. На шум из-за перегородки выглянула жена.

— Ты чего запоздал-то, отец? — спросила она. — Ужинать, поди, собрать?

Петр Степанович не ответил. Слова жены проскользнули где-то мимо. Занятый своими думами, он сел к столу.

— Да ты живой, ай нет?

— Живо ой, — не поднимая головы, буркнул Петр Степанович. — Собрание было.

— Ругали что ли?

— Кого? Ты о чем спрашиваешь?

— Тебя, кого же еще-то? Небось, лошадей измучили, а теперь на конюха сваливают вину. Знаю, какие у нас ездоки. То неладно и это нехорошо. А ты-то у меня, как присох к конюшне. Шестой год ни взад ни вперед, топчешься на одном месте.

Жена, видимо, воспользовалась случаем позднего возвращения мужа, чтобы поговорить с ним о том, что у нее давно наболело. Она сердилась, что муж работает конюхом — и тяжело, и забот много. Не свяжись он с лошадьми, да будь понапористее давно бы стал бригадиром.

— Кто тебе сказал, Анна, что на конюшне у меня неладно? — недовольный обидными намеками жены, хмуро спросил Петр Степанович.

— Никто не сказывал, сама знаю.

— Плохо знаешь-то. Язык у тебя без костей — это уж так точно.

— Знаю, бывала на конюшне.

— Бывала, да, видно, гляделки дома забыла. На конюшне у меня лучше, чем в ином раю.

— Тоже рай, сравнил...

— Есть что сравнивать, не я — люди так говорят. — Петр Степанович выпрямился, значительно взглянул на жену и добавил: — Политическое собрание было.

— Чудеса! Комсомольцы какие! Без тебя-то, знать, некому заседать на собраниях?

— Понятие надо всем иметь, вот что, — решительно произнес Петр Степанович. — Какая жизнь-то у нас в государстве, а? Сколько разных богатств у нас: земли, лесу, руд разных — всего?.. Одним словом сказать — эсэсэсэр. А кругом сволочь всякая буржуйского звания глазищами зиркает, зарится на наши богатства, зубами щелкает от ярости да от зависти. Око видит, а схватить-то нечем. Мы, Анна, народ нынче тоже ученой, не лаптем хлебаем щи. Конфузить себя не дадим. Попрут, гады, войной, дорожку домой им покажем.

— Ох и герой! Не ты ли пойдешь показывать? Без тебя-то не справятся?

— А что думаешь? Пойду! — решительно произнес Петр Степанович. Он положил на стол большие, с жесткими узловатыми пальцами, сильные руки, и словно за тем, чтобы окончательно сразить жену, похвастал: — Молодежь-то, пожалуй, похлипче нас будет, с наше не выдюжит.

— Где уж молодым против вас! — насмешливо воскликнула жена. — У кого вот только спину к погоде ломит?

Петр Степанович рассердился.

— Ты, Анна, мою спину оставь! — сказал он. — Спину мне Врангель-барон на Перекопе повредил. Товарищ Блюхер лично отмечал меня, а ты... к пого-о-де! Вспомнить и мою прежнюю военную службу... Где я служил? А? Ефрейтор первой роты, второго взвода лейб-гвардии гренадерского полка. Понятно?

— Сын на призыв, а ты все про старое, — вздохнув, протянула Анна.

— Не напоминай мне о призыве! — Петр Степано-

вич недовольно оборвал жену. — Тоска, как подумаю.

— Это отчего? — спросила Анна, метнув на мужа загоревшийся взгляд.— Твой сын идет на призыв аль чей?

Она подступила ближе к столу. Последние слова мужа, видимо, задели ее за живое.

— Потому и тоска, что мой,— повысил голос и Петр Степанович. — Погляжу на него — стыд ведь. И с чего он в твою породу пошел? В моем роду народ рослый, все мы служили в гвардии, а твои братья — армейцы, недоростки... Одним словом — слабосильная команда. Федька тоже щуплый — в вас. Встанет под меру, того и жди — забракуют.

— Тебя, вишь, за него попросят служить! Парень — первый тракторист во всей округе, а ты — забракуют... Язык повернулся сказать! По-вашему Федя подошвы топтать не будет.

— Еще бы, лежа на боку пойдет в поход. Молчи уж!

— Не на боку, на танок он сядет.

В конце семнадцатого года, демобилизовавшись с фронта, Петр Степанович вернулся домой, где и встретился с бойкой красавицей Анютой. Тоненькая она была, головой еле достигала ему плеча, но что на гулянках, что на работе — Анюта впереди всех. В ту же зиму они поженились. Через год, когда Петр Степанович служил уже в Красной Армии, родился Федя. И лицом, и ловкостью — заглядение парень, одна беда — телом хлипок, похож на мать. В нынешнем году Феде идти в армию. Петр Степанович хотя и любил сына, но стыдился за него перед людьми, словно виноват был в том, что не вырастил гренадера, каким был сам.

Готовясь к призыву, Федя давно решил, что пойдет служить в танкисты. Он старательно готовился к этому. В поле, на тракторе, он мечтал о том, как возьмет руль грозной стальной машины и она так же будет послушна его руке, как нынче послушен трактор. О своих мечтах Федя как-то вечером заговорил с отцом, но тот не стал слушать, только поморщился.

— Куда тебе на танк! Возьмут в пехоту — и то спасибо скажи, если в строй; в обоз не послали бы. На танк, братец мой, нужны бойцы не слабосильные, как

ты, а гренадеры. С твоей-то силой экую махину ошутил повернуть! Не-ет! Видал я танки под Перекопом. Ты не выдюжишь.

Отец сказал правду — это знал Федя, но он не сдавался; был уверен в том, что сможет водить танк, только бы не забраковали при призыве.

Зимой Федя не остался работать в мастерских МТС: ушел на узловую железнодорожную станцию, километрах в пятидесяти от своей деревни, и поступил в грузчики. На первых порах тяжело было. Он отставал от товарищей и уставал. Но через месяц Федя приобрел сноровку. Тело его окрепло, мускулы налились, стали твердыми и упругими, грудь дышала глубоко и сильно. Весной, когда он вернулся в деревню, то уже знал: призыва ему страшиться теперь нечего; не могут его забраковать. На сомнения отца, когда тот высказывал их, Федя отвечал просто:

— Посмотрим.

Осенью, пред самым призывом, поблизости от деревни, где жил Петр Степанович, происходили дивизионные тактические учения. Однажды, ранним утром, еще до восхода солнца, Петр Степанович шел на конюшню. Вдруг его встревожил доносившийся откуда-то странный и непонятный гул. Петр Степанович прислушался. Гул шел с луговой стороны, из-за реки. Первой мыслью конюха было: никак поднимается ураган, но в следующую же минуту Петр Степанович сообразил, что ураган тут не при чем. Воздух был тих. На побледневшем небе догорали утренние кудрявые звезды. Высокие тополи и рябины на прогоне бессильно топорщили гибкие ветки. А между тем странный гул все усиливался. Он напоминал не то отдаленный гром, не то обвалы в далеких горах, какие наблюдал Петр Степанович в свое время, воюя на Карпатах.

Не зайдя в конюшню, он обогнул ее и выбрался за овины. Всматриваясь в утреннюю, затянутую легким туманцем даль, конюх, наконец, рассмотрел, как лугом, направляясь к реке, быстро движутся серые, словно примятые к земле, плотные копны сена. По-первости Петр Степанович не понял, в чем дело. Не то что страх охватил его (страха он не признавал), а у него возник-

ло желание скорее уйти отсюда. Но разве ему, старому гренадеру, возможно отступить? Ноги точно прирасли к месту. Петр Степанович поднял к глазам ладонь, приладил ее козырьком и, не двигаясь, внимательно смотрел на движущиеся копны. Передние из них приближались к обрыву. Оттуда, с луговой стороны, река совершенно неприметна. Вот-вот они будут рядом. И только тут Петр Степанович сообразил: «Танки ведь это!..» В то же мгновение ему представилось надвигающееся несчастие. Река явится предательской ловушкой для стальных машин и для людей, которые находятся в них.

Петр Степанович не помнит того, как он сорвался с места, как бежал к реке, навстречу машинам, и, размахивая картузом, кричал:

— Э-эй! Черти! Река тут... Река-а! Правее держи, правей! Сворачивай туда, там мост!..

Что произошло дальше, Петр Степанович этого никогда бы не смог передать. Головной танк приблизился к обрыву и, не приостанавливаясь, со всего размаху прыгнул (Петр Степанович и после утверждал всякий раз, что танк именно прыгнул) вниз. Чего не навидался старый гренадер в годы двух войн, в которых участвовал, но теперь он не выдержал — зажмурил глаза. Хотя и не такие с виду, как эти, но он видал танки и был уверен, что стальная машина, люди и все, что есть в ней, погибли. Река подстерегла, воспользовалась беспечностью водителя и — сожрала. Но в следующую минуту... Если бы Петру Степановичу сказали раньше о том, что он увидел, он не поверил бы. Танки один за другим срывались с обрыва и летели в воду. Совершалось гигантское самоубийство. Вода в реке словно кипела. И до того была обидна эта бессмысленная гибель людей и машин, что даже выругаться у Петра Степановича недостало сил. Казалось, впервые в жизни он почувствовал беспомощность свою и бессилие помочь в беде людям.

Не успел Петр Степанович опомниться от первого потрясения, как новое событие окончательно сразило его. Перед ним, на этом берегу, словно из-под земли появился танк. Те, что недавно падали в реку и, казалось бы, погибли, легко, словно гигантские пауки, преодолев течение, взбирались по отвесному обрыву на-

верх. В первой машине распахнулся люк, в нем показалась голова танкиста, забронированная в темный матерчатый шлем. Танк на малой скорости приблизился к Петру Степановичу и остановился. Танкист спрыгнул на землю, четко козырнул и спросил:

— Товарищ, как называется ваша деревня?

Петр Степанович ответил. Много слыхал он рассказов о технике Красной Армии, но то, что увидел сейчас, выходило за все пределы его представлений.

— Как же это вы через реку-то, а?— не вытерпев, Петр Степанович задал вопрос танкисту.— Признаться, я ведь уж думал — погибли. Ни понтона, гляжу, на реке, ничего. Испугался даже. А вы прямо из воды... Не принимает она вас что ли?

— Не принимает,— рассмеялся танкист.— Наши танки ходят и сквозь огонь, и сквозь воду.

— Чудно!

— Чудно, но правда. Вы сами видели.

Петр Степанович подошел к машине, ласково погладил ее холодное стальное тело. Танкист, который разговаривал с ним, напоминал Федю: был такой-же щуплый и скромный. Но после того, что видел сегодня Петр Степанович, он смотрел на паренька с таким искренним восхищением, словно тот был правофланговым первой роты, первого гренадерского взвода. Да и как смотреть иначе на человека, в руках которого грозная стальная машина умна и послушна, как игрушка.

Танки скрылись в лесочке за полем. Петр Степанович долго смотрел им вслед, прислушиваясь к доносящемуся издали гулу их могучего движения. Он никак не мог забыть паренька в темном ушастом шлеме, слышал голос, объясняющий достоинства машины, но теперь вместо незнакомого лица танкиста Петру Степановичу представлялось лицо Феди. Впервые сегодня он думал о сыне по-новому. В мыслях его образ Феди неразрывно слился с танком, которому (как сегодня убедился Петр Степанович) не страшны ни преграды, ни враги.

В день призыва Петр Степанович вместе с призывниками отправился в город. Вернулся домой через два дня. Улицей он шел, высоко подняв голову и твердо,

по-солдатски, отбивая шаг, ступая на всю подошву.

— Петро Степанович!— окликнул его дружок Мануйлов, бригадир.— Как Федя? Принят? В какие войска?

У Мануйлова нет сыновей, только три дочери. Он вместе с Петром Степановичем когда-то призывался в армию, и служили они в одном полку. Как ни стара была их дружба, сегодня отец Феди чувствовал себя не ровней бригадиру — посмотрел на него сверху вниз.

— Такого парня, как мой, да не взять; быть этого не могло,— сказал он.— В роду у нас не случалось белобилетников. Сам я, знаешь, кем был, а Федя танкист. В танковый полк назначен. Это, Митрий Михайлович, почище нашего с тобой гренадерства. Мы с тобой силой брали, а у них техника. Придется коли что, так они и сквозь огонь, и сквозь воду... Гроза! Горжусь я сыном, не подвел.

1938 г.

———

СЧАСТЬЕ ИВАНА ИВАНОВИЧА

I

БОЛЬШЕ всего в жизни Иван Иванович любил лес. Любовь эту он унаследовал от своего деда, старого охотника, которого напоминал и внешним обликом и характером. Как и дед, Иван Иванович был среднего роста, широкоплеч, так же косолапил при ходьбе; говорил не торопясь, рассудительно, не повышая голоса даже тогда, если бывал чем-либо недоволен или обижен.

Отца своего Иван Иванович не помнил, но со слов людей знал, что и тот любил лес, только любил по-своему, не так, как они с дедом. По зимам Иван Петрович (так звали отца) работал лесорубом на купеческих лесных делянках, веснами ходил на сплав. Ивану Ивановичу не было и пяти лет, когда отца захлестнуло деревом на делянке лесопромышленника Седунова.

Жизнь лесоруба не прельстила парня, его страстью стала охота. Мальчишкой еще, тайком, так как дед не любил этого, Иван Иванович вешал [1]) птицу, а потом, когда дед подарил ему шомполку, почувствовал себя настоящим охотником.

— Осторожней с ружьем, Ваня,— вручая подарок, предупредил дед.— В лесу зря порох не трать. Мы, Кругленковы, знаешь, какие... Не баловники мы...

Дед был очень строг ко всему, что касалось охоты, и всегда осуждал людей, которые нарушали охотничьи законы. Иван Иванович не забыл до сих пор, как однажды дед рассердился на него.

---

[1]) Ловил в силки.

Случилось это незадолго до Петрова дня. Иван Иванович (ему шел тогда пятнадцатый год) надумал глушить из шомполки щук. Идти на охоту рано, дед говорил, что время не вышло брать дичь, а ждать не было сил. Ружье, кажется, так вот само и просилось в руки. Парень то и дело чистил его, смазывал. Дождавшись воскресенья, когда народ отдыхал, он отправился на Серебрянку. Серебрянка — незаметная лесная речонка. По летам, в жаркую пору, русло ее пересыхало начисто, вода оставалась лишь в бочагах. Осторожно, чтобы не хрустнула веточка, подкрадывался «охотник» к тихому бочагу, высматривал из-за куста. В чистой воде хорошо видно, как стоит рыба. Ваня взял трех щук. Продел под жабры черемуховый прутик, перекинул рыбу через плечо и, довольный удачей, пошел к дому.

Близко Заполицы, около самой дороги, завозилось в ольшанике: тетёра! Птенцы, как орехи,— в стороны, матка на дерево, квохчет там. Все на свете забыл парень. Не помнит, как сорвал с плеча ружье, как целился; даже выстрела своего не слыхал. Подобрал птицу. Радоваться бы удаче, а у него тревожно стало на сердце.

Дед не взглянул на щук. Взяв птицу, он осмотрел ее, сдвинул над переносьем брови и сказал:

— Что же ты, парень, в неположенное время птицу берешь? Будто бы не говорил я, не упреждал. Нуко, цыплята теперь, как будут? Ведь пропадет выводок. Настоящий охотник, парень, не изводит, а бережет дичь, охраняет ее до времени. Добро бы ты чухаря отстрелил, а то — матку. Костюне Исакову — тому все равно, вовремя ли, безо времени ли стрельнуть, все —«прости господи», а мы — Кругленковы, нам не положено нарушать закон.

Дед гордился своей фамилией и при случае всегда напоминал об этом.

II

На следующее лето Иван Иванович взял первого медведя.

Только что начали жать рожь. Домашние были в поле. Ваня на пару с дедом готовился возить к овину

снопы. Время близилось к обеду. К ним зашла Марья Широниха. Поговорила о том, о сем и вдруг, будто вскользь, обратилась к деду:

— Ну-ко, Петро Максимович, оказья-то. На Длинниках нынче овса не придется косить. Не бывал там?

— Нет, а что?— спросил дед.

— Медведь повадился, Петро Максимович. Лес-от рядом там. Все зады изъездил, окаянный. Кое высосал, кое смял.

— Видали его?

— Не видали, да ведь кому еще-то — он.

— Мало ль кому... Скотину, может, пастухи не устерегли.

— Не-ет, Петро Максимович, не скотина, — возразила Широниха.— Как гумно укатал. Попугать бы надо.

Дед ничего не ответил. Иван Иванович даже удивился, глядя на него. В жизни своей Петр Максимович не раз встречался с медведями один на один, но в последние годы, если при нем начинали разговор об охоте на зверя, старик отмалчивался и вел себя так, словно разговор этот был ему неприятен.

После обеда дед ушел в чулан, а когда вернулся в избу, на нем оказалась новая пестрядевая рубаха, подпоясанная тканым пояском.

— Схожу в поле, погляжу, зря аль нет шумела?

Он не сказал о том, кто «шумела», но было ясно, что старик говорил о Марье Широнихе, о том, что слышал от нее о появлении овсяника.

Домой Петр Максимович возвратился уже вечером. Должно быть устав, шел он, тяжело печатая косолапый шаг. В избе сразу спросил ужинать. Ел молча. Отужинав, встал из-за стола, подошел к висевшим на перегородке большим старинным часам с белым потрескавшимся циферблатом и длинным, медленно качающимся латунным маятником, подтянул опустившиеся гири. Исправив часы, сел на лавку и спокойно, как будто речь шла о чем-то самом обычном, сказал:

— Он на овсах-то. Поутру мы с тобой, Ваня, лабазик сделаем. Местечко я выбрал — лучше не надо. Елки — гривкой этак, как островок. Скрытно сядем, а он, выйдет ежели, как на ладошке будет. Вечерком завтра, бог даст...

Парень слушал деда, затаив дыхание. Не верилось,

что пойдут они строить лабаз, потом будут ждать медведя по-настоящему, как это делают охотники.

— Глазок у тебя верной, Ваня,— говорил дед,— а медведко, он, брат, и силен, и хитер. Приведется стрелять — клади пулю под лопатку ему аль в ухо. Промажешь, особливо ежели заранишь — освирепеет он. Приметит лабазик и — к нам. Он — как кошка. Не успеешь другой заряд вложить. Говорят, медведко неповоротлив, тяжел на ногу... Все это вральство. Ловчее и хитрее его нет другого зверя в лесу. Насмотрелся я. Как махнет он на лабаз, бороться с ним тогда худо. Помню, одного я брал; тоже овсяника. Заспешил это, да в шею ему... На мое счастье, лабаз был неприметлив, медведко и покрутился на земле. Успел я из другого ствола. Упал он. Вижу — распустил уши, значит, мой. Ежели он притворяется — уши беспременно к голове прижмет. Тут к нему не кажись, изломает. На моей памяти, в Коптеве, Степан Маланов жил. Охо-отник! Пошел он на овсяника, а лабазишко... Торопился вишь, сколотил кое-как. На меткость свою да на силу понадеялся. А на беду — возьми да и зарань зверя. Медведко к нему. Степан было за топор. Чего большето, одно осталось — поднимется когда, лапы рубить. По дереву медведко в обнимку лезет. Лабаз качнулся аль другое что, но сорвался Степан. Поломал его зверь. Привезли когда мужика домой — лица нельзя было узнать.

Дед впервые серьезно, как с большим, говорил с внуком.

— Стрелять приведется тебе, мое ружье возьмешь,— продолжал он наставление.— Такое дело, Ваня. Тридцать девять я принял, а на Леже у нас со старины толкуют: сорокового не тронь. Сороковой — упрямой, хозяин он в лесу. Родитель мой о том мне наказывал, и я тебе говорю. Не один уж год терплю, не хожу на медведка. Осенью, белку промышляю когда, по привычке-то и примечу берложку. После, весной, как начнет притаивать, ночи не спятся. Эх, думаю, взял бы рогатину, да, как бывало... Хочется, а превозмогаю себя. К медведку, Ваня, я один на один ходил. Как-то за Пикиным ручьем нашел медведицу. Лончак был с ней в берлоге, да еще пестун. Потревожил я, и будто сам не знаю — брать аль нет? Из берложки наперед пестун

вывалился, испугался свету и мимо-то меня — опрыгом. Я и рогатину не опустил. Вот счастье-то какое. Вижу вдруг — сама. Принял. А завозись-ко с пестуном — не вернулся бы домой, не-ет!

Иван Иванович взял овсяника. Зверь оказался крупный: туша без головы на девять пудов. Радовался он своей удаче; на людей стал смотреть по-иному, с горки. Дед хвалил его, сам рассказывал соседям о том, как строили с внуком лабаз, как засели, какой у Вани меткий и верный глаз.

— По-своему-то думал — испугается парень,— говорил он, и в голосе старика слышались нотки гордости.— Гадаю — ну, как рука дрогнет? Шепчу тихонько: не торопись, Ваня, выжди, покуда медведко боком станет... Шапку, шапку, шепчу, сыми,— а сам ружьишко тоже изготовляю; промажет коли, ну, тогда я решусь... Сам-то я в шапке никогда не стрелял по бурому. Медведко на полосе, как на ладошке весь. Сел это он на зад, передвигается понемногу; подгребает лапами овес и сосет. Овес высокий, ловко. След сзади, как после волокуши. Поглядываю искоса на парня, вижу — целит. Будто каменный весь, не дыхнет. И что скажешь, под самую под лопатку взял.

III

Удача, с какой завершилась первая встреча с медведем, определила навсегда судьбу Ивана Ивановича. И до того времени он любил лес, но то была любовь человека, который с детства привык бродить по заросшим травою и мелким кустарником лесным дорожкам, привык к вечному шуму деревьев, к широкой и многообразной жизни леса. Лес в представлении его был живым. Иван Иванович слушал его песни, как слушал рассказы деда. И чем старше становился он, тем серьезнее и глубже было его отношение к лесу. Это была всепобеждающая, воспитанная поколениями любовь к своему краю. Иван Иванович любил лес не только за его беспредельную и яркую красоту, за чудесный и таинственный мир, который всякий раз по-новому открывался его взору и радовал,— лес для Ивана Ивановича стал источником жизненного благополучия. Любовь его к лесу была огромная и расчетливая. Он не

только представлял, но и знал неисчислимые богатства, которые находились в глухих дебрях. Промышляя зверя, Иван Иванович относился к своему делу строго, по-хозяйски. Он твердо помнил лесной закон: вовремя брать зверя, охранять его, защищать от врагов — будь то хищник или браконьер. И тот и другой в представлении Ивана Ивановича имели одинаковую цену, как расхитители народного богатства.

Иван Иванович пользовался славой опытного охотника, но говорить о себе он не любил: никогда не хвастал и не рассказывал охотничьих «чудес». Если при нем заходила речь о приключениях на охоте, он смущался, неловко краснел и, будто извиняясь, замечал:

— Не знаю. Ничего такого со мной не бывало.

— Как не бывало, Иван Иванович! Скольких ты медведей взял?!

— Брал, это верно, да ведь что тут рассказывать? Обложишь берложку, растормошишь зверя, а потом— примешь на рогатину.

— Один на один?

— У берложки не базар,— разведет он руками.

Но был случай, которого Иван Иванович не мог забыть: это когда он взял шатуна [1]).

Как и всегда зимою, Иван Иванович ставил капканы на лис. Охота выдалась неудачной: за всю зиму добыл пять шкурок. Неудача началась с того, что осенью он поспорил с Андреем Петровым. Были они одногодки и всю жизнь прожили дружками. Андрей Петров, правда, не охотник; до тех пор, пока его не выбрали председателем колхоза, по зимам занимался бондарным ремеслом. Бывало изредка — хаживал он в лес... «Вот, скажет, сходил, погулял, выстрелил пару разов, да что... В белый свет, как в копеечку. На Ивана Кругленкова, на него дичь сама летит, а на меня...» Не закончив речи, Андрей Петров махнет рукой и засмеется.

В тот год осенью Иван Иванович тоже собрался в лес. Самая подошла пора белковать. Андрей Петров воспротивился: кого, говорит, поставим за тебя на конюшне? Время сейчас золотое — хлеб молотим.

— Поищем— найдем замену,— настаивал на своем

---

1) Шатун—разбуженный или не залегший на зиму в берлогу медведь

Иван Иванович.— Дарья моя поработает. Она ловка с лошадьми.

— Женщина ведь, Иванович, боюсь — не справится.

Все же председателя Иван Иванович уломал. Андрей Петров согласился с ним, но сказал, чтобы недели через две Иван Иванович наведался в колхоз.

И надо было случиться греху! Не миновало двух недель, Дарья на конюшне ушибла ногу. Под руки домой привели бабу. Когда Иван Иванович наведался с промысла, обратно идти в лес ему не пришлось. И на конюшне некому было, и дома...

Зима стояла снежная. В поле зло каруселили вьюги. Около изб настрогало ветром такие плотные и огромные сугробы, что они закрывали окна.

К концу февраля Иван Иванович прихворнул. Бесконечно долгой показалась больному неделя. И словно нарочно, в эти дни установилась погода. Переборов немощь, в первый же день, как только встал на ноги, Иван Иванович собрался за Пикин ручей, к стожкам. Исстари у него было там счастливое место на лису.

До Заполицы, пока шел прогоном, его пошатывало. От яркого света, от простора, от пьяного воздуха кружилась голова. Но в лесу, только поставил ноги на лыжи, слабость прошла. Лыжи скользили легко. Снег, чистый и рыхлый, оседая, мягко поскрипывал, сверкал и переливался на солнце до того ярко, что блеском своим слепил глаза. На скрытых полянках, куда не задувал ветер, было тепло. Еловый бор вокруг сиял таким неповторимым великолепием, что хотя Иван Иванович и привык видеть его в зимней белой красе, все же не мог отделаться от чувства радостного изумления.

За еловым бором, на пути, раскинулась широкая поляна. На ней снег блестел и искрился еще ярче. Занесенные сугробами стожки напоминали островерхие хижины. Летом на этих пустошных лугах по ручью стояла по колено сочная густая трава, яркими огоньками пестрели цветы. В сенокос Иван Иванович сам косил тут... Тогда на лугу все выглядело по-иному, теперь же он видел белую пустыню снега, сверкающую под лучами ожившего солнца.

Остановясь, Иван Иванович присмотрелся, ожидая — не сполохнется ли захваченный капканом зверь? Нет. На поляне и у стожков тихо. Миновал приземи-

стую, похожую на зеленый шатер старую ель посреди поляны. За грядкой ивняжника охотник неожиданно остановился. Прикрыв от солнца ладонью глаза, он внимательно посмотрел вперед. На лице отразилось сначала изумление, потом что-то напоминающее испуг.

— Брод! Кто бы это?— прошептал про себя еле слышно.

Из-за ручья, прямо к стожкам, в глубоком снегу буровился след. Издали казалось, кто-то без лыж подходил к стожкам, смотрел капканы. Но, приблизясь, Иван Иванович узнал поступь... Медведь. След свежий: зверь, видимо, прошел недавно. Тревога, охватившая было охотника, быстро исчезла. Как ни опасна и ни неожиданна встреча, Иван Иванович не подумал об отступлении. «Откуда взялся он? Может быть, раненный?— предположил охотник.— Может быть, шатун? И тот и другой учует — нападет, непременно». По перемаху Иван Иванович определил — зверь крупный. Перезарядил двустволку крупной дробью, но что она для медведя! Повернуть обратно, в лес? Это было не в характере охотника, да и бесполезно. Если зверь притаился неподалеку, тогда от него не уйти. Осторожно, присматриваясь к каждому кустику, Иван Иванович тронулся вперед. И чем дальше шло время, тем острее поднималось в груди знакомое ощущение предстоящей опасной борьбы. Правда, охотник почти безоружен. Пусть! Ему вспомнился старый, очень опасный способ борьбы со зверем. Об этом способе слыхал он прежде от стариков: будто отваживались на него смельчаки и выходили из борьбы с честью.

Чтобы не попасть в лапы притаившемуся, может быть, около стожков хитрому зверю, Иван Иванович решил не смотреть капканы. Он прошел мимо, к ручью, с тем, чтобы, если зверь не задержался тут и ушел, то выйти на просеку и по ней уже повернуть к дому.

Впереди, на поляне, островок. Вокруг старой сосны со сломанной и обожженной вершиной, гривкой разрослась яркозеленая поросль. Не успел охотник поравняться с нею, как из заросли сосенника донесся шорох. Переложив в левую руку ружье, Иван Иванович достал оставшийся ему еще от деда кованый нож. Кто притаился в сосеннике? Может быть, встряхнулась птица, или заяц вскочил с лежки, а может быть... Трес-

нуло сухое дерево, и вслед за этим сразу же послышалось глухое ворчание. На поляне показался зверь. Он на мгновение остановился, поднял вверх морду и вдруг, с грозным ревом, буравя лапами глубокий снег, бросился на охотника. «Голодный, не поднялся на задние лапы», — успел подумать Иван Иванович. Бросив ружье, он упал в снег, стараясь как можно скорее и глубже зарыться в него.

Все, что случилось потом, заняло несколько секунд. Охотник лежал неподвижно. Сердце стучало так сильно, что слышно было его удары. Надвинувшись на охотника, зверь остановился, с хрипом потянул воздух. Этого мгновения и ждал Иван Иванович. Ударом ножа он распорол зверю живот. Медведь взревел, дернулся вперед, но тут же осел, придавив тушей перехитрившего его противника. Иван Иванович переждал, пока медведь заснул, потом, разгребая руками снег, с трудом выбрался наружу. Черный, с сединою на спине, огромный зверь неподвижно лежал на снегу.

IV

Иван Иванович не хвалился победой. Когда его спрашивали, он коротко рассказывал о встрече с шатуном у стожков. Удача была велика, но, взяв зверя, Иван Иванович не чувствовал удовлетворения. В неожиданной встрече с шатуном все сложилось не так, как бывало прежде. Если бы шел на овсяника, то заранее мог почти безошибочно предсказать все, как сложится бой у лабаза. О том, что охота может статься неудачной, об этом Иван Иванович, начиная дело, никогда не думал. Главное в медвежьей охоте, как считал он, надо быть уверенным в победе. Встречаясь со зверем у берлоги, тоже мог предположить почти все, что случится после того, как будет разбужен зверь. Встреча с шатуном никак не укладывалась в эти издавна знакомые, привычные представления.

Было еще обстоятельство, тревожившее медвежатника: шатун оказался тридцать девятым медведем, которого взял Иван Иванович. До этой поры ему как-то не вспоминались слова деда об «упрямом», о сороковом, которого нельзя трогать. Теперь же впервые в жизни Иван Иванович переживал непонятный страх. Каза-

лось, при новой встрече ему не обороть зверя. И если теперь кто-либо по старой памяти называл его медвежатником, Иван Иванович хмурил брови.

— Какой я медвежатник, к бесу! — угрюмо мычал он.

— Не говори! Первой ты у нас по этому делу.

— Был первой, да лапти стоптал. Мое дело кончено.

Весной и летом Иван Иванович работал в колхозе. На работе отличали его. Даже Андрей Петров и тот хвалил мужика, но при этом всякий раз добавлял:

— Вроде сезонный ты у нас, Иванович. Настанут заморозки — потянет тебя в лес: не отговоришь.

— По-твоему худо это, Петрович?

— Я не хулю, а то скажу: работе мешает.

— Чем?

— Тем, что сам уйдешь и других манишь. Глядя на тебя, Костюня Исаков и тот берет ружьецо. Дома дела не делает и из лесу ничего не несет. Не охота — гуляшки. Так и скажу, Иванович, сократиться надо тебе.

— Как сократиться? Не нужна что ли охота?

— Нужна, но у нас главное — посеять, убрать, выполнить поставки государству; охота же и все остатнее — это после.

— Несогласен я с тобой, Андрей Петрович, неправильно ты толкуешь, не по-хозяйскому. Пушнину нельзя в «остатнем» считать,— настаивал на своем Иван Иванович. — Пушнина — дело государственное, все равно что золото... Слыхал, есть такие старатели, кои золото моют и сдают его государству, так и пушнина.

— Сравни-ил!

— Иначе-то как? Наши леса — золотое дно, Петрович. Сколько есть богатства в них — не счесть. Охотой я исстари промышляю. Каждый следок разберу. На мой взгляд, не сокращать надо ее, охоту-то, а молодежь к ней приваживать. Из молодых ребят нынче только плямяш мой не пуделяет в лесу, а то ведь находятся орлы, ходят с ружьем, а толку нет. Порох палят ни за что, ни про что. Дичь пугают.

V

Прошло несколько лет с той поры, когда Иван Иванович принял шатуна. Жизнь за эти годы шла в

гору. Колхоз богател, но вот Андрей Петров все чаще и чаще жаловался на пошатнувшееся здоровье: мучили застарелые ревматические боли. Работать председателем ему становилось невмоготу. Поговаривал и о том, что пора-де найти председателю смену, помоложе кого выбрать. Перестал Андрей Петров спорить об охоте и с Иваном Ивановичем. Каждый год теперь, осенью, как только управлялись с полевыми работами, Кругленков уходил в лес — промышлял белку. До самых морозов жил он в охотничьей избушке на Великуше. Последние два года вместе с Иваном Ивановичем бывал в лесу и племянник его, Саша Кругленков. Или годы урожайные были на белку, или счастье валило охотникам, но добычу они брали большую.

На медведя Иван Иванович не ходил: не мог побороть страх. Саша заговаривал иногда с дядей о медвежьей охоте. Ему, как и Ивану Ивановичу в молодости, хотелось на ней испытать себя. Старый охотник отмалчивался или отвечал до того неопределенно, что Саша терялся в догадках, не зная, чем объяснить его поведение. А бывало, прежде, Саша хорошо помнил, с какою гордостью Иван Иванович говорил об охотничьей славе рода Кругленковых. Саша, тоже носивший эту фамилию, с детства привык верить дяде во всем, что касалось охоты, брать с него пример. И поэтому догадка, что Иван Иванович будто трусит чего-то, как только начинался разговор о медведе, смущала и даже обижала Сашу.

По-голу, до сбора белки, Иван Иванович любил поохотиться на диких гусей и уток. Уток он признавал только кряковых; чирковых презрительно называл «трескунками», нырковых — «чернятами». Побывав в бору, брал черныша или моховика. Дичь Иван Иванович носил только для себя или в подарок кому-либо. Продавать птицу считал делом зазорным для зверолова-охотника.

Когда они вдвоем с племянником жили в избушке, Иван Иванович рассказывал Саше о разных охотничьих приметах. Однажды, по первой пороше, возвращаясь в избушку, Саша взял зайца. За ужином разговорились о заячьем следе — малике, как Иван Иванович называл его.

— Малик, Саша, он разной, — поучая племянника,

говорил Иван Иванович. — Вот, скажу, бывает гонный, когда чалый (зайца он называл «чалый») уходит от собаки аль от лисы. Прыжок тогда у него большой, растяжной, передние лапы печатает ближе к задним; а то малик жировой: лапы тогда чалый печатает так близко, что прыжки сливаются, не разберешь их. Есть еще малик концевой. Это самый правильный. Чалый идет крупно и мерно, без опаси; в смётном — он скидывает в сторону: идет, идет, да скок в кусточек куда-нибудь — оборвет малик. Хорошо, если пороша печатная, тут каждый ноготок на снегу видно, легко разобраться, какие бы тебе чалый ни метал петли, а коли пороша низовая, да ветер заметает малик, вот и ищи. Говорят, чалый от трусости путает, но я не верю. Трусость трусостью, но и хитрость в нем есть — большая хитрость.

В подобных разговорах у дяди с племянником проходили длинные осенние вечера.

Осенью сорокового года Сашу призвали в Красную Армию. Не миновало года с той поры — началась война.

В первую же мобилизацию вместе с другими молодыми колхозниками призван был сын Илья. Потом пошли еще мобилизации. Трудно пришлось в колхозе жить в первую военную зиму. С осенними работами запоздали: молотили уже с «белыми мухами». Одна незадача к другой: свалился Андрей Петров — перестали служить ноги. Пришлось уважить его просьбу — выбирать нового председателя. Выбрали Катю Малинину, солдатку. Женщина она молодая, но в работе бойкая и грамотная... Обучалась в семилетке. Детей у нее нет. Подумали, посудили и пришли к выводу — лучше Кати никого не найти на смену Андрею Петрову. Петрович брал в работе опытом, Катя возьмет ловкостью.

Осенью, в первый военный год, Ивану Ивановичу не удалось выйти на промысел. Он и на молотьбе, он и с хлебом на ссыпной пункт. Мужиков в колхозе осталось мало, а когда запоздаешь с делами, тогда каждая пара рук дорога. Зимой выбегал иногда на лыжах неподалеку, но это уж не охота. А как наступила первая военная весна, пришлось Ивану Ивановичу от весны и все лето во всяком деле стоять за молодого. Он предполагал, что и нынче, как прошлой осенью, не придется выйти в лес. Начались заморозки, а в колхозе молоть-

ба не закончена. Кроме стариков — в поле и у молотилки — бабы да подростки. Иван Иванович и сам удивлялся тому, как удалось им весною полностью засеять яровой клин, а осенью до снега убраться с поля. Дел в колхозе было так много, что, казалось, нельзя и думать о чем-либо ином. Катя — женщина умная, но она не Андрей Петров, с ней не поговоришь, не поспоришь, как с тем, бывало. «Велика идет война,— размышлял Иван Иванович, — не победить в ней нельзя. Наш народ гордый, не привык подставлять спину под чужую ременницу».

Настала пора осенней охоты, а Иван Иванович даже и не заикнулся перед Катей о промысле.

VI

Упал первый снежок. Вышел утром на улицу Иван Иванович, и дрогнуло у него сердце. Остановился, посмотрел... Вспомнилось, как хорошо в эту пору гостить в избушке на Великуше. «Небось, белки урожай нынче добрый... Сколько бы ее можно собрать!»— подумал охотник и вздохнул. Тянет в лес, но ничего не поделаешь, приходится перемогать желание.

В правлении колхоза он застал Катю. Она поздоровалась со стариком и спросила:

— В лес-то собираешься нынче, Иван Иванович?

Ему показалось, что Катя шутит. Взглянул ей в лицо — нет, вроде говорит серьезно.

— Хотелось бы, Катенька, да делов-то у нас много не переделанных,— ответил Иван Иванович. От волнения голос его прозвучал глухо.— Сам понимаю — некогда. Пойдешь в лес, так бабы после глаза выцарапают,— попытался перевести разговор в шутку.

— Не выцарапают, — сказала и усмехнулась Катя. — В колхозе мы управимся, а тебя освободим. Я не шутя говорю, Иван Иванович. На правлении вчера об этом разговор шел.

— Самделе так? Ты меня не смущай, Катерина!— не веря тому, что услышал от председательши, опустив глаза, промолвил Иван Иванович. Он даже снял с головы ушанку и, словно не замечая этого, мял ее в руках.

— И в мыслях нет смущать тебя. Иван Иванович,—

подтвердила свои слова Катя.— Я так полагаю: нужна нам пушнина, а на охоте лучше тебя нету. Ты— специалист,— слово «специалист» Катя произнесла так, словно хотела как-то особенно душевно похвалить Ивана Ивановича, называя его так.— Пойдешь в лес — хлебом и всем, что понадобится, мы тебя обеспечим Каждую неделю буду кого-либо из ребят посылать в избушку. Если имеется желание, да здоровье позволит, то собирайся. Просить тебя об этом будем.

Иван Иванович замялся, не мог сразу ответить. Он и раньше считал Катю умной женщиной, теперь же готов был утверждать это перед кем угодно.

— Ладно. Уж коли такое решение, Катерина, — наконец, произнес он, — то я завтра и выберусь. Думаю так, что откладывать нечего.

— Вот и хорошо,— сказала Катя.— Ни пера тебе, ни пуха,— усмехнулась она.— Так ведь желают на дорогу охотникам.

— Спасибо!

VII

В полях и в лесу белел снег. Иван Иванович, собрав припас, отправился на Великушу. Он не надеялся встретить там кого-либо из старых, знакомых охотников; думал, придется нынче промышлять в одиночестве. Поэтому он и обрадовался и удивился, когда в избушке застал давнего дружка Игната Травина. Не одну осень прежде встречались они здесь и вместе промышляли.

Травин немного старше Ивана Ивановича: годы ему близко к семидесяти. Высокий ростом, как и Иван Иванович, костистый, с умными темно-карими глазами и поседевшей бородой, Игнат Травин был прирожденным охотником. С Иваном Ивановичем жили они далеко друг от друга: Иван Иванович на Леже, Травин в Авнеге, за большим Раменьем, по ту сторону Побережских болот, но оба хорошо знали леса по Великуше, вместе охотились там и коротали в избушке осенние вечера. Охотники знали, кажется, всю подноготную друг о друге; они беседовали между собою так, словно прожили рядом всю жизнь.

— Иван Иванович!— громко приветствовал друж-

ка Травин.— Добро пожаловать! Я второй день тут. Сижу и гадаю: придешь ты нынче аль нет?

— Пришел,— поздоровавшись с дружком, ответил Иван Иванович.— Сам-то не собирался уж, а Катерина — новая председательша у нас... Послала вот.

— Сама? Видать, с понятием баба,— похвалил Травин.

— Умница! Годами молодая, а дело лучше старых понимает.

— У молодых, коли с умом, оно, размах есть,— согласился Травин.— У нас тоже не воспретили, а время сам знаешь какое. Народу в колхозе— раз, два— и все. В лесу-то, слушаю, ни одно ружьишко не голкнет. Как живешь сам-то?

— Живу покуда. Сын на войне, я дома.

— Жив сынок?

— Пишет. А ты как, Игнат Степанович?

— Мое хуже дело. Один у меня убит... Под Москвой в прошлую зиму, другой без ноги пришел, третий — этот у меня боевой! Хвалится в письмах, до ихнего, говорит, до Берлина дойду. В тяжелой артиллерии служит. В колхозе-то убрались с хлебами?

— До белых мух справились. Домолачиваем.

— У нас, в Авнеге, тоже с пониманием народ работает.

Вскипел и зафыркал чайник.

— Давай чаек пить, Иван Иванович!— прервав разговор, пригласил Травин.

VIII

Началась промысловая жизнь. Иван Иванович и Травин вставали до света, строго соблюдая очередь, кипятили чайник, ели хлеб с кусками холодной дичи и до солнца уходили в лес.

Однажды, когда вечером они отдыхали в избушке, Травин сказал:

— Находку давеча нашел я, Иван Иванович. Иду, знаешь, и вдруг, гляжу, она... Так сердце и захолонуло.

— Берложка?

— Да. Недалече отсюда.

Иван Иванович уронил нож. Подняв его, сказал:

— Твое счастье, Игнат Степанович. Переждешь зи-

му, а начнет притаивать, можно будет и с рогатиной попытать. Хаживал я, бывало.

— Рад бы с рогатинкой-то, да уж не смогу. Крепости в руках, да и смелости прежней у меня нету. Бог с ним! Ежели ты желаешь, Иван Иванович, покажу дружку. Мастер ведь ты по бурому.

— Не собирался я,— неопределенно протянул Иван Иванович.

— У нашего брата сборы недолги,— сказал Травин.— Встал на лыжи и кати.

— Оно верно, Игнат Степанович, да запятая у меня есть. Ты скольких взял бурых на своем веку?

— Двадцать шесть, медвежат еще... Небось, около дюжины. Этих живьем.

— А я тридцать девять. С той поры как принял шатуна, своего тридцать девятого, не хожу на медведя.

— Неужто боишься?

— Не то чтобы боюсь, но сороковой — он ведь опасный. Что вот хочешь делай, не могу.

— На мой взгляд, сказки — эти поверья! Скольких охотников они смутили.

— Дума берет, Игнат Степанович, вот и не идешь.

— Дело, конечно, твое, а я дружку с радостью бы показал берложку.

Долго в тот вечер говорили они о медвежьей охоте. У каждого были свои воспоминания. Травин ходил на медведя с лайкой... Для повады брал, объяснял он. Иван Иванович не держал собаки. И в этом он следовал примеру деда, Петра Максимовича. В молодости не завел, а потом привык ходить в лесу в одиночку. Иван Иванович рассказал Травину, как брал шатуна. Травин удивлялся его смелости, но по тому, как он, слушая, усмехался, было видно, что верил он и не верил рассказу. Будь на месте Ивана Ивановича кто-либо другой, расскажи так же вот о приключении у стожков, Травин ни за что не поверил бы. Все же он стоял за то, что никаких особых медведей на свете нет, все они одинаковы — и сороковые и прочие.

Травин давно уснул. Иван Иванович лежал в тишине и думал. За стенами лесной избушки шумел ветер. Пахло дымом. Время от времени раздавались какие-то шорохи. Иван Иванович ждал утра. А ночь тянулась: темная и беспокойная, казалась она бесконечной.

Он рано зажег лучину и вскипятил чайник. Травину о вчерашней беседе он не напоминал. Напились чаю и, хотя на улице еще не рассвело, стали собираться на промысел.

— Дойдем вместе до овражка, Иван Иванович, знаешь, который за еланью,— завязывая тесемки ушанки, сказал Травин.— Там она.

Иван Иванович словно не слышал. Он чувствовал себя на распутье.

— Пойдешь?— еще раз спросил Травин.

— Пойду,— неожиданно для самого себя вырвалось у Ивана Ивановича.— Шапку вот потерял... Иди, догоню я.

IX

С промысла Иван Иванович вернулся в декабре. Снег лежал хотя неглубоко, но морозило крепко. Ребята, которых посылала Катя носить припасы в охотничью избушку на Великушу, возвращались обратно со связками сухих беличьих шкурок. Больше полтысячи белок взял Иван Иванович на промысле, не считая лисиц и норок.

Дома он сходил в баню. После долгой жизни в лесной избушке приятно было докрасна нахлестать себя душистым веником. Точно кора сползала с тела. Травин ушел из избушки на неделю раньше. Охотники расстались так, словно в скором времени должны снова встретиться в знакомых местах. О берлоге, которую приметил Травин, Иван Иванович старался не думать. «Бог с ней!— решил он.— Не я нашел, видно не мне и брать».

За то время, какое Иван Иванович провел на промысле, он почти не слыхал никаких новостей. Явятся с хлебом ребята, расскажут кое-что, и снова дожидайся их набега. А в деревне, когда вернулся туда Иван Иванович, только и разговоров было, что о Сталинграде. После сталинградской битвы люди словно помолодели. Победа вдохнула в них новые силы, забылись и болезни, и усталость.

Миновала пора морозов, прошли снегопады, в марте установилась погода. Трещали крепкие утренники, а днем пригревало солнце. Начал таять снег. С крыш

свесились, как серебряная бахрома, ледяные сосульки Весна встревожила Ивана Ивановича. По ночам он ворочался на постели, не спал.

— Ты уж здоров ли?— спросила его однажды Дарья, которую тревожило поведение мужа.

— Здоров,— коротко ответил он.— Что мне станется, дома живу.

— А ты скажи! Вижу, будто сам не свой.

— Какой был, такой и есть.

Дарья знала упрямый характер мужа: не захочет молвить — слова от него не добьешься. Она зашла к Кате, поговорила с нею и попросила:

— Побеседуй ты с ним, Катенька, может, тебе скажет.

— Попробую,— обещала Катя.

— Секретный разговор у меня,— как-то сказала она Ивану Ивановичу.— В правлении сейчас никого нет, поговорим!

О чем Катя говорила со стариком — ни она, ни Иван Иванович не рассказывали после. Но, должно быть, Катя нашла какие-то веские и убедительные слова, которые рассеяли смутную тревогу охотника. Вернувшись из правления, он сказал жене:

— Ставь-ко самовар, Дарья, а я сейчас.

Он вышел в сени. Дарья слышала, как скрипнула дверь в чулан. Самовар еще не вскипел, когда Иван Иванович вернулся в избу. Он принес ружье и повесил его на стену.

За столом, после выпитых молча первых двух стаканов чая, Иван Иванович сказал:

— В правлении был давеча, с Катериной калякали.

— Ну?!— притворно удивилась Дарья, как бы не понимая, о чем говорит муж.— Чего там?

— Ничего. Хорошая, говорю, женщина наша председательша.

— Говорили о чем, что-ли?

— Говорили. На ноги она меня поставила. Соберико, Дарья, еду мне, утром в лес, может, пойду.

X

Иван Иванович осторожно приблизился к берлоге. Занесенная снегом валежина напоминала высокую

снеговую гору. Иван Иванович помнил, что берлога находится близ распяленного в стороны черного, вывороченного из земли корневища. Присматриваясь теперь, он нигде не видел в снегу отдушины.

«Неужто спугнул кто-нибудь? Неужто ушел?»— подумав об этом, Иван Иванович забыл все прежние свои опасения. Для него сейчас ничто не было бы так обидно, как возвратиться домой с пустыми руками. Каких только тревог не пережил он из-за этой берлоги! В думах о ней он потерял сон, не знал ни одной спокойной минуты. А когда после разговора с Катей решился пойти сюда, то почувствовал в душе огромное, счастливое торжество. Он сломил в себе страх перед «роковым» зверем. Катя говорила с ним не о старом поверье, не об опасности медвежьей охоты, она сказала о войне, о геройстве, с каким сражаются советские воины.

— Фашистские танки сильнее и страшнее любого зверя, — сказала она, — а бойцы наши сражаются против них, не помышляют о страхе, о невозможности победить. Старая сказка мучит тебя, Иван Иванович Брось ты ее! Не такая, как была прежде, жизнь нынче. Во всяком деле мы идем вперед, и в твоем деле надо жить так же.

Пока она говорила, будто туман падал с глаз Ивана Ивановича. Он решил идти к берлоге. И вот теперь, если берложка пуста, что будут говорить о нем люди, когда он вернется ни с чем.

Иван Иванович снял шапку и вытер ею вспотевший лоб. Ему оставалось только отдохнуть и затем постараться дотемна вернуться к дому. Достал из-за кушака топор, чтобы обрубить сучья с валежины и присесть на нее. Он уже занес топор — и вдруг замер... На снежном бугре, у самого ствола, увидел то, что искал. Выпавший за ночь снег запорошил отдушину. Снег не успел обтаять. Хорошо, что Иван Иванович подошел к валежине как раз в том месте, где находилась берлога. Окажись он немного выше — стал бы рубить сучья и «разбудил» зверя. Тогда бы не миновать беды. Медведь напал бы на него неожиданно. Иван Иванович с облегчением вздохнул. Не думал больше ни о каких страхах, он знал одно — зверь рядом; нужно, не теряя времени, готовиться к схватке с ним.

Иван Иванович отложил в сторону ружье, отоптал на снегу место, заткнул за кушак топор.

— Господи благослови!— прошептал он, как всегда перед началом дела; взяв рогатину, начал просовывать ее внутрь берлоги.

Тихо. Иван Иванович сильнее нажал рогатину. Из глубины снежного бугра послышалось раздраженное, глухое ворчание. Иван Иванович не отступил. Он продолжал дразнить. Ворчание становилось громче, недовольнее. Иван Иванович отступил на приготовленное место. Только успел сделать это, как из берлоги показалась осыпанная снегом лохматая голова, потом и весь зверь.

Иван Иванович зорко следил за каждым движением противника. Рука твердо сжимала рогатину. Зверь рявкнул, поднялся на задние лапы. В тот же миг охотник припал на колено. Медведь двинулся прямо на потревожившего его сон человека. Иван Иванович направил рогатину. Наколовшись и почуяв боль, зверь навалился сильнее. Он страшно ревел, рыл лапами снег и, пытаясь дотянуться к охотнику, упрямее напирал на стальное перо. Наконец, ослабев, он упал. Из открытой пасти показалась кровавая пена, хрипло и тяжело вырывалось дыхание.

Подождав, пока зверь утихнет, Иван Иванович присел на валежину. Как ни велико было напряжение охотника в момент схватки, теперь он чувствовал огромный прилив сил. К нему вернулась прежняя уверенность в своей непобедимости. Он торжествовал победу.

Зверь лежал неподвижно. Обтерев с рогатины кровь, Иван Иванович нарубил еловых веток и плотно закидал ими тушу. Он с удовольствием представил себе, как, вернувшись в деревню, зайдет к Кате и ей первой расскажет о своей удаче.

XI

В колхозе проводили сбор средств на танковую колонну. Иван Иванович запоздал на собрание; он пришел в то время, когда Катя записывала фамилии колхозников и суммы сделанных ими взносов.

— Иван Иванович, проходи вперед, садись сюда,

поближе,— окликнула его председательша.— Сколько велишь писать?

— Что ты, Катя, не дала опнуться человеку, может, он не надумал сколько,— сказала приходившаяся дальней свойственницей Ивану Ивановичу, соседка его Ольга Андреевна, невысокая, полная женщина в клетчатом шерстяном платке, сидевшая у стола, рядом с Катей.

— А долго ли думать, Ольга Андреевна? По всей области колхозники подписывают средства на танковую колонну. Каждый заранее, прежде чем идти на собрание, подсчитал у себя и знает, сколько он намерен записать,— возразила Катя.— Иван Иванович не любит плестись в хвосте.

— А скажи — сколько ты записала, Катенька?— хитро прищурясь, спросил Иван Иванович.

— Пять тысяч,— подсказал кто-то сзади.

— Ивану Ивановичу нельзя меньше. Ему надо так записать, чтобы на колеса к танку хватило.

— Он еще и добавит.

— Ну-ко, молви, Иван Иванович, послушаем!

Иван Иванович подождал, пока утихнут разговоры, и заявил:

— Я вот что скажу, товарищи женщины. Денег у меня столько нет, сколько хочется дать. Я не деньгами, я весь свой нынешний урожай записываю.

— Ты по-настоящему, серьезно скажи, Иван Иванович!

— Урожай все собирали.

— Я не о всех, о своем я, о том, какой собрал в нынешнюю зиму на промысле: белки — полтысячи шкурок, дюжину лисиц, четыре норки, да пару куничек — все записываю. Предполагаю — на колесо-то к танку потянет, а на другое на что — даю мех бурого, моего сорокового. Записываю, и пусть Катерина сама в город свезет меха, а деньги — на сколько потянет — это она после объявит.

ДОЖДЬ

ТОЛКУНОВ возвращался из командировки. В подшефном заводу колхозе «Искра» заканчивалась постройка мельницы и электростанции. Толкунов проверял монтаж оборудования. Время было горячее Хотя председатель колхоза велел заложить лошадь, чтобы доставить «шефа» на станцию, Толкунов отказался. Он отправился пешком и теперь спешил, боясь опоздать к поезду.

Миновал небольшой лесок, после которого дорога пошла открытым полем. Светлая, будто выстланная свеженапиленными еловыми досками, она опускалась по ровному склону к станции. Толкунову оставалось пройти еще около километра, когда начал накрапывать дождь. Первые капли его падали как бы нехотя, но с каждой минутой дождь усиливался. Подул ветер. Небо заволокли тяжелые, мутно-серые облака. Дорога почернела. Толкунов, как он ни спешил, но когда подбежал к выбеленному известкой тесовому бараку, стоявшему на месте уничтоженного пожаром станционного здания, одежда на парне промокла насквозь.

Дождь загнал под крышу пассажиров, ожидавших поезда. Все это были местные люди, ехавшие неподалеку по разным своим делам. В бараке, часть которого была приспособлена под «зал для ожидающих», пассажиры разместились на скамьях и «диванах», расставленных вдоль стен; кое-кто сидел на подоконниках, на узлах и корзинах, а то и просто на полу. Толкунов осмотрелся. Не видя свободного места, он поставил на пол чемоданчик и только что хотел сесть на него, как сзади окликнули:

— Эй, молодой человек, садись-ко! Есть местечко.

Толкунов оглянулся. На скамье, у самого окна, сидел старик в вылинявшем казинетовом картузе. Опустив меж колен стоявшую до того рядом с ним кошелку, обшитую поверху холстом, старик потеснился, освобождая место.

— Садись-ко!— повторил он. И когда Толкунов сел, старик внимательно осмотрел его, усмехнулся, потом спросил:

— Мочит дождичек-от?

— Льет. Еле добежал.

— Благода-а-ать!— продолжая улыбаться, протянул старик.— Как прутьями стелет. Огромадные тыщи это людям-то.

Сказав, старик развел в стороны руки, словно хотел этим жестом наглядно представить величину «тысяч», и продолжал:

— Ты, милой, знать долгонько шел по дождичку-то... Измок, вижу. Как бы одёжа не спортилась,— с хозяйской заботливостью добавил он.

— Высохнет.

— Это само собой,— согласился старик.— А малость сядет костюмчик... Утюжком придется.

Он наклонился к кошелке, долго копался там, пока достал сухую, с прорванной головой воблу. Осмотрел ее, несколько раз с силой ударил ею о край скамьи, надломил и принялся обдирать кожу.

— О дождичке-то толкую,— снова начал старик.— К месту, так уж к месту выпал — сказать нельзя. Земелька — видел, небось, что дуб, засохла матушка, жестче вот этой рыбинки,— он поднял перед собой очищенную, словно обнаженную рыбину и помахал ею.— Ишь какой белозерской судак! Мяска в боках на копейку, а костей — на все три гривенника... В город еду, к лекарям показаться,— неожиданно сообщил он.— Глаза что-то спадают.

— Поблизости разве нет больницы?— поддерживая разговор, спросил Толкунов.

— Нету, у нас фельдшерский пункт, фельдшер, значит, живет. Ходил я к нему: слезятся-де что-то глаза, Тимофей Сергеевич, в свету, говорю это ему, рябит. Наказание, прямо! А он, фельдшер-то, гордой вишь. Посмотрел, да по строгости по всей этак: «Твои глаза,

дедусь, лечить незачем, здоровые они у тебя. От возрасту ослабли. Очки носить надо».— А как я, милой, надену очки? Шестьдесят восьмой год живу, не нашивал их, очков-то. Вот и думаю, может, они, глазыньки-то, на лекарство какое поправятся.

В разговоре старик немного заикался. Серые клочья его бороды топорщились в стороны, а выцветшие глаза слезились, точно их ело дымом.

У стены, напротив Толкунова, на обтертом и исцарапанном голубом сундучке, с черными железными скобами, поместилась немолодая уже, остроносая женщина. Темный бордовый платок на голове у нее был опущен на лоб так низко, что почти закрывал глаза. Она говорила негромко, цокая и певуче растягивая окончания фраз.

— Робят-ту у меня было четверо, умерли все. Осталась сама с мужиком. Работать некому. Мужик-от у меня хвёлой.

Краснощекая молодуха с кудерьками на висках и смеющимися карими глазами, стараясь попасть в тон остроносой, спросила:

— Пьет что ли он у тебя?

— Не-ет, на цто пьет... Хвёлой, говорю.

Молодуха сочувственно вздохнула.

— Плохо дело!

— Да уж, плохо. Как у вас в колхозах-то, сытно?

— Ничего, нельзя жаловаться,— ответила молодуха, и при этом уголки ее губ тронула чуть заметная затаенная усмешка.— Мы у себя в прошлом году получили на трудодень по полтора килограмма хлеба, да овощей, картошки, меду, денег по три рубля девяносто копеек. Нынче, думаем, будет еще лучше. Хлеба и лен у нас хорошие. А вы как... В колхозе?

— Нет, мы на Шексне, на пристанях жили. Пока мужик-от здоров был, хорошо было. Зарабатывал. Конопатцик он, баржи конопатил. Теперь маемся. В колхоз едем. Матка мужикова там да золовка...

С улицы вошел коренастый, с бритым круглым лицом человек в форменном кителе железнодорожника, накинутом на плечи поверх голубой майки. Скользнув взглядом по ожидающим поезда пассажирам, он подошел к двери в станционную контору и постучал:

— Лиза,— окликнул он мягким баском.— Открой!

Дверь скрипнула. В просвете ее на несколько секунд сверкнула медь телеграфной аппаратуры. Старик, все еще державший в руке воблу, повернулся к Толкунову:

— Видал человека?

— Да.

— Тутошний. Начальник... Не болтун. Скажет что— сделает. У него по закону.

— Если по закону, то хорошо,— заметил Толкунов

Ощипывая пальцами с костей кусочки воблы, старик клал их в рот и, медленно двигая челюстями, не жевал, а сосал жесткое соленое мясо.

— Я так и толкую,— продолжал он.— Всякой человек на своем месте хорош, да вот места-то, милой, разные. На одном — сиди себе, папироской чади, ни докуки тебе, ни беспокойства, а на другом, как в огне. На всяком месте — первое дело — душу иметь надобно. Без души-то, как без головы. Душа и худое местишко красит.

Он обсосал воблу, посмотрел, куда бы бросить остатки и, не найдя подходящего места, сунул обратно в кошелку.

— Сам-от где работаешь?— помолчав и вытирая большим красным платком глаза, спросил он.

— На заводе.

— В конторе, поди?

— Нет. Я электротехник.

— Техник? Хорошо. Правильная профессия. Племянник у меня на железной дороге тоже в техниках состоит. Евстигнеев, Иван Степанович. Живешь-то справно, вижу?

— Не жалуюсь.

— Холостой аль семья есть?

— Холостой.

— Выходит, весь росток в один роток,— старик засмеялся, поперхнулся смехом и закашлялся.— Молодому оно лучше так-то,— начал он после паузы.— Добро коли жена хорошая попадет, а то ведь иная... Силенки, как у блохи, а зудит.— Старик подвинулся ближе к Толкунову и заговорил шепотом:— Жену, милой, надо выбирать такую, чтобы у нее тело было, рукатая чтобы, да-а... Чтобы ты пуд на плечико, а она два. Вроде вон этой,— показал он на молодуху, гово-

рившую с остроносой.— Видишь? У нас-то по делам аль в отпуске был?

— По делам.

— Заготовлял что ли чего?

— Нет, в колхозе «Искра» был.

— В «Искре»,— оживился старик.— Да мы с «Искрой»-то рядом живем. Народ там фартовой, хозяйство ведут справно. Станцию электрическую нынче строят.

— На станцию я и приезжал.

— На станцию?!

— Да. Наш завод шефствует над «Искрой». Я смотрел оборудование.

— Вон что! Техник ты по этому самому, по станциям?

— Понимаю кое-что.

— Ишь ты какое дело!— старик заговорил серьезно и даже, сняв с головы казинетовый картуз, вытер платком лысину.— Не знали. У нас, в «Пути Ленина», тоже решение приняли насчет станции. Знай мы, что специалист рядом, мы за тобой тарантасик послали бы... Катерина!— старик окликнул краснощекую молодуху.— Иди-ко сюда! Товарищ вот по этим самым делам, по станциям. Наша председательша,— повернувшись к Толкунову, объяснил он.

Толкунов не успел ответить. Приближался поезд. В бараке все пришло в движение. Старик тоже поднял кошелку, заторопился.

— Дождались, машина идет. А ты с нами садись, милой! В вагоне и потолкуем. Колхоз у нас справный, без электричества никак нельзя. Вот и Катерина... Ты не гляди, что молодая; она у нас шестой год в председателях — не жалуемся.

РАДОСТЬ

I

ОТЕЦ Алексея Волохова без малого тридцать лет пас стадо. Степан-пастух — не было в деревне ему другого имени. В детстве Алексей бегал в подпасках, помогал отцу. В тот год, когда Алексей оканчивал семилетку, весною отец простудился, слег и больше уже не встал. Алексей остался вдвоем с матерью. До призыва в армию работал он счетоводом в колхозе.

В армию Алексей пошел за год до войны. Служил он в пограничных войсках на западной границе, там же встретил войну.

Война многому научила его. Он возмужал. Теперь это был человек с сильным и настойчивым характером, твердой волей, решительный, смелый, умеющий добиваться поставленной цели. Демобилизовался он в звании старшего сержанта и приехал на родину.

Дома он нашел пустую избу. Вместо крыши скалились на ней ребра гнилых слежек, крыльцо обвалилось, стекла в окошках выбиты. Внутри, кроме обломков кирпичей от рассыпавшейся печи и другого хлама, он ничего не нашел. Мать Алексея умерла в сорок третьем году, с тех пор в избе никто не жил.

— К голому-то колу захочет ли прививаться?— говорили об Алексее в колхозе.— Парень грамотный, сержант, грудь в орденах и медалях... Поживет у нас неделю иль две и — в город. Не удержишь его, уж это как есть.

Доводы казались столь неопровержимыми, что нель

зя было не согласиться с ними. Но случилось то, чего никто не предполагал. Алексей пришел в правление колхоза и попросил председателя, Ивана Михайловича Бурыгина, помочь исправить избу.

— Не у нас ли хочешь обосноваться, Алеша?— не веря в серьезность просьбы Алексея, спросил председатель.

— Да, куда мне идти? Лишним в колхозе не буду.

— Слышал я, в город ты собирался?

— Нет, Иван Михайлович, не собирался и не собираюсь. Я ведь не исключен из колхоза,— сказал Алексей так, словно бы обиделся на то, что услышал от председателя.

— Остаешься, значит, молодец! — Бурыгин вышел из-за стола и подсел ближе к Алексею. — Правильно решил ты, Алексей Степанович. Колхоз у нас хороший. Сам видишь, как живем, объяснять не стану. Насчет избы — не беспокойся. И материал для ремонта, и что для обзаведения надо будет — дадим. Сегодня скажу Тихону Ильичу... По плотницкому делу он у нас профессор. Работу выбирай по душе, какая на тебя взглянет. Может, как прежде, в счетоводы желаешь?

— Не хочется сидеть в конторе, Иван Михайлович, отвык.

— Твое дело. А что скажешь, если тебя бригадиром поставить?

— Подумаю, — помолчав, ответил Алексей.

— Думай! Со своей стороны — я советую.

В тот день Алексей не сказал председателю, каким делом хотел бы заняться в колхозе. Конечно, он мог стать бригадиром, и чувствовал — справится; ползать в хвосте он не привык. Все же что-то удерживало. Хотелось чего-то большего; яркого, живого дела, которому можно было бы отдать всего себя. Так прошла неделя. Алексей ничего не надумал. Он уже готов был согласиться с предложением председателя и стать бригадиром, если бы случай, сам по себе незначительный, не натолкнул Алексея на такое решение, о котором до этого он и не помышлял.

Тихон Ильич, помогавший Алексею приводить в порядок избу, как-то сказал ему:

— Бобылем-то, Алеша, вроде и неловко будет тебе жить. Хозяйку заводить надо.

— Там видно будет, Тихон Ильич, — отозвался Алексей, не принимая всерьез того, на что намекнул плотник.

— Какое уж житье одному,— продолжал тот свое. — Без хозяйки, знаешь, дом сирота. А я ведь, к слову скажу, и невесту тебе присмотрел. Ей-богу! Племянницу мою, Кропалеву Марью. Отец-то ее, брательник мой, первый кузнец на всю округу. Марья у него — одна дочка, а что до работы, то уж ее не затрешь, нет; ловка, страсть ловка. Коли не забранишься да благословишь — я поговорю с брательником.

В то время, когда Алексей уходил в армию, Маша была худенькой, тоненькой, как березка, девчонкой-подростком. Такою он и помнил ее. Встретив теперь, Алексей не узнал девушку. Выросла она, ростом стала чуть ниже его, стройная, красивая. Алексею с первого взгляда запомнились ее тонкие, правильно изогнутые, темные брови, а глаза излучали так много света, что казалось, там, где находилась Маша, приветливее и лучше становилось все вокруг. Волосы она не стригла — заплетала в косу, и словно бы от тяжести их Маша ходила, откинув немного назад голову, что придавало ей гордую и независимую осанку. О том, что думал Алексей о Маше, он не говорил никому. Девушка ему нравилась, может быть, даже больше чем нравилась, но всякий раз, когда приходилось встречаться с нею, Алексей терялся; не мог он говорить с нею так же откровенно и просто, как говорил с другими девушками.

Поэтому, когда Тихон Ильич заговорил о Маше, Алексей смутился. Он невнятно пробормотал что-то, стараясь поскорее замять встревоживший его разговор.

В тот же день, вечером, выйдя на улицу, Алексей встретил Машу.

— Говорят, нашим бригадиром будешь, Алексей Степанович? — поздоровавшись с ним, спросила девушка.

— Не знаю, это еще не решено, — ответил Алексей. После разговора с Тихоном Ильичем, он чувствовал какую-то особенную неловкость перед Машей.

— Как не решено?— не скрывая своего удивления, спросила она. — Председатель сегодня был у нас, он сказывал...

— Иван Михайлович предлагал мне...

— А ты... Уж не откажешься ли?

— Может быть.

— Почему?

— Не хочется, вот и все.

— Ах, какая невеста разборчивая!— засмеялась Маша.— Дела не можешь себе выбрать.

— Дело найдется, выберу.

— Какое? Бригадиром быть — тебе не нравится, куда же еще-то? В пастухи что ли?

Маша сказала не подумав, с досады на то, что Алексей, как ей показалось, что-то скрывает, даже бригадирство не желает принять. Другой на его месте согласился бы с радостью. Бригадир в колхозе лицо важное и почетное. Но увидев, как после того, что сказала она, у Алексея потемнело лицо, Маша растерялась. Она только сейчас вспомнила, что отца у Алексея звали Степаном-пастухом, что и Алексей тоже бегал когда-то в подпасках. Не желая того, она словно бы укорила парня его прошлым.

— Может, и в пастухи,— глухо промолвил он и ушел, даже не простясь с девушкой.

II

Маша не поверила Алексею, никак не могла представить его в пастухах, с кожаной сумкой и длинным кнутом на плече. «Обиделся на меня и сказал», — думала она. Маша сердилась и бранила себя за то, что случайно обидела Алексея, может быть, причинила ему душевную боль. Потом она решила, что пройдет ночь, а завтра Алексей забудет их сегодняшний разговор, и когда они встретятся снова, он даже посмеется над нею.

Ни в следующий день и после — всю неделю — Маша не видела Алексея. Он нигде не показывался. Както вечером она нарочно прошла мимо его дома. В окне горел свет. «Может, заболел?» — встревожилась она. Нет. Если бы заболел, то кто-нибудь наверно сказал бы ей об этом. «Сердится на меня, вот и не показывается,— догадалась Маша.— Ладно, Алешка, когда-нибудь вспомнишь...»

К отцу зашел председатель Бурыгин. Сквозь тонкую перегородку Маше было слышно, как отец и пред-

седатель разговаривали о ремонте борон, о том, что привезли новые скаты колес, которые надо скорее ошинить. Всякий раз, когда отец с Бурыгиным начинали разговор о делах, они жестоко спорили, высчитывали сроки выполнения тех или иных работ. Смешно было слушать их споры. Вот и сейчас — разговаривают о самых простых вещах, а оба горячатся так, словно не о колесах идет речь, а решается неотложное государственное дело.

Затихли. Потом отец спросил о чем-то Бурыгина.

— Не знаю, Матвей Ильич, — ответил тот. — Парень Алексей не глупый, верно, прямо это скажу, но чудно-ой! Я предлагал ему счетоводство — не хочет, в конторе сидеть не желает, говорил о бригадирстве — мнется, туда-сюда, а вчера заявился ко мне в правление и прямо-таки ошарашил: хочу, говорит, Иван Михайлович, пасти колхозный скот, назначьте меня пастухом. Что ты скажешь, а?

Услышав это, Маша почувствовала, что к лицу ее приливает кровь. Сердце забилось. «Вот он как... На зло мне», — кусая губы, прошептала она. И, кажется, не так уж горько было бы перенести весть о том, что Алексей просился у председателя в пастухи, если бы отец не стал защищать парня перед Бурыгиным.

— По-моему, Иван Михайлович, — услышала Маша голос отца,— толково поступает парень, честное мое слово! Желание у него есть к этому самому делу, вот он и идет. У нас ведь еще по старинке смотрят на пастухов, так и сяк. Алексей-то, конечно, знает об этом, может, он из-за того и стеснялся сразу сказать правду, а все же оборол стыд, сказал. Я так смотрю, не дура — голова у него на плечах. Прежде, когда в солдатах я на Кавказе служил, видал. Пастухи, брат, там, знаешь, не то что у нас, а самые почетные люди в селениях. Чабаны, значит, по-ихнему. Верное слово! И у нас, подожди вот, окажет себя парень по-настоящему — все смешки заглохнут.

Маша не дослушала, что говорил дальше отец, она убежала на улицу.

III

Алексей сказал Маше о своем желании стать пастухом не от обиды на нее, как она думала, — профессию

эту он любил с детства. Возможно, что и сейчас он скорее бы определил себя, если бы не боязнь: а что как придется после раскаиваться в своей опрометчивости! Не легко променять ответственную и уважаемую должность бригадира на пастушество. Воспитанные поколениями взгляды на пастуха, как на человека «бездомового», ни к чему более непригодного, все же в какой-то мере довлели и над Алексеем. То, что сказала Маша, напомнив о прошлом, лишь явилось толчком к тому, чтобы он, наконец, определил себя.

Алексей вспоминал отца, себя самого подпаском. «Чем это плохо?— размышлял он. —Дело хорошее, нужное, а теперь, когда пастуху доверяется такое огромное богатство, как колхозное стадо, то, если серьезно смотреть, пасти скот дело почетное». Чтобы не откладывать своего решения, Алексей явился к председателю и сказал о своем желании. Алексей видел, что Бурыгин удивился его просьбе, принял ее как бы не всерьез, но парень не собирался идти на попятную. Одно лишь его смущало: что скажет Маша, узнав о его намерении? Но что бы ни сказала она, это не изменит его решения. «Над отцом, бывало, тоже смеялись, — вспоминал Алексей, — а он не боялся насмешек». Оправдывая свою профессию пастуха, бывало, отец говорил: «Животноводство в наших колхозах самостоятельное дело, первостатейное. Взять хороший удой у коровы, или настриг шерсти у овцы принять настоящим весом, да чтобы скот тело себе нагулял, тут языком не наработаешь — мозгами надо пошевелить. То-то вот и оно!»

Весною, в первый день, когда скот пошел на выпас, Алексей явился к стаду. День стоял теплый, солнечный. Над полем поднималась испарина. Пахло талой землей, смолью лопнувших почек. Девушки в этот день с утра собрались рассевать удобрения под лен. Идти им пришлось мимо фермы. Маша издали узнала Алексея. Он разговаривал с доярками, те смеялись, наказывая ему что-то.

— Алеша, помощницу не надо ли? — поравнявшись с фермой, крикнула через прогон Катя Бурыгина.— Прими меня!

— У нас помощницы-то свои есть, Катёнка, — отозвалась за Алексея Марфа Казанова, старшая телятница фермы. — Вон у нас какие, — Марфа показала на

доярку Стешу Белову, полную, краснощекую девушку в клетчатом модном платочке, небрежно завязанном под подбородком.

— Наши лучше, — не унималась Катя.

— Нет уж, девушки, на чужих орлов не заглядывайтесь, не отдадим, — смеясь, крикнула Марфа.

За полем, в сизом прозрачном тумане плыли вдаль лиловые перелески. Из-за ручья, где боронили зябь, доносился гомон грачей. Маше казалось, что Алексей подойдет ближе к ним, что-нибудь сам ответит Кате, посмеется с девушками. Но Алексей словно никого не видел. Стадо в это время втягивалось в прогон. Алексей подогнал отставших телок и ушел, даже не оглянувшись. Маша наблюдала за Стешей. Та была около самого прогона. «Провожает»,— горько подумала девушка, и не то боль, не то обида сжала сердце. Надвинув ниже платок, она догнала подруг.

— Правда, девушки, хороший парень Алешка? Смелый, ничего не боится,— сказала Катя в то время, когда, перейдя мостик через ручей, стали подниматься в гору.

— А что у него хорошего?— как бы мимоходом отозвалась Маша.— Форсит, даже не оглянулся на нас.

— Ну, Машенька,— засмеялась Катя.— Не скажешь ли, что худ? Стеша-то, видела, как глазами в него вцепилась? Не пришлось бы осенью на свадьбе у них плясать.

IV

Пришло время полоть лен. Маша с Катей Бурыгиной готовили раствор заквашенного помета для подкормки. Вечером, когда, закончив работу, девушки расстались, Маша по дороге домой неожиданно встретилась с Алексеем.

Он появился из-за хлебных кладовых и только что легко, будто даже не коснувшись руками, перепрыгнул через высокую изгородь. На плечах у него, несмотря на жаркий день, поверх гимнастерки была накинута ватная стеганка, из-под которой, оттопыривая полу, опускалась полевая сумка.

— Ой!— отшатнулась Маша, столкнувшись с парнем.— Напугал.

Алексей остановился. Его, видимо, тоже смутила встреча. Они стояли неподалеку от пруда, длинные тени тополей у которого вытянулись теперь, на вечернем солнце, через всю улицу и исчезали где-то в прогоне.

— Я, кажется, не страшный,— неловко усмехнулся Алексей. Тяжелый пастуший кнут, падая с плеча, тонкими упругими витками скользил по земле, уползая к изгороди, в заросль крапивы.

— Не страшный, да...— Маша хотела было объяснить, что ее испугало, но, растерявшись, не нашла слов. Алексей тоже говорил как-то неловко и, Маше казалось, до того равнодушно, что девушке было обидно смотреть на него. Вспомнилась Стеша, то, как она тогда, у прогона, смотрела вслед пастуху. «Ах, Алешка!— вертелось на языке у Маши.— Не думала, что так вот нехорошо у нас выйдет».

Но она промолчала. Разговор не клеился. Они разошлись, как будто ни у нее, ни у него не нашлось ничего, о чем можно бы сказать друг другу.

Солнце зашло, и в воздухе чувствовалась прохлада опускающейся росы. Густо и пьяно пахли шептавшиеся над прудом тополи. Из-за сада доносились женские голоса — это возвращались домой закончившие работу доярки. Чтобы не встречаться с ними, Маша быстрее пошла в свой конец улицы.

Дома на крыльце сидели отец и дядя Тихон Ильич. Маша поздоровалась с дядей, хотела пройти мимо, но тот остановил ее:

— Остановись-ко, дай хоть взглянуть на тебя, племянница!— сказал он.— Нынче вы, молодежь, так заработались, что не слышно и не видно вас. На сколько шелковых платьев у тебя план-то? На три, а может, больше?

— Осенью сосчитаем,— улыбнулась Маша.

— Правильно, осенью-то оно верней. Ленок у вас выбрался хорош. А у меня, племянница, скажу, намечается к тебе разговор. Вот и отец тут и ты... Сватать тебя хочу. Да не красней, предварительный разговор пока. Невеста ты у нас, в колхозе, на виду, и жениха не худого я нашел. Как с картинки будете пара.

— Время-то не свадебное,— заметил отец.— Гулять некогда.

— Оно ведь как сказать. Собираемся пока, тут, гля-

дишь, и осень на двор. В день урожая, за один скрип, и свадьбу отпируем.

Тихон Ильич говорил как бы шутя, улыбаясь, что он всегда делал в разговоре с племянницей, но на этот раз, несмотря на шутливый тон, в словах его чудилось что-то серьезное. Девушка встревожилась.

— Нет у меня женихов,— промолвила она и, опустив глаза, отвернулась.

— Ну! Женихов нет,— засмеялся Тихон Ильич.— Вот уж не ждал. Это, скажу, тебе не к лицу.

— В самом деле нет,— повторила Маша.— Не думала я.

— А ты подумай! Ну-ка вот, чем худ сосед мой Алексей Волохов, а? Что скажешь?

Маше показалось, что внезапно горячий ветер вырвался из-за сада и опалил лицо. Горький, как репей, и колючий, как сухой пикульник, жесткий комок сдавил грудь.

— Нет!— не криком, а отчаянным стоном вырвалось у нее.— Ни за что!

Не успели отец и Тихон Ильич понять, что случилось с девушкой, как она, точно вихрем ее подняло, пробежала мимо в сени и исчезла. Тихон Ильич посмотрел на темный провал незакрытой двери вслед Маше и сказал:

— Вот и сватай невесту. Слушать не стала. А ведь она, Матвей, хоть и родня мне, а скажу — девчонка не глупая. Я как дочку ее люблю. Ну, как на твой-то взгляд, что бы ты молвил, если на самом бы деле?

— Что же,— Матвей Ильич раскрыл перед собой ладони.— Я не обегаю. Парень Алексей не баловник, ну и Марья моя тоже самостоятельная. Не хочет она, тут уж не сговоришь.

V

Разговор Тихона Ильича о женихах прибавил горя Маше. Девчата — и в поле, у льна, и когда начался сенокос — в разговорах часто упоминали о Стеше и Алексее, как о невесте и женихе. Маша старалась казаться равнодушной, будто эти разговоры не касались ее. С Алексеем она не встречалась, не заходила и к дяде Тихону Ильичу. Страшно было: а вдруг тот снова

станет расхваливать ей Алексея? Лучше уж жить так, будто ей дела нет до того, что думает парень.

Лен выбросил голубые цветки. Как ни уставала Маша на сенокосе, а не было дня, когда она не побывала бы в поле. Любуясь на ярко-зеленую, в голубых искорках, волнующуюся гладь льна, Маша забывала и горе свое, и обиду на Алексея.

«Это чьего звена ленок?»— будто наяву слышала она вопрошающий голос.— «Молодежного, Маши Кропалевой»,— звучал ответ.

Маше казалось, что солнце над ее льном светит ярче и жаворонок не поет будто, а льет из голубой высоты тонкую-тонкую ниточку, и та звенит, раскрываясь на просторе пышными прядями серебристого волокна.

Ночью, просыпаясь, Маша слушала: не слишком ли резко свистит ветер? Днем она всматривалась в каждое облачко, боясь, что оно разразится ливнем. «Только бы не полег»,— тревожилась она о льне. А он стоял прямой, ровный, стеблистый; зеленая волнующаяся ширь его казалась Маше живой, словно эта ширь была частью ее жизни, томилась ее печалями и ее радостями.

Как-то, возвращаясь с поля, Маша шла мимо фермы. Она издали увидела Стешу; та стояла около ветряка, качавшего воду. С прошлой осени на ферме установили водопровод. Всякий раз, когда Маше приходилось бывать здесь, ей казалось, что колесо ветряка висит в воздухе и, не поддерживаемое ничем, кружит свои лопасти.

— Как живешь, Стеша?— спросила Маша, подойдя к доярке.— Удои у тебя хорошие нынче.

— Ничего,— улыбнулась Стеша.— Не жалуюсь.

Красный в синюю клеточку платок Стеши очень шел к ее загорелому лицу. Темные волосы, выбивавшиеся из-под платка, ярко оттеняли смуглую кожу. Глаза девушки искрились, и блеск их как бы напоминал о большом счастье, таившемся где-то в ее сердце.

— Раньше не бывало так,— сказала Маша.

— Правда, не бывало,— согласилась Стеша.— У вас, у льноводок, тоже ведь не бывало льна такого, как нынче. За ручьем, направо от Соловьяновской дорожки участок не твоего звена?

— Моего.

— Хороший лен. Шла вчера мимо, позавидовала.

— А мы вам завидуем,— усмехнулась Маша.

Из открытых ворот телятника показалась Марфа Казанова. Она приблизилась к девушкам, послушала, о чем они говорят, и рассмеялась.

— Жизнь-то нынче, девчонки, стала завидная, вот что. Худое нынче не в моде, каждый человек лучше сделать старается. Я вам так скажу: было время — на ферме у нас коровы еле-еле по шестисот литров на круг молока в год давали, а нынче... И коровы те же самые, а за две тысячи переваливают, и еще мы толкуем — мало. Доярки хорошо стараются и выгул скоту, какого не бывало. Алексей Степанович — молодой ведь парень, смеялись над ним, когда пожелал в пастухи-то. Люди-то у нас не все сознательные, всякие есть,— не обращая внимания на то, как покраснела Маша при напоминании о «несознательных», продолжала Марфа.— А теперь, пожалуй, Алеше надо смеяться-то. Дело по животноводству он знает. В дому я у него была... Бобылем парень живет, один, а чисто в квартире, прибрано,— не у всякой хозяйки так-то. Вы тоже, девчонки, зря его обижаете,— укоризненно добавила Марфа.

— Никто его не обижает, тетя Марфа,— подняла на Казанову глаза Стеша.— Сам он от всех сторонится. Каждый день бывает на ферме, а не пошутит ни с кем, не посмеется. Пригонит стадо, скажет два слова и домой.

— Не знаю уж, может, и так. Отпугнули его, вот он и сторонится. А что коровы у нас удои держат, в этом заслуга Алексея не маленькая. На выгоне у него все распределено. Пасет на одном месте, а как вытравит— на другое перегонит. Недавно до чего он додумался: просит у Бурыгина соли выписать. Тот было в смешки: «Зачем, спрашивает, тебе, Алеша, соль, траву что ли хочешь солить?» Ну, Алексей ему: «Так точно, говорит, траву». На Илюшинских горбках, видишь ты, трава жестка, обегают ее коровы, так Алексей соли чуток на траву-то... Коровы набрасываются после на нее, как на сахар. Обошлась ли в поле которая, отелилась ли — все у него записано в книжечке... За все лето не один теленок не пропал. Который уж год я на ферме, а такой, как у Алеши, заботы о стаде ни у кого не видела. Он ведь на зоотехника готовится, заочно, дома, значит. Так это он мне и объяснил,— понизив голос, точно по секрету, пе-

редала Марфа.— И будет им, наперед вам скажу — будет.

В прогоне, со стороны деревни, показался плечистый, со светлыми курчавыми волосами парень в темном комбинезоне тракториста и кепке, перевернутой козырьком на затылок. Увидев его, Стеша вспыхнула, вся как-то подалась вперед, точно готова была броситься ему навстречу.

— Тетя Марфа, Вася идет,— улыбнулась она, сверкнув белыми, крепкими, как сухой горох, зубами.

— Где?— обернулась Марфа.

Вася перепрыгнул через изгородь. Лоснящийся от масла темный комбинезон, надетый на нем, ярко выделялся на фоне благоухающей зелени.

— Ты что, Вася, куда это?— спросила Марфа, когда сын подошел ближе.— Да ты бы умылся хоть, посмотри-ко на себя,— любовно смотря на парня, ласково упрекнула она.— Уголь что ли грузил? Девчонок моих испугаешь.

— Они не пугливые, правда, Стеша?— засмеялся он, пытаясь в шутку обнять девушку.

— Не подходи! — Стеша увернулась от него.— Измажешь, не отмыться после.

И по тому, как она сказала это, по ее сияющим глазам, по тому, как она улыбалась Васе, Маша поняла: Стеша рада этой встрече, ждала ее.

— Папаша в кузнице, Марья Матвеевна?— отступив от Стеши, спросил Вася, переходя на деловой тон и словно бы деловитостью своей стремясь показать, что он очень спешит и лишь случайно оказался здесь, около фермы.

—Наверно в кузнице,— ответила Маша.— С утра ушел.

— Я ведь к нему... Болтики надо нарезать.

VI

Марфа не прикрашивала, расхваливая порядки, заведенные Алексеем на выгоне. Прежде, когда пас стадо отец, выгон делили надвое, разгораживая переймой, и стравливали по очереди. После смерти отца порядок этот нарушился. Пасли где попало. Скот не столько съедал, сколько вытаптывал траву. Коровы приходили

с выгона с пустыми, подсохшими выменами и, в первую очередь, жадно набрасывались на подкормку.

Алексей разбил выгон на шесть участков, загонов, как он их называл. На каждом загоне он пас по четыре дня так, что когда обходил круг, на первом выравнивалась свежая трава. На сухих местах, где трава жестче, посыпал ее солью.

— Слово что ли он знает,— говорили про пастуха доярки,— сытешенек у него скот. Другой из рук так не накормит.

На первых порах, занявшись устройством выгона, Алексей не думал о воде. Он спохватился об этом, когда, с началом жаркой погоды, стали пересыхать болота. Тут он вспомнил, что и отец каждое лето жаловался на безводье. Как-то показывал он Алексею и место, которое считал удобным для постройки плотины. Место это было за старыми вырубками, где возвышенные берега ручья сжимали русло в узкую щель, а немного выше зеленела низменная, топкая пойма. Отец что-то даже начинал строить, но его не поддержали, и все осталось в том положении, в каком было.

Алексей осмотрел ручей и нашел, что удачнее места для плотины, чем выбранное в свое время отцом, не найти. Он поговорил о своих планах с Бурыгиным. Тот согласился, что надо строить, но вздохнул:

— С весны бы нам это обдумать, Алеша. И время тогда у нас было, и людей послать было легко, а теперь, сам видишь, какое пекло с работами.

В опоздании с устройством плотины Алексей винил себя: не сообразил вовремя. Но когда представлял, что будет с водопоем в знойные июльские дни, у него болела душа. Пересохнут почти все водоемы, останутся лишь кое-где мутные, застоявшиеся лужи. Из-за нехватки воды коровы сбавят удой. В колхозе скажут: «Вот вам и хваленый пастух! Шумел, шумел о себе, а удойчики-то остались те же, что и прежде». Никому ничего не говоря, Алексей принялся строить в одиночку не плотину, нет, а так, небольшую гать, по примеру той, какую строил отец. Он ожидал, что эта гать, хотя она и меньше будет той, какая нужна, но все же скопит воду.

Тихон Ильич ходил на выгон; срубил он там запасные оси для телег. На обратном пути ему пришлось

идти мимо стада. После дойки коровы отдыхали, сгрудившись на старых вырубках. Пастуха нигде не видно. Тихон Ильич спустился к ручью. «Мать честная!»— воскликнул он про себя, увидев Алексея. Уложив на гребень намеченной гати фашинник, Алексей катил туда с берега тачку с землей.

— Что же это, Алеша,— подойдя к нему, укоризненно промолвил Тихон Ильич.— Один за всех стараешься? Почему не пришел в правление, не сказал?

Алексей остановился, опустил тачку и вытер с лица пот. Он был без рубахи, и Тихон Ильич невольно залюбовался на крепкие мускулы, игравшие на загорелом теле парня.

— Говорил я с Иваном Михайловичем,— сказал он.— Обещал мне помочь, как только с работами легче будет. А погода сухая. Вот я и подумал, пока да что, построю тут гать. Ручей-то еще не пересох, задержу сколько смогу воды.

— Это хорошо, умно ты придумал,— похвалил Тихон Ильич.— А все-таки, скажу, неладно. Как же так? Отдохнуть бы тебе, покуда коровы стоят, а ты землю таскаешь. Горяч ты. Даже вон девчонки наши и те обижаются на тебя,— добавил Тихон Ильич, вспомнив, как убежала Маша, когда он заговорил с нею об Алексее.

— На что обижаются?— усмехнулся Алексей.— На мою гать?

— О твоей гати никто не слыхал, а гордый ты стал, вот что.

VII

Тихон Ильич настоял перед Бурыгиным, чтобы до теребления льна построить плотину на водопое.

— Работу воскресником маханем,— сказал он.— Без трудодней чтобы, дело-то общее. Народ согласится. Послезавтра брать лен, а завтра, в воскресенье, на плотину. Желающие найдутся. Ведь и те коровы, кои у колхозников на дворах, тоже не откажутся пить. Алексей-то, понимаешь, строит там, не сказал никому о том, что делает, ну и мы ему не скажем. И народ не сегодня, утром завтра оповестим. Артелью да с лошадьми сделаем скоро. В полдень пригонит он стадо к выруб-

кам на дойку, а мы ему — принимай, скажем, работу, хозяин!

У плотины Маше досталось возить фашинник. Тихон Ильич по-хозяйски распоряжался на стройке. Он следил за тем, чтобы ровнее укладывалась земля, расширил основание Алексеевой гати; в дно, под основание плотины, забили сваи. Если и не навечно, то все же Тихон Ильич старался сделать так, чтобы стройка получилась внушительной и прочной; главное, чтобы, улежавшись за лето, она могла выдержать напор вешней воды.

— Не пруд у нас — озеро будет,— говорил работающим Тихон Ильич.— Скажу, хоть гусей разводи.

К полудню «нагулявшееся» стадо начало вытягиваться к старым вырубкам. В прогоне загремели бидоны доярок. К этому времени работы на стройке плотины были почти закончены. Тихон Ильич рубил водоспуск. В ельнике, за вырубками, он еще утром свалил тройку слежек, теперь попросил Машу съездить за ними.

— Одна-то положишь?— спросил он.

— Положу,— уверенно заявила Маша.

— Смотри... Ежели что — крикни!

Две слежки Маша, хотя и с трудом, но подняла на колеса. Попробовала третью. Тяжело. Еле-еле смогла отделить от земли комель. Надо бы позвать на помощь, но признаться в слабости своей девушке не хотелось. Маша приладила к волоку колышек и по нему стала важкой поднимать слежку вверх. Казалось, вот-вот комель ляжет на место. Неожиданно лошадь дернула, колышек соскользнул с упора и вместе со слежкой полетел вниз. Маша едва успела отскочить в сторону, спасая ноги. По лицу ее струился пот, ладони почернели от еловой смолы, стали липкими.

— Дядя Тиша!— крикнула она, выбежав на вырубку.— Не подниму я, помоги!

— Сейчас приду,— донеслось издали.

В кустах, где Маша наваливала слежки, что-то шарахнуло. Ей показалось, что бившаяся от оводов лошадь дернула, свалила поднятые уже на колеса, но не привязанные слежки и убежала. Маша бросилась туда, где оставила лошадь. Но то, что она увидела, ее остановило.

У волока был Алексей. Он уложил на колеса, поверх первых двух, тяжелый комель, оплел волок веревкой и, затянув узел, перекрутил его.

Маша стояла, не двигаясь. Почему-то ей вспомнился лен, тракторист Вася Казанов в кепке козырьком назад, лицо Стеши в тот момент, когда она увидела Васю,— и радость, несказанная радость охватила девушку. Так же, как и Стеша тогда навстречу Васе, Маша с трудом сдержала себя, чтобы не бежать к Алексею.

— Я не знала, что за меня все сделано,— поборов кое-как неловкость, проговорила она.— Придется говорить спасибо.

— Следует,— усмехнулся Алексей.— А я думал, кто тут?..

— Знал бы что я, так не помог?

Алексей не ответил. Он наклонился к волоку и подкрутил без того крепко затянутую веревку.

— Не справилась?— появившись из-за кустов, спросил Тихон Ильич.— О, да ты не одна! Без меня, скажу, нашлись помощники.

Он остановился, посмотрел на веселое, улыбающееся лицо Маши, на смущенного Алексея и рассмеялся:

— Придется ли уж, ребята, мне сватать вас, а? Может, пора бороду брить да рубаху новую припасать к свадьбе. Ну-ко, племянница, посоветуй! По-моему, вроде бы так оно складывается.

ЛЫЖНАЯ ПОГОДА

I

ЛЫЖНИКИ колхоза «Искра» готовились к соревнованиям колхозных команд своей зоны. Они каждое утро собирались на горке, за кладовыми, у раскинувших обындевелые лохматые лапы старых берез, и шли в поле. Погода стояла теплая, снег ровный и мягкий — идти по нему было легко. Кроме ребят, в команде «Искры» участвовали и девушки — Тоня Фадеева и Зина Маслова, которые тренировались наравне со всеми.

Руководителем команды комсомольская организация выделила Павла Громова. На собрании, когда обсуждали кандидатуру Павла, против нее выступил Степа Ласточкин. Он предлагал назначить руководителем Григория Волкова, но со Степой не согласились. Присутствовавший на собрании комсомольцев председатель колхоза Дорофеев тоже поддержал Громова. Дорофеев — демобилизованный офицер Советской Армии. Он сам хорошо ходил на лыжах. Человек умный, толковый — с мнением его считались.

За неделю до дня соревнований неожиданно изменилась погода.

С утра, как всегда, лыжники собрались на горке за кладовыми. Падал снег, небо куталось в густые серые облака, но к полудню поднялся ветер и облака разнесло. Выглянуло низкое зимнее солнце, снег заблестел, стал суше, сыпучей, завихрилась поземка. На обратном пути ветер, дувший теперь с севера, в лицо лыж-

никам, сердито кидал снежную пыль. Ваня Баранников вернулся домой с побелевшими ушами.

Ночью похолодало еще сильнее. По углам изб крепко щелкал мороз. Заря встала румяная, в легкой туманной дымке. Брови у ребят, когда они утром вновь собрались на горке, серебрились инеем.

Павел явился, как он всегда ходил, в шапке с опущенными наушниками и в распахнутой ватной стеганке. Как будто он не чувствовал холода, только глаза его сегодня смотрели пристальнее и поблескивали какими-то острыми, затаенными огоньками.

Прежде чем идти в поле, он начал проверять у ребят лыжи. Словно бы нарочно сегодня он делал это как-то особенно медленно, придирался к каждой мелочи. Зина, ходившая на лыжах в коротенькой кроличьей шубке, чувствовала, как холодная дрожь все сильнее леденила тело.

— Я сбегу, — дрожащими, посиневшими губами шепнула она, наклоняясь к Тоне. — С ума сойти, столько времени стоим на морозе!

Тоня кутала подбородок в белый пуховый платок. Она тоже чувствовала холод, но ей не хотелось казаться слабее других. В ее серых глазах, когда она вскидывала их на Павла, светилось изумление, словно она впервые видела его.

— Ладно, Зина, подождем.

— Ноги застыли...

— Дома теплее, Зиночка,— сказал, слышавший разговор девушек Ласточкин. Показав глазами на Павла, добавил с насмешкой:— А кто настаивал — выберем Павлика... Вот вам и Павлик!

— Не он ли виноват, Степа, в том, что холодно? — спросила Тоня.

— Знаю — не он, а чего ждем? — подвинувшись ближе к девушкам, сказал Ласточкин. — Можно было не задерживаться сегодня, а сразу на лыжи, да и в лес... Костерок бы разложить там,— закончил он тише.

На лыжах шли прежним маршрутом возле прогона, потом продирались через плотный кустарник к Старому оврагу. Там, на открытой полянке, бросали «гранаты». То же делали и вчера, и в предыдущие дни, но, казалось, сегодня Павел нарочно придирался к ошибкам ребят, затягивал время. Он так и не запахнул своей

стеганки, словно не замечал холода. От оврага, сквозь цепкий осинник вышли к Серебрянке, на буграх, за сгоревшей мельницей. Берег Серебрянки тут поднимался неровным, изрытым промоинами, крутым раскатом. Глубоко внизу расстилалось заметенное снегом гладкое плесо омута.

Ваня Баранников подошел к обрыву, прикинул взглядом спуск и расстояние до льда.

— Под гору, по этой круче... Я тут не могу, — сказал он.

— Страшно? — насмешливо спросил Павел.

— Не страшно, а надо поискать, где поровнее берег. Тут и у тебя, Павлик, не выйдет.

— Попробую.

Никто не ждал, что Павел рискнет спуститься по изрытой подмоинами страшной круче. Гриша Волков свернул было папироску, но так и не прикурил — ожидал, что сделает Павел.

А Павел стоял на краю обрыва. Он точно замер. Но вот он пригнулся; взвихрив снег, в воздухе мелькнули концы его лыж.

— Пашка, с ума ты сошел! — крикнула Тоня. Обняв Зину, она, не отрывая взгляда, следила за стремительно мчавшимся вниз лыжником. Казалось, на пути его не было ни подмоин, ни зарывшихся в снег кустов вереска. Распахнувшаяся от встречного ветра стеганка напоминала крылья. На льду Павел выпрямился, описал круг и остановился.

— У ельника, там ниже берег, ровней, туда идите! донесся снизу его голос.

II

Не спится ночью, когда в трубе на все лады воет и скулит голодным волком ветер. У избы Павла оторвавшаяся от карниза доска всю ночь гулко и монотонно билась в стену. Пол был холоден, точно полили его студеной водой.

Начинало светать, когда Павел поднялся и взглянул в окно. На улице мела пурга. Казалось, стоял кто-то в темноте под окнами и бросал в стекла горсти сухого песка. Павел знобко поежился. «На лыжах бы теперь в поле...» — неожиданно мелькнула у него шальная мысль.

Он закрыл глаза и представил себя сейчас в поле, в бешеной сутолоке ветра и снега. Хорошо!

Скромный, застенчивый парень, он как будто и неспособен был к тому, чтобы выделиться чем-нибудь среди своих сверстников. Он не умел ни пошутить, как другие ребята, ни потанцевать, — всегда держался в тени. Но у него была своя гордость. Если он брался за какое-либо дело, то уже не жалел себя. Чем труднее было то, что он выполнял, тем больше проявлялось в нем упорства и страсти,— он добивался своего.

В первые дни, когда начали тренировку к лыжным соревнованиям, Павел чувствовал себя неловко. Его смущали насмешливые взгляды Волкова, недовольного тем, что не его, а Павла выделили руководителем команды; смущало и поведение Тони. Девушка держала себя так, словно не замечала Павла. «Сердится на меня за Волкова»,— думал Павел, стараясь внешне ничем не выдавать своей неловкости. Особенно его раздражала погода: теплая, безветреная, сыплющая ленивым снежком. «В такую погоду хорошо только на салазках кататься», — говорил он. Павел добросовестно выполнял все, что требовалось от него как от руководителя для тренировки команды, но не было в работе его «огонька», не было того, что зажигало бы его самого и ходивших с ним на лыжах ребят.

Но, наконец, впервые, как началась зима, крепко заморозило. Это подбодрило и оживило Павла. Вчера мороз жег особенно круто. Павел нарочно дольше держал ребят в поле, потом прошли к омуту у сгоревшей мельницы, где он скатился с обрыва. Он слышал крик Тони: уж не за него ли испугалась она?

Сегодня он еле дождался, когда начало светать. Была пурга, сумерки еще не рассеялись, а Павел, надев стеганку, отправился к Ване Баранникову.

На улице его обдала крутящаяся волна снега. Павел с трудом перебрался через выросший за ночь перед крыльцом высокий сугроб. Ветер метался и свистел с такой силой, что казалось, вот-вот сорвет крыши и раскидает их. Сквозь снежную мглу не видно конца улицы.

Калитка у Баранниковых закрыта. Павел постучал.

— В поле пора, Ваня, — сказал он, когда Баранников пропустил его в избу. — Давай собирать ребят!

— Какое вам поле! — услыхав, что сказал Павел, вмешалась в разговор мать Баранникова. — Погода несет — свету не видно. Заблудитесь еще...

— Ничего, выберемся! Не маленькие.

— Может, Паша, в самом деле не пойдем сегодня? — ежась от холода, промолвил Баранников; ему не хотелось выходить из избы.

— Пойдем! Хорошо на улице.

В поле ребята никогда еще не видели Павла таким довольным и веселым, каким он был сегодня. Пошли к железнодорожному мосту. В распахнутой стеганке и сдвинутой на затылок ушанке Павел шел впереди, словно не замечая ни ветра, ни бившего в лицо, колючего, как иглы, снега. Не успели миновать околицу, как и деревня, и кладовые, за которыми собирались лыжники, и старые березы на прогоне — все исчезло, закружилось и пропало в белых лапах вьюги.

От деревни до моста пять километров. Одолев это расстояние, ребята сгрудились около насыпи. Ветер хотя и не доставал здесь, но все же время от времени резкие порывы его осыпали снегом. Где-то, невидимые в пурге, гудели и стонали телеграфные провода.

— Я не дойду обратно, — пожаловалась Зина. Снег такой плотной кожурой покрыл ее короткую кроличью шубку, что девушка казалась вылепленной из него.

— Дойдешь, — усмехаясь и ободряя ее, сказал Павел. — Сама не сможешь, так ветер донесет. Домой, ребята пойдем через Косое болото, кустами, — предупредил он. — Там идти надо осторожнее — на кочках можно лыжи сломать.

III

Вечером Тоня с Зиной забежали в правление к Дорофееву.

— Здравствуйте, девушки! — встретил их председатель. — Ходили сегодня в поле?

— Ходили.

— Не замерзли? Не замело вас?

— Нет... Мы зашли поговорить с вами, Михаил Васильевич.

— Давайте, поговорим. Серьезное что-нибудь?

— О сегодняшней вылазке, — начала Тоня. — В

«Красной заре» и в «Новой жизни» лыжники не ходили сегодня.

— Почему?

— Трудно по этакой, как сегодня, погоде. Свету в поле не видно.

— И вы испугались погоды, да? — спросил Дорофеев.

— Не испугались, а что толку, — Тоня заговорила обиженно и волнуясь — Мы у моста на железной дороге были... Устали, только и всего. Павлик наш, как с ума сошел. Туда шли полями, против ветра; в кустах, знаете у переезда которые, Павел вроде как заблудился... Три раза заставил пройти с горы на гору. Домой вел через болото, по кочкам. Скажи ему, Михаил Васильевич, что нельзя так. Не наладится погода — мы не пойдем завтра.

— Вы сами надумали жаловаться, девушки? — выслушав Тоню, серьезно спросил Дорофеев.

— Сами. И ребята тоже недовольны.

— С Павлом говорили?

— Говорили, да что!.. Ему наши слова, как горох о стену, — перебивая Тоню, вспыхнула Зина. — Снегом глаза слепит, не видно ничего впереди, а у Павла только одно и слышно: «лыжная погодка сегодня»... Сам идет — грудь нараспашку, хоть бы поморщился.

— Молодец, — похвалил Дорофеев. — Настоящий лыжник, боевой. Придется, девушки, с ним согласиться.

— А кто не пойдет завтра, с теми как? — спросила Тоня.

— Соревнование лыжных команд, которое проводят наши организации Досаафа, не просто спортивные состязания лучших лыжников, а военизированные. Я предупреждал об этом, когда вы просились в команду. Лыжников, которые не будут являться на тренировки, придется отстранить от участия в соревнованиях, — объясняя положение, ответил Дорофеев девушкам. — На лыжах надо уметь ходить в любую погоду, — добавил он.

Вечером Гриша Волков договорился с Ласточкиным, что они, если не уймется вьюга, останутся дома. Ночью, прислушиваясь к завыванию ветра, Гриша старался представить себя в поле. Он вспомнил, как выли, будто угрожая кому-то, телеграфные провода у железнодо-

рожной линии, представлял непроглядную, словно обезумевшую снежную мглу, морозный ветер, страшными порывами дувший навстречу, снег, обжигающий лицо... Но чем хуже и отчаяннее было то, что вспоминалось Грише, чем ярче представлял он разгулявшуюся непогодь, тем спокойнее и легче чувствовал он себя. Гриша испытывал даже какое-то удовлетворение от того, что был сегодня в поле, что он, преодолев неистовство вьюги, в числе первых вышел к железнодорожной насыпи. «Славные у нас ребята,— подумал Гриша.— Не струсили. Молодцы, честное слово!»

Гриша почувствовал гордость за то, что и сам он был в числе этих ребят. Он представил себе лицо Зины. «Смешная она была вчера, как из сугроба вылезла»,— думал он, вспоминая занесенную снегом фигуру девушки, ее раскрасневшееся от ветра лицо. На обратном пути он шел рядом с Зиной. Ему хотелось взять девушку за руку и вместе идти куда-то вперед, в самое отчаянное кипение вьюги. Гриша не чувствовал неприязни и к Павлу. «Как железный он». Ветер, холод, а Павлик даже не застегнул стеганку. Грише хотелось сейчас перед Зиной, перед всеми ребятами показать, что и его не пугает вьюга, что он не хуже других, что на предстоящих соревнованиях он не опозорит команды своего колхоза.

Забыв об уговоре с Ласточкиным, утром Гриша осмотрел лыжи, смазал их и, наскоро позавтракав, отправился на сбор. На улице он встретил Дорофеева. Тот, как и Гриша, шел с лыжами на плече.

— Не с нами ли, Михаил Васильевич?— спросил Дорофеева Гриша, не веря тому, что председатель собрался в поле.

— С вами. Завидно стало, — ответил Дорофеев. — Погодка больно приятна, решил сходить.

В конце улицы, у колхозных кладовых, они догнали Ласточкина. Тот шел, как и Гриша с Дорофеевым, с лыжами на плече.

— Утонешь в снегу, Степа, — чтобы поддразнить приятеля и напомнить ему о вчерашнем уговоре, крикнул Гриша.

— Выкарабкаюсь, — ответил Ласточкин и так широко улыбнулся, что Гриша понял: как и он, Степа Ласточкин плохо спал в эту ночь.

IV

Сбор лыжных команд назначен у сельсовета. Казалось, пурга немного утихла. Ветер, хотя и вскидывал белые дымки поземки, но не валил с ног, как было вчера. В ожидании старта ребята играли «в плечико», Баранников и Гриша Заполицын из «Красной зари» упражнялись в борьбе. Гриша Волков стоял на крыльце сельсовета и, принимая самые неожиданные, смешные позы, «дирижировал» образовавшимся хором.

...Потому, потому, что мы пилоты,
небо наш, небо наш любимый дом...—

пел хор.

Инструктор районного отделения Досаафа Логинов, председатель судейской комиссии, собрав руководителей, объяснил маршрут лыжного броска, порядок соревнований по стрельбе и метанию гранат.

Пока собирались, густые снежные тучи вновь обложили все небо. Завыл ветер. Он подхватывал сухой снег, сметал его с крыш, вертел и нес куда-то. Вой начавшейся пурги заглушил песню.

— Товарищ Логинов, — к Логинову подошел Семен Трушков, руководитель лыжной команды из «Красной зари». — Надо перенести на другой день соревнования или обождать... Невозможно идти...

— Почему невозможно? — спросил Логинов и округлившимися глазами посмотрел на Трушкова, будто не поняв, о чем тот хотел сказать. — Если на войне, товарищ Трушков, придется в такую вот, как эта, погоду принять бой, тоже скажешь «отставить», перенести на завтра?

— На войне другое дело, — поморщившись, недовольно произнес Трушков. Он поправил ремень на своем теплом овчинном пиджаке и добавил: — Ребята жалуются.

— Если ваши ребята жалуются, значит, плохо вы работали с ними, — заявил Логинов. — Для лыжника... Для солдата-лыжника,— пояснил он,— такая вот погода, которая напугала вас, самая лыжная. Почему? Думаю, это понятно, незачем объяснять. Сейчас вызовем команды на старт.

...Павел шел впереди своей команды. Шел он осто-

рожно, не зарываясь, словно все его мысли были сосредоточены сейчас на одном желании: идти так, чтобы в команде «Искры» никто не отстал. На первом же километре вырвались вперед лыжники «Красной зари», за ними, обгоняя искровцев, стали вытягиваться новожизненцы.

— Обходят, Павлик, — догоняя Павла, тревожно крикнул Ваня Баранников. — Отстаем.

— Не отстанем, — коротко откликнулся Павел. — А ты зря не крутись, Ваня, силу береги!

Ветер нес снег в лицо.

Кто-то из новожизненцев, прикрываясь от резавшего лицо ветра, поднял руку с торчащей вперед, похожей на пику, палкой и крикнул, поравнявшись с Баранниковым:

— Хвостики, след чище заметайте!

— Не тужи, заметем.

От обиды, что его обходят, Баранников готов был мчаться вперед, невзирая ни на ветер, ни на непроглядную мглу вьюги. «Чего ждем?» — сердился он на Павла.

В последние дни Баранников так привык к вою вьюги, что сегодня ему нравились и режущий лицо ветер, и снег, кипевший вокруг. Баранников легко преодолевал плотные, устроганные ветром горы сугробов, с каким-то особенным удовольствием прорывался сквозь возникавшие на пути снежные крепости перелесков. Ему казалось, что Павел так и не прибавил хода, но, к удивлению Баранникова, искровцы начали обходить вырвавшиеся вперед команды. Обогнали «Новую жизнь», поравнялись с командой Красной зари». Баранников долго не мог оторваться от Феди Заполицына. Тот шел хорошо, не уступая искровцам.

Путь перерезал овраг. На противоположном берегу высится белая стена снега. Заполицын не смог взять ее с хода.

— До свидания, Федя! — крикнул Баранников, исчезая в пурге.

...По лыжному броску, стрельбе и метанию гранат команда колхоза «Искра» заняла первое место. Логинов, объявляя решение судейской комиссии, отметил хорошую подготовку искровцев, их дисциплину, выносливость, поздравил с успехом.

— Условия для соревнования были неудачными, — обиженно заявил Трушков.— Если бы не погода...

— Жаль, товарищ Трушков, что вас обидела погода, — остановил его Логинов. — В эту неделю, как началась пурга, ходили вы в поле?

— Ходили, — смутился Трушков. — Мы считаем...

— Нечего считать, товарищ Трушков, результат налицо.

Павел стоял в стороне. Ему было приятно слышать похвалы своей команде и в то же время почему-то жаль, что напряженная борьба за результаты соревнования лыжных команд колхозов их зоны окончилась. Впереди районные состязания команд, занявших первые места в соревнованиях по сельсоветам. На районных состязаниях потребуется еще больше и умения, и воли к победе, — но все же — это иное. Павлу представлялось, будто шли они по снежному целику в дальних борах, шли, спотыкаясь о валежины, преодолевая неожиданные препятствия, и вдруг выбрались на большую дорогу. Идти дальше легко, но надо идти быстрее, не боясь ни раскатов, ни глубоких ухабов.

— Павлик!

Он оглянулся. К нему подошла Тоня. И у нее сегодня раскрасневшееся, счастливое лицо. Платок на ее голове, несмотря на вьюгу, танцующую вокруг веселый и шумный танец, сбился на самый затылок. В обнаженных волосах белыми искорками сверкали запутавшиеся снежинки.

— На что ты дуешься, Павлик? — спросила она. — Стоишь в стороне, будто не рад, что мы пришли первыми.

— Я не дуюсь а просто... — начал было Павел, но взглянул в глаза Тоне и запнулся. Забыл все, что хотел сказать. — Понимаешь, Тоня, я люблю... На всю жизнь, только бы... Ветер вот, снег когда...

Глаза девушки ярче слов сказали Павлу, что она поняла его. И кажется, впервые Павел пожалел сейчас о том, что не умеет красиво и легко говорить. То, что хотелось ему открыть Тоне, можно было выразить лишь самыми красивыми, самыми задушевными, самыми волнующими словами.

МОРЕ

Мы расположились на высоком обрыве, возле соснового бора. По самому обрыву, где лес был вырублен, образовалось открытое место, на котором кое-где среди кустов жимолости, цепкого ивняжника и волчьих ягод пестрели багряными осенними красками листья низкорослых осинок. Здесь, наверху, сухо. Местами, около пней, торчали будылья колючих «вдовцов», татарника и Иван-чая; всюду россыпи поблекшего земляничника, кошачьих лапок, среди которых, точно красные искорки, сверкали редкие лепестки гвоздик. Гвоздики цвели наперекор осени, как бы отдавая последнюю дань солнечному теплу погожего «бабьего лета».

Иван Харитонович вчера еще обещал угостить меня необыкновенной ухой, поэтому он немедленно, как только мы пришли сюда, набрал хворосту для костра, а я стоял и смотрел на море.

Оно открылось передо мною так неожиданно, казалось таким беспредельным и сказочным, что нельзя было оторвать глаз от его сияющего на солнце необъятного простора. Легкий ветерок, тянувший к берегу, гнал небольшую волну; море зыбилось в радужном блеске солнца, играло, казалось живым. То там, то тут на нем вспыхивали и гасли белые гребешки, над водою носились чайки; завидев добычу, они стремительно падали вниз и, чуть коснувшись крылами воды, снова взмывали в голубую высь. Под обрывом волны, достигая берега, перекатывались через желтую песчаную от

мель, посредине которой темнело старое корневище, глубоко вросшее в намытый, плотно приутюженный водою песок.

Сосновый бор уходил далеко вдоль берега. Прямые, словно обнаженные стволы сосен мерно покачивались от ветра. Гул их, сливаясь с шумом набегавших волн, напоминал то грустные, то бурные, величественные и задушевные напевы русских песен.

Неподалеку, кажется, не дальше чем в полукилометре от берега, в море зеленел островок. Он поднимался из самой глубины вод и как будто плыл по простору их. За островком, только что миновав его, захлебываясь и качаясь на свежей волне, дымил буксирный пароход. Следом за ним тянулась груженая баржа. Казалось, что море, такое вот — широкое, просторное, светлое, каким оно раскинулось перед нами — было здесь всегда; и всегда зеленел видневшийся впереди островок; таща за собой груженую баржу, дымил, похлопывая плицами, пароход.

Иван Харитонович разжег костер и приладил над ним котелок. Подбросив хвороста, огрудил его. Огонь вспыхнул ярче. Сизый дымок медленно поплыл в глубину бора. Волны, разбиваясь о берег, все еще пытались смыть упрямое корневище, но, облизав его, бессильно отступали, стекая по укатанному ими влажному песку.

С Иваном Харитоновичем — сторожем затона в колхозе «Первое мая» — я познакомился вчера, на правлении. Он, как бы обрадовавшись встрече, тут же пригласил меня непременно побывать у него на затоне.

— Я, милой товарищ, живу у самого моря,— говорил он.— Место у меня там — красота! Рядом вода неоглядная и лес. Уху сварю на костерочке такую, о какой в городских ресторанах слухом не слыхано. Приходи, побеседуем мы с тобой, на море наше полюбуешься, отдохнешь.

Годы Ивану Харитоновичу перевалили за шестьдесят, но выглядел он моложе. Бороду брил, седые, подкуренные снизу, усы его топорщились колючими щетинками, но в глазах, когда он поднимал их, светилась такая ласковая и в то же время непринужденная улыбка, что казалось, вспыхнув однажды, она так и осталась там навсегда. Говорил он не спеша, обстоятельно

взвешивая слова и изредка дополняя речь скупыми, выразительными жестами.

— Раньше-то не бывал ты в наших краях?— спросил он, прикурив от уголька и поднимая ко мне свои ласковые глаза.

— Нет, не приходилось,— сознался я, почувствовав при этом какую-то неловкость, словно признание могло вызвать недовольство моего собеседника.

— Та-ак, — протянул он и некоторое время, будто вспоминая о чем-то, молча смотрел на море.— Сторона наша известная,— повременив, снова заговорил он,— очень известная. Книжки прежде о нас писали, картинки всякие рисовали, все посмешней чтобы, почудней,— улыбнулся он.— Будто прежде мы толокном в реке кашу месили, всей деревней палили из одного ружья, Москву с елки высматривали... Не перескажешь всего. Только ведь все, что писали о нас, было пустое. Народ у нас всегда прилежно к земле жил.

Иван Харитонович бросил в костер недокуренную папироску, поправил обгоревшие комельки хвороста и, не оборачиваясь ко мне, продолжал:

— Родился я тут. Этаким вот свистуном,— он поднял руку чуть повыше костра,—ловил решетом пескаришек в Ёде. Речку, на которой стоит деревня наша, Едой зовут.— пояснил он, заметив мой недоумевающий взгляд.— Рос я сухопутным человеком. Ты не смотри на то, что нынче живу у моря, по душам ежели молвить — плавать я не умею. Негде было научиться плавать. В солдатах я тоже служил в пехоте; на действительной службе — в восемьдесят восьмом Петровском полку, а в первую германскую войну находился в четыреста шестьдесят третьем Краснохолмском, в первой роте. В семнадцатом году, помню, на Ильин день заявился я домой, а соседи, значит, и спрашивают:— «В отпуск, Ваня?»—«Нет, говорю, навсегда». Не верят мне. «Как же, говорят, навсегда, когда твоему году сроки не вышли?»—«А меня Ленин, говорю, отпустил»,— так и отрезал. Сашу Керенского, по совести, матюкнул. Эсеры которые разные у нас были — на меня дыбом! Только ведь я не как теперь — седых волос не имел. Да-а! Большевиком меня звали — это вроде как бы ругательство по-ихнему, а я от того голову выше поднимал. Да и не перескажешь всего-то! В гражданскую

войну пришлось мне воевать на северном фронте, англичан в юбках, американцев видел... На Двине полк наш стоял, за Красноборском. В Отечественную сам я жил дома — сыновья воевали. Двое домой вернулись, а третий убит... Меньшой. Грамотный был парень, холостой еще... А старшего моего ты видел вчера. На войне он две медали да орден «Славу» заслужил. Бригадиром нынче в колхозе.

Уха, кипевшая спокойно, вдруг забурлила и пролилась через край. Костер зашипел. От углей белым густым облачком вырвался горячий пар. Прервав речь, Иван Харитонович вскочил, отвел в сторону котелок, помешал ложкой варево, попробовал; затем поднял хворостинку и развалил угли.

— Самостоятельная ушка,— похвалил он, опускаясь на свое место.— Скоро дойдет. Большого жара теперь ей не надо. Люблю, когда вот так, на тагашке сваришь, с лучком... Дымком чтобы отдавало. Под такую-то ушку не грешно и холодненького стаканчик,— Иван Харитонович усмехнулся, сказав это, и прищурил глаза.— О море-то я начал,— вспомнил он.— Видишь, разлилось — конца-краю не видно. И валы по нему бегут, островочек вон... Кажется, рукой до него подать, а по воде он от нас километра за три хор-роших. Речонку нашу прежде воробьи вброд переходили, а нынче на ней затон. Рыбу ловим. В прошлую зиму колхоз двести центнеров рыбы сдал... Рыба первостатейная — щука, лещ, судак... Сижу вот иной раз так, как мы сейчас с тобой, смотрю на море и думаю: может, оно мне во сне снится? Вся местность наша переменилась, не узнать. Вон там,— Иван Харитонович показал на море,— ближе чуток островка — деревня стояла... Митрохино. Старуха моя была оттуда родом. А островок — это Борисова гора, прежде так ее звали. Подальше, где пароход сейчас — церковь стояла, приход наш; дорога трактовая шла. О морях народ у нас прежде только ведь в сказках слыхал, а тут оно наяву море-то. Чудо это, милой товарищ, скажу я! Прежде о нас писали: обойди, мол, всю Россию, а смешней пошехонца человека нигде нет. Зря это. Дураки не подняли бы этакого великого дела,— Иван Харитонович с гордостью посмотрел на меня.—Не толокном Волгу-то матушку замесили, не-ет! Верное слово я тебе говорю. Теперь-т

чудно стало и вспоминать о том времени, когда море у нас открывалось. Многие не верили. Знали о том, что оно будет, а не верили. Слухи тоже разные были. Когда, мол, вода-то силу свою возьмет, где ей разбирать — Митрохино тут или Починок. Ей все равно. И Митрохино и Починок—это нашу деревню — затопит. Не боги ведь, люди-человеки высчитывали. Но все обошлось чинно-благородно. Через Ёду нам пришлось мост строить, только и всего. Налилась речонка. За той горкой— видишь?— Иван Харитонович показал вдоль берега.— Пристань нынче. Бери билет, садись на пароход и плыви — хошь в Москву, хошь в другие разные города. Я так скажу: до большой жизни нынче русский человек дошел.

Иван Харитонович говорил с увлечением. Слушая его, я старался и никак не мог представить себе того, что на месте раскинувшегося перед моими глазами моря недавно еще расстилались луга и леса, были пашни, стояли деревни, вероятно, похожие на ту, что разбросалась по пригорку за устьем Ёды; что и там, где безбрежно разлилась вода, зеленели около изб рябины и черемухи, скрипели колодезные журавли, жили люди...

А море сверкало и искрилось в мягких лучах осеннего солнца. Волны, не уставая, лизали желтую песчаную отмель у берега, стараясь смыть и увлечь с собой вросшее в нее старое корневище. На опушке пахло сосновой смолой. Издали донесся гудок парохода.

— Причаливает к пристани,— определил Иван Харитонович. Он поднялся, снял котелок, достал из принесенной с собою корзины хлеб, ложки, разостлал на траве скатерть.

— Вот и уха готова,— торжественно объявил он.— Подвигайся ближе, милой товарищ, пробовать будем.

ЛЮБА

I

Изо дня в день, утром, Березин уезжал в институт, где работал, и возвращался домой поздно. Дом, в котором он жил, выходит окнами на бульвар у Чистых прудов. Поднявшись к себе, Березин ставил на газ чайник и, ожидая, пока тот закипит, выкуривал папиросу. За чаем брал книгу и читал. Ему нравилась эта студенческая привычка ночных чтений и, как бы ни утомился за день, не нарушал ее.

Жил он холостяком, замкнуто. Березин пользовался репутацией талантливого ученого, но даже с сотрудниками по институту держался осторожно; был, как говорили про него, сух и заносчив. Кое-кто из товарищей, которые знали Березина издавна, как бы оправдывая его нелюдимый характер, рассказывали, что в жизни он перенес тяжелое горе, но сам Березин об этом молчал, ни на что не жаловался и, больше того, сердился, если с ним заговаривали о прошлом.

Равнодушие и нелюдимость Березина сказывались и на внешнем его облике. Густые светлокаштановые волосы он стриг наголо, как школьник, при ходьбе сутулил плечи, словно за тем, чтобы казаться ниже. И походка у него была своя — тяжелая, немного косолапая; как будто он забыл что-то и весь поглощен тем, чтобы вспомнить забытое.

Все же бывали дни, когда Березин изменял себе. Добившись удачи в решении какой-либо волнующей его проблемы, он преображался; равнодушное выра-

жение сползало с лица, взгляд теплел, а в голосе появлялись те певучие, мягкие звуки, какие можно услышать лишь у уроженцев Лежского волока.

Сегодня Березин раньше чем обычно возвращался из института. На повороте у станции метро «Кировская» он остановил машину. Теплый весенний вечер был так хорош, что трудно устоять перед соблазном пройти немного пешком. Березин купил на лотке папиросы, замешался в толпу пешеходов и, перейдя через площадь к бульвару, направился в сторону Покровских ворот.

На бульваре людно. Березин с удовольствием вдыхал запах свежей листвы. «Поехать бы в Сокольники»,— мечтательно подумал он и пожалел, что отпустил машину. А как бы хорошо забраться в самую глушь парка, выбрать сухую лужайку, растянуться на ней и, ни о чем не думая, слушать гул старых берез; комариный писк — и он не испугал бы сейчас Березина, а лишь напомнил бы о далекой северной реке Леже, о теплых прозрачных вечерах, какие бывают там в эту пору.

Вспомнив о Леже, Березин представил себе песчаный обрыв, еловую рощу, подступившую к самой воде с того берега. В детстве, сколько раз, сидя на обрыве над заросшим белыми и желтыми кувшинками светлым плесом реки, Березин мечтал о чем-то далеком и, казалось, несбыточном. Теперь годы его уже под сорок, он известный ученый. (Да, Березин мог сказать это о себе) Если бы прежде отцу его, знаменитому на Леже охотнику Андрею Березину, кто-нибудь намекнул о том, кем будет его сын, старый охотник рассмеялся бы:

— Так-то так,—молвил бы он.—Только ведь хороша Маша, да вот беда — не наша.

Это была его любимая поговорка.

Березин не заметил, как прошел бульвар и оказался у пруда, около лодочной станции. Он охотно посидел бы тут, но вблизи, на скамьях, не видно ни одного свободного места. Березин остановился на берегу, достал папиросу и закурил.

— Давно не видела я Москвы,— послышалось рядом.— Хожу и хожу без конца; хочется везде побывать, все осмотреть...

Березин вздрогнул. Мимо прошла женщина в свет-

лом пальто. Сложенные узлом на затылке белокурые волосы, золотистый загар красивого со строгими чертами лица, выделяли ее среди гуляющих.

Она! Березин еле удержался от того, чтобы не побежать следом, не окликнуть, но... Женщина не одна. Лица ее спутника Березин не успел рассмотреть, все же казалось, он давно знает и его и его черную шляпу с приподнятыми вверх жесткими полями.

Светлое пальто, мелькавшее среди пешеходов на дорожке у пруда, исчезло. «Ушла. Вот и все,—подумал Березин.— Чего же я еще мог ждать?» Бросив в пруд недокуренную папиросу, он вернулся на бульвар. Там как будто все осталось по-старому, но недавнее очарование теплого весеннего вечера не трогало теперь Березина. Его раздражало, что дорожка, по которой он шел, полна выбоин: выступающих наружу, как кочки, обломков кирпичей, щебня; в воздухе пахло не зеленью, как раньше, а парами бензина и пылью. Движению пешеходов мешали детские коляски; колясок было так много, словно их нарочно свезли сюда со всего города. От шума и говора у Березина звенело в ушах. Он свернул в боковую аллейку. Там меньше людей. Березину хотелось побыть одному, что-то решить, но он не уходил. С непонятным упрямством бродил он по дорожке, не замечая того, что над городом давно опустились сумерки.

Вода в пруду потемнела, стала густой и неподвижной, когда Березин вновь очутился у лодочной станции. Пряно пахнет табаком. Раскрывшиеся цветы его белеют за гранитной оградкой вдоль откоса пруда, как только что упавший снег.

Березин обогнул пруд. За проездом, сквозь густую зелень, видно пылающую огнями ротонду кино «Колизей». Березин редко посещал кино, а сейчас его потянуло туда. Он свернул с дорожки. У выхода на проезд его обогнала шумная компания незнакомых ребят. Березин посторонился.

У кино ярко освещенный огромный плакат как бы повис в воздухе. На нем изображена героиня фильма. Она в неестественно пестром платке и яркой розовой кофте. Подведенные синевой неподвижные глаза смотрят в упор, а застывшая улыбка нанесенных кармином губ, кажется насмешливой. Как ни старался художник,

рисовавший плакат, исказить лицо своей жертвы, Березин узнал...

«В роли Насти артистка Любовь Турчина»,— в подтверждение своей догадки прочитал он.

II

Было поздно, когда Березин вернулся к себе. Он не поставил на газ чайник, не притронулся к недочитанной вчера книге. От волнения и усталости кружилась голова. Мысли возникали беспорядочно и облетали, точно поблекшие листья на осеннем ветру. Березин пытался представить себе лицо Любы, ее фигуру, голос, но вместо Любы улыбалась ему другая — «Настя» в розовой кофте, какою видел ее на плакате.

...С Любой они познакомились на студенческом новогоднем балу в Доме Союзов. Был он тогда аспирантом по кафедре физической химии. Люба училась в театральном училище имени Щепкина. Помнится, его больше всего поразили в Любе ее глаза; они напоминали цветом болотную тину. В тот вечер Березину казалось, что оттуда, из глубины глаз девушки, исходит дурманный запах, напоминающий запах багульника.

В яркий и теплый, как сегодня, весенний день Люба переменила фамилию «Турчина» на «Березина». Она сказала, что не признает семей, в которых муж и жена носят разные фамилии.

— Будто не семья,— горячо, словно Березин возражал против ее решения, говорила она.— Непохоже как-то. Когда я сказала в училище, что выхожу замуж и меняю фамилию, наши девушки пришли в ужас. Говорят, моя фамилия звучнее, интереснее для сцены. Пусть! Я решила... Была Люба Турчина, теперь будет Люба Березина.

Через год Люба окончила училище. Ее оставили на сцене «Дома Щепкина». Березин начал работать в институте. И для нее и для него это было время надежд, исканий, первых разочарований и первых радостей.

К дебюту в театре Люба готовила роль Лизы из «Горе от ума». Она посвящала Березина во все свои замыслы, мимо него не проходило ни одно движение ее мысли. Люба говорила, что ей хочется не только хорошо сыграть роль, а вложить в нее кусочек своей

жизни, влить искренность и простоту в каждое движение на сцене, в каждый взгляд, в каждую интонацию голоса. Березина удивляли упорство и настойчивость, какие проявляла она на пути к цели.

— Ты скоро запретишь мне называть тебя Любой, — шутил он.— Скажешь: я — Лиза, а во мне будешь видеть Молчалина.

— А чего бы ты хотел?— Люба поднимала глаза и из них лился на Березина дурманящий запах багульника.— Так нужно. Нельзя иначе. На сцене я ищу не ремесленничества—это просто, а хочу играть так, чтобы зрители увидели не меня, не актрису, а Лизу — умную, ловкую, красивую крепостную девушку, наперсницу своей барышни.

Но как Люба ни была увлечена работой над своей первой серьезной ролью, она успевала интересоваться и тем, что касалось работы мужа. Ничего не значило, что она не вполне точно разбиралась в математических формулах — этом, по выражению ее, сухом языке мудрецов. И Березин, увлекшись, говорил так же сухо и строго, какими были его формулы. Но когда он говорил, у нее темнели глаза; Люба чутко схватывала суть его мысли, понимала его замыслы. Березин высоко ценил в Любе ее искренность, ее чистоту; как и он, Люба не довольствовалась тем, что есть, что «как у всех»,— она горела желанием идти вперед, не останавливаясь на полпути. Все, что они делали, было их общим, неразделыным и потому особенно близким обоим.

В те дни Березин сделал первый шаг к раскрытию сложной, казавшейся многим неразрешимой проблемы. Он чувствовал себя, как поэт, написавший талантливую поэму и принесший ее на суд читателей. О работе Березина заговорили; радовала смелость молодого ученого, упорство, с каким он преодолевал препятствия.

...За открытым окном плотным синим маревом темнеет ночь. В шуме, доносящемся с улицы, едва можно различить смутный, многоголосый говор внизу, на бульваре. В разрывах облаков светятся звезды. Красноватый огонек папиросы тлеет, то замирая, то вспыхивая. Березин курил папиросу за папиросой и не замечал этого.

...Жили они с Любой в старинном особняке на Староконюшенном. У них была просторная комната с леп-

ным потолком; над круглым столом посредине комнаты висела бронзовая люстра, игравшая разноцветьем хрустальных подвесок. Люстру купила Люба. У нее был вкус к красивым вещам, и она умела выбирать их.

По вечерам, вернувшись из театра, Люба взбиралась с ногами на удобный, покрытый чехлом, низкий диван и рассказывала Березину о впечатлениях прошедшего дня; рассказывала подробно, стараясь не пропустить ни одной мелочи. Иногда, забегая вперед, они строили планы будущей своей жизни. В этих мечтах Люба видела Березина знаменитым ученым, а себя не менее знаменитой актрисой.

— Мы всегда так вот хорошо-хорошо будем жить, Коля,—говорила она.—Мы счастливые из счастливых. Как это славно! А ты не разлюбишь?

— Нет.

— А я...

Она опускала ему на плечи руки и смотрела в его глаза.

— Ты сумасшедшая!—восклицал он так, что эти слова звучали у него, как «любимая».

— Я никогда, никогда не смогу забыть, — шептала Люба. — Никогда, слышишь?

И в тот вечер Люба вернулась веселой, говорила и говорила без умолку. За чаем Березин развернул газету, Люба отняла ее.

— После, Коля, потом!

Березин покорился. Но настроение Любы изменилось. Она как-то поникла; подошла к зеркалу, молча поправила волосы.

— Я уезжаю в Среднюю Азию, Коля, — не оборачиваясь, торопливо, будто сейчас лишь вспомнив, что надо об этом сказать, не своим голосом вымолвила она. — Ты не будешь сердиться, что я не посоветовалась с тобой? Да? Это и для меня так неожиданно.

Березин смотрел на Любу и молчал.

С той поры, как они поселились на Староконюшенном, Березин и Люба не расставались ни на один день Вспомнилось, как недавно Люба говорила что-то о поездке на гастроли с театром. Березин не придал тогда значения ее словам, даже не спросил, когда состоятся гастроли. Если бы сейчас Люба не заговорила о

Средней Азии, он, может, и не вспомнил бы о когда-то вскользь оброненных словах.

— С театром?.. Так далеко?

— Нет, не с театром, — опустив глаза, призналась Люба. — Я буду сниматься для кино.

— Для кино? — удивился он.

— Да. Это продлится месяца два, — Люба подошла ближе к нему и заговорила быстро-быстро: — Мне очень хочется играть для кино. Правда, Коля, ведь хорошо это? Я буду играть для миллионов зрителей... Да ты меня не слушаешь, — видя как потемнело лицо Березина, оборвала она себя.

— Что ты... Очень внимательно.

— Ты недоволен. Если не хочешь, чтобы я ехала, я останусь.

— Поезжай! — овладев собой, твердо произнес Березин. — В самом деле хорошо... Играть для кино. Это даже необходимо. Мне только неловко было слышать... Я эгоист, настоящий эгоист, честное слово!

Люба промолчала, потом прижалась к нему.

— Я буду часто писать тебе, — заговорила шепотом. — Слышишь, Коля? Ты и мое искусство — это моя жизнь. А ты отвечай на мои письма. Я должна знать все о том, как ты будешь тут без меня... Ладно?

В первый месяц после отъезда Люба писала часто. У нее было много впечатлений. Она подробно рассказывала в письмах о древних городах, о поразивших ее своим великолепием памятниках эпохи Тамерлана и тимуридов; сообщала о своих волнениях и своих успехах. Из ее писем Березин знал, как продвигается съемка картины, знал по именам всех участников экспедиции, но все же,—как это случилось, ни тогда, ни позже он не мог себе объяснить, — ему казалось, что Люба о чем-то не договаривает; словно бы что-то тревожит ее, а она или не понимает сама, или скрывает причину своей тревоги. На втором месяце их разлуки, в одном из писем Любы неожиданно вырвался вопль: «Мне страшно, Коля, — писала она. — Не поверишь, как мне хочется сейчас домой, к тебе!.. Почему ты не остановил меня, не отговорил»...

Березин скомкал письмо. В самом деле, как мог он отпустить Любу? Разве он хотел того, чтобы она уезжала? Ему представлялось, что Люба больна, одна сре-

ди чужих людей. Он тут же отправился на телеграф «Немедленно бросай к черту проклятую съемку, возвращайся!»—написал было на зеленом бланке, но, подумав, разорвал написанное. «Беру отпуск, еду за тобой», — ответил.

Березин нисколько не сомневался в том, что сдержит обещание. «Ехать, как можно скорее ехать», — твердил он себе. Каждое утро просыпался с мыслью, что сегодня... Обязательно сегодня же уедет. Он и поступил бы так, как думал, но задерживал опыт, решающий опыт, подготовке к которому он отдал много труда и много времени. Березин чувствовал себя не в праве бросить то , что сделано. После своего отчаянного письма Люба молчала. Прошло около двух недель. Наконец-то в руках у Березина билет на самолет. О том, что он летит самолетом, Березин не сообщил Любе. «Свалюсь с неба», — думал он. Как ни банальны эти слова, они его волновали.

Вечером, накануне вылета, Березин получил письмо. Он не сразу понял то, что прочитал. Без даты, на листке, вырванном из блокнота, Люба писала:

«Николай Андреевич, я не вернусь в Москву. Жить вместе мы не можем. Вы, конечно, должны знать... Ну да, я с другим... Желаю вам счастья! Л.»

Березин не поверил тому, что прочитал. Не мог поверить. Казалось, Люба писала, рассердясь на него за то, что он не приехал к ней, как обещал; писала нарочно, чтобы причинить ему боль. Он перечитал ползущие вверх строчки; почерк косой, острый, словно бы колючий. Должно быть, Люба страшно спешила, когда писала это. Его поразил сухой, лаконичный тон письма, небрежность, так не похожая на Любу, с какою она отнеслась к тому, что сделала. Слова письма напоминали Березину булыжники, которые с грохотом и треском катятся на него по пыльной мостовой, и он не в силах уклониться от них. В ту ночь в глазах Березина впервые застыло то холодное, равнодушное выражение, за которое осуждали его люди.

Березин не помнит, как он вскочил, как выбежал из комнаты. Охваченный внезапным страхом перед тем, что случилось, он в одиночестве бродил по улицам города. И куда бы ни шел он, ему казалось, огромная железная стена поднялась на его пути — серая, непо-

движная. Утром он не пошел в институт. Чувствуя, что не в силах вернуться домой, он долго сидел на каком-то незнакомом бульваре. И как вернуться, если в комнате, где он жил, все полно Любой, все вызывало воспоминания о ней. Он не вынес испытания и поселился вдали от Староконюшенного, на проезде Чистопрудного бульвара, там, где жил теперь.

Ни тогда, ни позже, за все годы, прожитые в одиночестве, Березин не наведался о Любе. Своим уходом она как бы вырвала себя из его жизни. Одно знал Березин — Любы нет в театре, в ее любимом театре, своим участием в жизни которого она безмерно гордилась. Нет Любы и в Москве: она где-то на юге, актриса киностудии; и она не Люба Березина, какой сама захотела быть, а Любовь Турчина... «Турчина», — горько усмехнулся Березин, вспомнив неживые, подведенные синевой глаза героини в розовой кофте на плакате у «Колизея».

...Наступило утро, а Березин так и не ложился. Он, не раздеваясь просидел всю ночь. На столе валялась раскрытая и опустошенная коробка «Казбека». Стрелки часов показывали время близко к семи. И как бы затем, чтоб стряхнуть с себя тяжесть ночных дум, Березин встал, сбросил пиджак и крепко, заложив за голову руки, потянулся.

III

Прошло несколько дней. Березин похудел за это время, выглядел утомленным; при ходьбе он сильнее сутулил плечи, точно нес на них каменный груз. Все эти дни он искал встречи с Любой. Вечерами, приходя на бульвар, он усаживался на скамью и наблюдал за гуляющими. Люба не появлялась. Березин попытался узнать ее адрес через справочное бюро, но получил ответ: «Любовь Турчина в Москве не проживает». Не оказалось ее и среди временно прописанных в гостиницах.

Березин решил, что Люба уехала. И все же, потеряв надежду на встречу, он еще чего-то ждал: стал чаще ходить пешком, внимательнее присматриваться к прохожим. Если где-либо впереди замечал женщину в светлом пальто, он невольно ускорял шаги. Почему-то

казалось, приведется вновь встретить Любу, то встретит ее такою же, какой видел на Чистых прудах.

Узнала ли его тогда Люба? Этот вопрос Березин не раз задавал себе. Он стоял, отвернувшись к пруду, когда она шла мимо. Березин не мог представить, что, узнав его, Люба могла бы так невозмутимо-спокойно уйти, ничем не выдав волнения или испуга внезапной встречи.

Однажды, возвращаясь с совещания в министерстве, Березин оказался на площади Свердлова. Освещенная солнцем площадь была изумительно хороша. В сквере распустилась сирень. Нарядная толпа, зелень, серебрящиеся радуги фонтана — все это как-то по-особенному великолепно гармонировало с монументальной классической колоннадой Большого театра. По краю тротуара, огибающего Малый театр, словно ограждая его, выстроились молодые липы. На углу Березин остановился. Сколько раз давними вечерами шагал он здесь, ожидая Любу. Лип тогда не было, площадь выглядела серее и обнаженней. Люба появлялась веселая, оживленная. Взяв его под руку, она шла рядом, рассказывала, улыбалась.

Держась в тени лип, Березин медленно продвигался вперед. Вот и темная дверь подъезда — тяжелая, с потрескавшейся краской. Около нее, у стены, взобравшись на гранитный пьедестал, сидит в кресле тучный бронзовый человек. Памятник Островскому. Березин не впервые видел его, но никогда не испытывал при этом ни грусти, ни обиды. А сегодня... Как же это случилось? Какому наивному чудаку пришла в голову мысль поставить памятник великому драматургу так, чтобы не украшал он собою города, не привлекал внимания к себе, пребывал в вечной тени? Березину стало так больно при этой мысли, словно кто-то нанес ему незаслуженное оскорбление.

Идти в институт, пожалуй, поздно — часы показывают шесть. Березин перешел через улицу к Метрополю, поднялся по ступенькам к памятнику первопечатника; увидев в глубине скверика телефонную будку, зашел в кабину. Автомат выбросил опущенную монету. Березин повторил вызов. Монета снова звякнула в металлическом гнезде. Номер телефона занят. Снаружи постучали:

— Гражданин, ждать надо не в кабине, уступите очередь!

Березин вышел и извинился. Сменивший его у автомата человек, в топорщащемся, помятом пыльнике и серой кепке, громко кричал в трубку, словно заканчивая давно начатый и волнующий его спор. Ожидая, пока освободится автомат, Березин не заметил, что прислонился к дверце соседней кабины, закрыв выход.

— Товарищ, разрешите пожалуйста! — донеслось оттуда. Березин отшатнулся. Из кабины вышла Люба

— Вы?! — узнав ее, глухо произнес он.

— Да, я... — что-то вроде улыбки тронуло уголки ее губ. — Здравствуйте, Николай Андреевич!

— Не ожидал я, — пробормотал он растерянно.

— Я тоже не ожидала вас встретить...

Они спустились вниз и пошли вдоль липовой аллейки. На Любе был темносиний жакет, плотно облегающий ее фигуру, и очень легкая, с высоким козырьком спереди, того же цвета, что и жакет, соломенная шляпа.

Березину казалось, что Люба нисколько не изменилась с тех пор, как они расстались. Фигура ее так же тонка и стройна, как прежде; те же глаза, лицо — все прежнее. Как будто Люба только вчера ушла от него и вернулась нисколько не изменившаяся, лишь немного взволнованная и смущенная своим поступком.

Березин до того растерялся и обрадовался встрече, что забыл о горе, какое ему причинила Люба. Ему казалось, что все пережитое им — нелепый, кошмарный сон; и «Любовь Турчина» — сон и «розовая кофта» — тоже сон. Люба всегда была с ним. Сейчас вот возьмет она его под руку, улыбнется и скажет: — «Не умеешь ты ухаживать за женой, Коля!»

Но Люба шла рядом строгая и молчаливая. Внезапно Березину вспомнилась черная — котелком — шляпа спутника Любы тогда, на Чистых прудах, и заслонила перед ним все, даже то, хорошее, что почувствовал он при встрече. «Любовь Турчина», — с болью в душе подумал он и понял, что говорить с Любовью Турчиной ему не о чем. Он жил мечтами о встрече с Любой, но, встрятясь, увидел, что это не она, другая, лишь похожая на нее, но чужая ему.

— Как вы живете, Николай Андреевич? — нару-

шила молчание Люба Березину казалось, голос ее прозвучал безучастно.

— Ничего... Живу, — с трудом, только чтобы не молчать, ответил он.

— Как-то я читала статью о работах профессора Березина. Там говорилось, он открыл что-то, но написано об его открытии было настолько туманно, что, сказать откровенно, я не могла разобраться. Это писали о вас?

— Нет, — уклонился он от ответа. — Обо мне писать нечего.

— Вы по-прежнему в институте, все в том же?

— Нет, не в институте, — Березину почему-то не хотелось говорить правды.

— А мне казалось, вы теперь ученый, знаменитость...

По тому, как она сказала это, Березин понял; Люба ему не поверила. Она отвернулась, должно быть обидясь на его скрытность. Чтобы замять разговор о себе, Березин сказал:

— А вы сделали карьеру. Вы теперь Любовь Турчина...

— Да, я ношу это имя, — призналась Люба. — Я много снималась. Сейчас мне предложили интересную роль в картине, которую будет выпускать Мосфильм. Приму ли я это предложение, будет зависеть от некоторых обстоятельств.

— Разумеется, — начал было Березин и, поняв, что сказал некстати, замолчал.

Разговор не налаживался. Березин чувствовал, что Люба, как и он, тяготится их неудачным свиданием. «О чем нам говорить?» — тоскливо думал он.

— Мне на метро, Николай Андреевич, — остановилась Люба. — А вы?!

Замолчала, не докончив фразы. Березин смотрел в сторону, и нельзя было понять, слышал он то, что сказала она, или думает о чем-то своем, далеком от того, о чем они говорили, и что не имеет отношения к Любови Турчиной, знаменитой киноактрисе.

IV

Езда по Садовой нравилась Березину тем, что здесь не чувствуется скованности и тесноты городских улиц.

Словно простор лежских полей ворвался в душное каменное чрево города и сверкающей на солнце влажной асфальтовой рекой разлился из конца в конец. Березина занимало здесь все: похожие на дорогие игрушки старинные особняки, прячущиеся в зелени; стройные строгие линии белых, точно упавших с другой, более совершенной планеты, дворцов; чистые, веселые скверики, которые если и можно сравнить, так только с оживленной толпой школьниц, звонко и непринужденно болтающих на дорожках.

Березин возвращался с аэродрома. Почти месяц он пробыл на Урале, участвуя там в работе государственной комиссии по приемке построенного в последние годы завода.

Завод вырос среди живописных, покрытых пестрыми лесами, гор. Необычный по своей технике, по мощности своей он не имел равных. Березину казалось, что в этом заводе труд, ум, знания, партийная воля наглядно воплотились в стройную систему машин, совершенных по своей конструкции, призванных дать то, что еще выше, еще зримее открывает пути к новому, утверждающему себя. Ни на одном языке мира не найти точных и трепетных слов, которые могли бы передать то, что пережил и перечувствовал Березин, присутствуя на празднестве благородного подвига людей, строивших завод. Не передать и впечатлений от нового города, выросшего среди дремучих парков девственных таежных лесов. Горы, животворный воздух, встречи с людьми, заражающий энтузиазм их так сильно захватили и оживили Березина, что, возвращаясь оттуда, он чувствовал в себе необыкновенный прилив сил. Даже о встрече с Любой вспоминал теперь спокойно, не испытывая при этом ни неприязни, ни горечи. Сейчас он мог бы просто, по-дружески говорить с нею, мог бы пожать руку и ее «спутнику».

Машина свернула на Кировскую. Очутясь в тесном водовороте улицы, Березин пришел в себя. Он отказался от намерения ехать прямо в институт, решил прежде завернуть на Чистопрудный, привести в порядок себя и свои мысли. Когда, покружив по переулкам, машина остановилась у подъезда, Березин сказал шоферу, чтобы тот приехал к нему часа через три.

— Буду, Николай Андреевич, точно.

Внизу лифтерша передала Березину ключ от квартиры и письма.

— Без вас получены, Николай Андреевич.

Первые два письма, которые вскрыл Березин, оказались от старых институтских товарищей: одно из Архангельска, другое из Алма-Аты. Было несколько официальных конвертов с повестками, извещениями, приглашениями. Последнее... Почерк на конверте торопливый, небрежный, но Березин узнал... Почерк Любы. На конверте нет ни марки, ни почтового штемпеля, — должно быть Люба сама оставила письмо или оно послано с курьером.

«О чем она пишет?» — медля разорвать конверт, думал Березин. Ни он, ни она, с тех пор как расстались, не писали друг другу.

«Николай Андреевич, — прочитал он первую строчку. — Недавно, когда мы встретились, нам не удалось откровенно поговорить. И разговор наш (да и наша встреча) были вам в тягость. Но сейчас я должна сказать... Дело в том, что у меня сын... Он мой и ваш сын. Ему девять лет. Я не побеспокоила бы вас сообщением о нашем существовании, если бы Володька... Мне очень трудно писать об этом. Он болен. Понимаете вы — болен! У него воспаление легких. Я ни о чем не прошу, хочу только, чтобы вы знали... Если сможете навестить Володю, то мы живем в гостинице «Москва». Л.»

Как и тогда, косые строчки письма ползут вверх. Березин читал и перечитывал их. «Сын... Зачем она скрывала от меня? — думал он. — Может быть, этого хотел ее теперешний муж?» И впервые сегодня Березин пожалел о том, что после ухода Любы ни разу не справился о ее судьбе, старался забыть. «Да-да, именно забыть, — размышлял он. — А сейчас? Имею ли я право ворваться в чужую семью, сказать сыну, кто я?».

Березин снова перечитал письмо. «Он болен. Понимаете вы — болен». Березин по-новому, как-то особенно остро понял значение этих слов. Володька... Его сын! Если Люба написала, значит, положение отчаянное.

Он взглянул на дату: письмо помечено седьмым числом, сегодня тринадцатое. Может быть, он умер?..

Тяжело ступая, Березин принялся шагать по комнате. Все его мысли и чувства сосредоточились сейчас

на одном: у него есть сын. Каков он? Взглянуть на него хотя бы издали... А если нет надежды?

«Я должен его видеть, — остановясь, вслух произнес он. — Непременно. Пусть это будет неприятно там, но я должен...»

Он схватил шляпу и, как был, без пиджака выбежал на улицу. До гостиницы можно доехать в метро, но у Березина недостало бы сил спуститься вниз. Он стремился двигаться быстрее, как можно быстрее. О том, чтобы позвать «такси», Березин даже не вспомнил. Он бежал по тротуару, толкая прохожих, не замечая провожающих его неприязненных взглядов. Ему казалось, сегодня все люди должны знать, что у него есть сын, что сын его болен... Никогда еще Березин не испытывал более страшной тревоги, чем та, какую переживал сейчас, боясь опоздать.

— В каком номере живет Турчина? — спросил он, подбегая к конторке дежурного администратора в вестибюле гостиницы.

— Турчина? — взглянув на взволнованное лицо Березина, повторил администратор, сверяясь с записью приезжих. — Турчина у нас не проживает.

— Турчина, артистка, — старался объяснить Березин. — Она живет здесь... У меня ее письмо.

— Не проживает, — повторил свой ответ администратор, но, увидев отчаянное выражение на лице Березина, смягчился, немного подумал и сказал:

— Подождите, гражданин!

— Он отлучился в контору. Через несколько минут, появясь снова в вестибюле, спросил:

— Как вы назвали гражданку?

— Турчина... Любовь Турчина, артистка.

— Артистка, — администратор еще раз перелистал запись проживающих в гостинице, — спросите, гражданин в пятьдесят седьмом номере...

V

Березин постучал. От нетерпения у него дрожали колени. За дверью послышались шаги.

— Николай Андреевич! — открыв дверь, отступила Люба.

— Извините, что я так... внезапно. Меня не было в

Москве; вернулся сегодня и нашел ваше письмо. Жив он?— войдя в номер, спросил Березин, не садясь и не снимая шляпы.

Люба не ответила. Она опустилась на стул и закрыла руками лицо. Скромное серое платье с глухим воротом, закрывающим шею, и широкими рукавами словно бы подчеркивало ее неутешную скорбь.

— Не молчите! Скажите мне!— почти выкрикнул Березин.

Люба опустила руки и поднялась.

— Вы пришли...

— Я опоздал?— перебивая ее, спросил Березин.

— Володе лучше,— овладев собой, сообщила Люба.— Он так радовался, когда услышал о вас.

— Обо мне?

— Да. Я не могла скрыть.

— А ваш муж?..

— У меня нет мужа,— голос Любы, как показалось Березину, прозвучал жестко.

— Как?— только и мог вымолвить он.

— Мужа у меня нет,— повторила Люба.— О том, что было когда-то, я не хочу вспоминать, как не хочу и оправдываться перед вами. Мы живем вдвоем с сыном,— продолжала она, понизив голос и словно бы колеблясь, сказать ли об этом Березину.— Вы не знали о нас и, не правда ли, не хотели знать. Я не напомнила бы вам о себе, но когда заболел Володя, я испугалась. Не могла больше молчать перед ним. Не знаю, поймете ли вы, что значит для ребенка узнать, что у него есть отец. Он не давал мне покоя, просил, чтобы я позвала вас... Но теперь все хорошо. Володя поправляется, и мы скоро уедем.

Люба говорила, не повышая голоса. В словах ее, в потемневшем взгляде было столько достоинства, гордого сознания своей независимости, что Березин не в силах был что-либо ответить ей. Неужели все, что он думал о Любе, было ошибкой, что его вина перед нею больше, непоправимее? Разве он, поддавшись чувству оскорбленного самолюбия, не старался убить в себе все, что напоминало о Любе, о прежней совместной жизни их? Не хотел знать ни ее, ни того, как она живет.

Мысли Березина внезапно оборвались. Вспомнилась встреча на Чистых прудах, светлое пальто Любы и ря

дом — черная с жесткими полями шляпа... «Правду ли сказала Люба, что живет одна, с сыном? — неожиданно возникло сомнение.— Не играет ли она роль обиженной, брошенной жены, чтобы обмануть его, вызвать жалость?» Любовь Турчина — талантливая актриса, в ее устах ложь может прозвучать искреннее правды.

— Весной... Я встретил вас,— промолвил Березин, стараясь придать твердость и решительность своему голосу.— С вами был...

Он умолк. Его остановила улыбка Любы.

— Вы встретили меня, а где это было?

— На Чистых прудах. Спутник ваш был в черной шляпе. Вы прошли мимо, не узнав меня.

— На Чистых прудах,— вспоминая, повторила Люба.— Да, я была там... Помню, с Павлом Павлычем. Он чудесный человек, но не то, что вы про него думаете.

Что-то подсказывало Березину: Люба не лжет. Это он понял по спокойному, чуть насмешливому выражению ее глаз, а поняв, почувствовал еще большую неловкость. Как бы обидясь на высказанное им подозрение, Люба отвернулась.

— Возможно, мы не встретимся больше с вами, Николай Андреевич,— так как он молчал, заговорила она. Лицо ее при этом не выражало ничего, кроме обычной любезности; так говорят со знакомыми, но не очень близкими людьми.— И Володя может проснуться,— добавила она, показав на дверь в соседнюю комнату, явно намекая тем, что Березину пора уходить.

Он отступил к двери. Остановясь около нее, взглянул на стоявшую неподвижно Любу, хотел сказать «прощайте», но как-то само собой вырвалось почти зло:

— А если я... останусь?

— Что вы хотите сказать?— строго спросила Люба.

— Я серьезно...— начал Березин и запнулся, сердясь на себя за то, что не может проститься с Любой, как хотел — спокойно и дружески.

— Вот как! Не узнаю вас сегодня, Николай Андреевич. Когда-то вы были иным.

— Иным?! Каким же?

— Сильным, уравновешенным... Вы больше ценили себя.

— Да, вы правы. Но я не могу... Не могу просто так

уйти. Трудно это объяснить, но это так. Знаю, что вы Любовь Турчина, знаменитость, как говорят, «звезда».. Могу ли я говорить вам об этом?

— Пожалуйста, говорите! — согласилась Люба. — Но почему, если вы желаете говорить, то мы должны стоять друг против друга?— в голосе ее прозвучали знакомые Березину требовательные нотки.— Садитесь!— приказала она. Березин покорно сел.— Снимите шляпу' А теперь слушайте, что я вам скажу. Перед тем, как вы вошли, мне звонил дежурный администратор гостиницы и сообщил, что какой-то сумасшедший хочет видеть артистку Любовь Турчину, то есть меня. Я ответила, чтобы он сказал этому сумасшедшему, где я живу, так как поняла, что это вы, Николай Андреевич. Но вы... Вы спрашивали Любовь Турчину, но ведь она не здесь, а на сцене.

— А здесь?— с трудом, чуть не задохнувшись, вымолвил Березин.

— Здесь,— Люба грустно улыбнулась, как улыбаются сквозь слезы.— Здесь, перед вами, Любовь Березина. Эту фамилию носит и мой сын...

— Вы?!— вскочил Березин.— Что вы сказали?

— То, что есть, Николай Андреевич. Мне показалось, вам не безразлично знать кое-что обо мне. Десять лет назад, когда мы встретились, вы тогда лучше понимали меня и даже... Даже обещались не забывать... Неужели я ошиблась?

— Это... Правда?

Влажный теплый туман поплыл перед глазами. Радость или какое-то иное, более сильное чувство захватило Березина. Он выпрямился. Тяжесть, сутулившая его плечи, исчезла.

— Люба!— почти выкрикнул он, протягивая к ней руки.— Ты?..

— Да,— просто ответила она. Ее смущенная улыбка и потемневшие глаза лучше и полнее слов досказали ему все.